

*Дональду,  
Лизе и Ксандру,  
товарищам по Метачетверке.  
Они прошли все, включая почту*

Ученик плохо платит учителю, если остается учеником.

Фридрих Ницше . «О кафедрах добродетели»  
Так говорил Заратустра

Самый опасный последователь — тот,  
чей проступок уничтожит всю группу;  
то есть лучший последователь.

Фридрих Ницше . «Человеческое, слишком человеческое»

# Оглавление

---

Благодарности .....	8
Введение. Искатель и хитрец .....	9
ГЛАВА 1. Детство мага .....	15
ГЛАВА 2. Мечты о тайном знании .....	27
ГЛАВА 3. Мыслить другими категориями .....	41
ГЛАВА 4. «Tertium Organum» .....	48
ГЛАВА 5. «Бродячая собака» .....	53
ГЛАВА 6. Несравненный господин Г. ....	62
ГЛАВА 7. Встреча с замечательным человеком .....	73
ГЛАВА 8. Найденное чудо .....	82
ГЛАВА 9. Ты себя не помнишь. ....	89
ГЛАВА 10. «Я» и Успенский. ....	96
ГЛАВА 11. Чудо .....	102
ГЛАВА 12. Ноев ковчег .....	107
ГЛАВА 13. Сверхусилия .....	112
ГЛАВА 14. Ссора .....	120
ГЛАВА 15. Лондон зовет .....	130
ГЛАВА 16. Возвращение господина Г. ....	139
ГЛАВА 17. «Он может сойти с ума» .....	145
ГЛАВА 18. «Система ждет работников» .....	152
ГЛАВА 19. Нирвана и клубничный джем .....	163
ГЛАВА 20. Путешествие на Запад .....	173
ГЛАВА 21. Конец системы .....	183
Эпилог .....	191
Послесловие .....	197
Примечания .....	205

## Благодарности

---

Многие люди оказали мне помощь в написании и публикации этой книги. В особенности я хочу поблагодарить Джона Элджио за то, что представил меня сотрудникам издательства Quest Books, и за его глубокие комментарии и предложения во время работы редактором в журнале Quest. Также я хотел бы поблагодарить сотрудников библиотеки Йельского университета за предоставленную брошюру «Вспоминая Петра Демьяновича Успенского». Дж. Уолтер Дрисколл и Грегори М. Лой из журнала Gurdjieff International Review оказали мне неоценимую помощь, как и Уильям Патрик Паттерсон, который своей книгой «Битва магов» подал мне идею для этой работы, и чей журнал Telos является огромным вкладом в изучение Четвертого пути. Разговоры с мудрым Джеймсом Гамильтоном подтолкнули меня к новым размышлениям, как и переписка с Джеймсом Муром, чьи работы по Гурджиеву остаются образцовыми. Беттина Грасиас, Педро Васкес, Роджер Азнар и Джон Гаррисон оказали мне дружескую поддержку в трудные времена в ходе написания этой книги, как и два моих сына, Макс и Джошуа. Однако отдельную благодарность я хочу выразить тому человеку или людям, которые ясным сентябрьским днем 2002 года сочли нужным украсть коляску Макса, пока мы наслаждались утренней прогулкой. По глупости я положил под сиденье свою сумку, в которой были все заметки по этой книге и по другой, над которой я в то время работал. Коляску, сумку и заметки мы так больше и не видели, но благодаря этому я вдвое лучше ознакомился с материалами.

## Введение

---

# Искатель и хитрец

В 1915 году человек неизвестного происхождения появился в Москве и собрал группу преданных последователей, учеников, познававших его странную и тревожную систему эзотерических доктрин и психологического развития. За сорок, с бритой головой, монгольскими усиками, пронзительными глазами и нервирующими манерами, он излучал атмосферу таинственности, силы и знания, и те, кто нашел в нем своего учителя, следовали его указаниям без вопросов. Стремясь расширить круг слушателей, он поместил в московской газете объявление о необычной балетной постановке под названием «Битва магов». Объявление привлекло внимание блестящего писателя, который и сам занимался изучением оккультизма, а также был теоретиком высших измерений сознания. Этот писатель недавно вернулся из продолжительного путешествия на Восток, где безуспешно искал следы забытого знания и потерянной мудрости, и его лекции об этом путешествии собирали тысячи жаждущих приблизиться к иным мирам. Писатель, после приглашения от ученика таинственного учителя и долгих уговоров, согласился встретиться с учителем. Однако искренний искатель мудрости к своему удивлению обнаружил, что место встречи не похоже на то, что он ожидал. Писатель П. Д. Успенский и замечательный человек Г. И. Гурджиев впервые встретились не в полном благовоний ашраме святого гуру, но в дешевом кафе, который посещали в основном проститутки и мелкие воры. Так началась долгая, сложная и увлекательная история эзотерического учения, получившего название Четвертого пути.

Георгий Иванович Гурджиев и Петр Демьянович Успенский, вместе с мадам Блаватской, Рудольфом Штейнером и Алистером Кроули, были ведущими фигурами в возрождении оккультных и эзотерических идей в начале XX века. Однако хотя Гурджиев обучался оккультной мудрости, он привнес в эзотерические исследования новую, прямолинейную и аскетичную доктрину. Он рассказывал своим последователям, что люди пребывают во сне и представляют собой всего лишь машины, управляемые окружающими силами. Хотя они считают, что обладают сознанием и свободой воли, но это всего лишь иллюзии. Единственный шанс человечества на освобождение от пут — это пробуждение, сложная и тяжелая задача, требующая многой работы и огромных усилий.

Для учеников, знакомых с разговорами об астральных телах, «третьем глазе» и реинкарнации, послание Гурджиева было холодным, отрезвляющим и провоцирующим. Однако в нем звучали точность и практичность, которых не хватало обычным оккультным материалам. Гурджиев говорил своим ученикам, что для современных людей три изначальных пути — факира, монаха и йога — уже устарели. Им необходим новый подход к развитию сознания, который Гурджиев назвал Четвертым путем, а его практики скоро стали именовать Работой [1]. С 1915 года и до своей смерти в 1949 году Гурджиев посвятил себя задаче пробуждения других людей, часто неблагодарной. Он привлекал в качестве учеников некоторых из самых блестящих мыслителей своего времени. В число его методов входили разнообразные упражнения, предназначенные для пробуждения физической, эмоциональной и ментальной жизни последователей — всему этому, по его словам, он научился в тайных монастырях Центральной Азии. Физический труд, психологическая драма, сложные танцевальные движения и радикально новые техники сосредоточения разума использовались для того, чтобы помочь ученикам Гурджиева прийти к мрачному осознанию того, что *они не существуют* — по крайней мере, с точки зрения реальности. По его словам, только после достижения этого тревожного осознания можно начать понимать, что значит быть в сознании. Часто самым убедительным средством прихода к этому заключению был Гурджиев собственной персоной, чья влиятельная личность и экстраординарная сила служили и стимулом, и целью.

Однако ученики Гурджиева или даже заинтересованные читатели вскоре обнаруживают, что путь к сознанию далек от прямого. Помимо многих странных идей, таких как «самовоспоминание», «Луч Творения», «Закон Октав» и «сверхусилия», читатель, интересующийся Четвертым путем, запутывается в сети византийской политики и эзотерической психодрамы, в центре которых находились бурные отношения Гурджиева и его самого знаменитого ученика, Успенского. Большая часть книг о Гурджиеве изображает его непогрешимым суперменом, каждый поступок которого был спланирован и осознан, а Успенского — слабым интеллектуалом, не способным понять истинное значение учения мастера. Но есть и другой угол зрения на сложные отношения между двумя мудрецами. Успенский не был новичком в сфере высшего сознания, и для читавших его ранние книги очевидно, что он многое знал и до судьбоносной встречи с Гурджиевым. Несомненно, что встреча с Гурджиевым стала крупнейшим событием в жизни Успенского. Однако некоторые, как делаю это и я, задаются вопросом, не стала ли эта встреча и наихудшим событием в его жизни.

После даже поверхностного знакомства с Четвертым путем у большинства учеников возникает вопрос: почему Успенский, искатель знания, разошелся с Гурджиевым, его обладателем? Действительно ли он,

как предполагают многие, украл идеи Гурджиева, чтобы выдать себя за учителя? Или он пытался спасти их от уничтожения в руках когда-то надежного учителя, который по всем признакам сошел с ума? Джон Пентленд, которому незадолго до смерти Гурджиев поручил заботу о работе в Америке, описал ситуацию точной и всеобъемлющей фразой: «Разрыв между этими двумя, учителем и учеником, каждый из которых многое получил от другого, так и не получил удовлетворительного объяснения». Тем не менее, на эту тему было много спекуляций. Для некоторых раскол между ними стал центральным актом в современной мистериальной пьесе и начал духовное течение, пик которого совпадает с началом новой эпохи. Для других Успенский был оппортунистом и ренегатом, простым философом, который присвоил учение Гурджиева и объявил себя его конкурентом. «Все, что Успенский мог предложить ценного, он получил от Гурджиева», — замечал один ученик [2]. «Успенский — профессиональный философ, который учился у Гурджиева, а теперь основал своего рода конкурирующую школу», — говорил другой [3]. Оценка самого Гурджиева не менее мрачна: «Успенский — очень приятный собеседник и собутыльник, но слабый человек» [4].

Раскол между Успенским и Гурджиевым — это не единственная тайна в истории Четвертого пути. Это, скорее, вершина айсберга, первое из многих тревожных явлений, появившихся из великолепного сосуда Пандоры. Почему, например, такой успешный писатель, как Успенский, отказался от своей карьеры и посвятил себя преподаванию идей человека, от которого отрекся? Зачем вообще Гурджиев вовлек Успенского в свой круг? Нужно ли это было для того, чтобы использовать его ради распространения собственных замыслов? Что произошло, что обратило блестящего философа против его загадочного учителя? Прошлое Гурджиева — тайна. Действительно ли он провел годы перед своим появлением в Москве, путешествуя по Центральной Азии в качестве члена эзотерического братства, которое называется Искателями истины, как он сам утверждал? Или он, как многие предполагали, был на самом деле шпионом, работавшим на царя в годы Большой игры? Почему Гурджиев конфликтовал и отталкивал своих лучших учеников, в том числе и Успенского? Было ли это тактикой, использовавшейся в трудном пути пробуждения? Или же были и другие причины? Был ли Гурджиев сверхчеловеком, как считали многие его последователи? Или у него была темная сторона? В этой книге я

---

\* *Большая игра* — распространенный в западной историографии термин, который используется для описания империалистического соперничества между Британской и Российской империями за господство в Центральной Азии с 1813 по 1907 год. — *Здесь и далее примеч. ред.*

рассматриваю некоторые из вопросов и пытаюсь пролить свет на то, что остается поразительной и озадачивающей загадкой.

Эта загадка занимала меня много лет. История Успенского и Гурджиева заворожала меня уже тогда, когда я впервые — в конце 70-х — прочитал у Успенского описание времени, проведенного с Гурджиевым, его книгу «В поисках чудесного». Моим первым впечатлением было то, что я вступил в контакт с системой идей, не похожих ни на что виденное прежде; несколькими годами спустя это ощущение привело к тому, что я сам стал заниматься путем Гурджиева. Несколько лет я вместе с другими учениками следовал учению, описанному в работах Успенского и в собственных книгах Гурджиева. Я считаю, что это время было проведено с пользой; однако со временем я обнаружил, что отступаю от работы, чтобы подробнее рассмотреть другие идеи. Но с годами я вернулся к книгам Успенского — не основанными на работах Гурджиева, а к ранним работам: «*Tertium Organum*», «Странная жизнь Ивана Осокина», «Новая модель Вселенной». В них я нашел стимулирующий и развитый разум, который странным образом отсутствовал в таких книгах, как «Четвертый путь», сборник вопросов и ответов, почерпнутых из сотен встреч, которые Успенский в свое время проводил в Лондоне, преподавая идеи Гурджиева. Мне стало интересно, что произошло между 1912 годом, когда в России опубликовали его первую книгу, «*Tertium Organum*», и поздними годами преподавания учения, чтобы появились такие сильные различия? Что превратило молодого поэтичного Успенского в строгого и требовательного надсмотрщика?

Хотя о Гурджиеве написано несколько книг, немногие сосредоточиваются на Успенском, и многие из них давно не переиздавались. Исключение составляет «Битва магов» Уильяма Патрика Паттерсона. Эта великолепная книга сосредоточена на том, почему Успенский оставил Гурджиева, и когда я обнаружил ее, то был в восторге от того, что кто-то наконец взялся за эту тайну. Однако, читая книгу Паттерсона, я начал сомневаться в ее предпосылках. С точки зрения автора, Успенский не сумел понять суть миссии Гурджиева и, когда пришло ее время, не смог избавиться от своей независимости, самолюбия и эгоизма, чтобы полностью посвятить себя работе Гурджиева. Успенский был в этом не одинок: согласно Паттерсону, А. Р. Ораж и Дж. Г. Беннет — два других ближайших ученика Гурджиева — тоже не прошли это испытание. Но, читая, я обнаружил, что болею не за ту команду. Конечно, то, как Гурджиев обращался с этими тремя (как и с другими своими последователями), можно рассматривать как форму духовной «строгой любви», своего рода эзотерической версии необходимости «быть жестоким в доброте». Однако после книги Паттерсона я стал сомневаться, действительно ли многочисленные случаи резкости Гурджиева, его давление, непрерывные требования и пода-



вляющие манеры, а также часто казавшееся иррациональным поведение были шагами, необходимыми для реализации его цели. Подобно Успенскому, я стал отделять человека от его учения и задавать такие вопросы: насколько это поведение являлось настоящей стратегией обучения, а насколько — просто характером Гурджиева? Насколько его последователи интерпретировали его действия? И насколько ему было необходимо контролировать, подавлять и управлять другими?

В этой книге я попробую дополнить подход Паттерсона и рассказать историю Гурджиева и Успенского с точки зрения последнего. Книг об идеях Гурджиева написано много, и я излагал его учение там, где это было нужно, но по большей части старался придерживаться истории. Заинтересованному читателю лучше будет обратиться к подробному изложению системы Гурджиева, сделанному самим Успенским в книге «В поисках чудесного». Он, подобно мне, может обнаружить, что за прозрачной поверхностью скрывается менее очевидная история, и что книга является на самом деле работой Успенского, а не простым повторением работы Гурджиева, как утверждали многие. Успенский писал очень подробно, иногда практически во вред себе; ему никогда не нравилось собственное описание лет, проведенных с Гурджиевым, и он отказывался публиковать книгу. Она попала в типографию только после его смерти. Однако несмотря на все усилия Успенского быть объективным, книга остается очень личной работой. Между строк можно различить сильную личность, такую же оригинальную и властную, как человек, которого он так подробно описывает. Это также подтверждение писательского таланта Успенского, проявлявшегося и в других его работах: немногие описывали эзотерические идеи так же убедительно и увлекательно.

Идеи Гурджиева, радикальные и оригинальные, не так уникальны, как утверждали многие из его последователей. Сопоставление их с работами Рудольфа Штейнера или К. Г. Юнга было бы любопытно, но увело бы меня слишком далеко от цели (в примечаниях я все же проведу сравнение между некоторыми ключевыми идеями Гурджиева и Юнга). Но меня поражает то, как некоторые собственные идеи Успенского, к которым он пришел независимо еще до встречи с Гурджиевым, похожи на те, которыми с ним поделится учитель. Мало написано о работе, которую проделал Успенский в годы, предшествовавшие его присоединению к обозу Гурджиева, и в первых главах я подробнее рассмотрю его идеи времени, сна, высшего пространства и мистического опыта. Все еще мало кому известно о том, насколько идеи Успенского были необходимы для теоретической основы раннего русского модернизма. Тысячи новых читателей, которые каждый год обращаются к его книгам, мало знают о влиянии Успенского на авангардные движения начала XX века или о его важности для таких писателей, как Олдос Хаксли, Дж. Б. Пристли и Малькольм Лаури.

Но в первую очередь это история двух людей. Часто говорят, что противоположности притягиваются, и в случае Гурджиева и Успенского это кажется очевидным. Но они также часто отталкиваются, и на каком-то этапе общения магнетические энергии этих двоих стали разводить их в разные стороны. От Москвы до Нью-Йорка, от Центральной Азии до дerviшей Константинополя разворачивалась история яростной и очень символической борьбы между Успенским и человеком, от которого он так и не смог полностью отделиться. История Гурджиева и Успенского, по моему мнению, является одним из величайших мистических столкновений нашего времени, наравне с диалогами дон Хуана и Карлоса Кастанеды, или, пользуясь более уместным сравнением, Мефистофеля и Фауста.

## Глава 1

---

# Детство мага

В семье Успенского существовала традиция поочередно, через поколение, передавать от отца к сыну имена Петр и Демьян. Петры оказывались жизнелюбивыми оптимистами, любившими хорошо поесть и выпить; им нравилось приятное общество и радости искусства. Демьяны были отрешившимися от мира аскетами, пессимистичными критиками, которые считали жизнь обманом и ловушкой. Читавшие роман Германа Гессе «Нарцисс и Гольдмунд» немедленно узнают эту полярность.

Петр Демьянович Успенский, последний в своем роду, получил в наследство черты обоих характеров — наследство, которое, возможно, стало основой его парадоксальной личности. Однажды он заметил, что в его крови есть запах таверны, а в поздние годы часто вспоминал во время долгих вечеров за бутылкой о бурных днях в Москве и Петербурге, когда он «всех знал» и собирал свой салон в известном кафе «Бродячая собака». Однако тот же Успенский так и не смог избавиться от ощущения, что жизнь — наша повседневная обыденная жизнь — это ловушка. *Быт* — этим странным русским словом он описывал ощущение «всепроникающей, неподвижной, рутинной жизни». Именно для того, чтобы бежать от убийственной монотонности *быта*, он и отправился на поиски чудесного, в загадочное внутреннее и внешнее путешествие, которое привело его к Гурджиеву. В центре работы Гурджиева лежит идея, что все ценное приобретается в ходе борьбы с самим собой, внутреннего противостояния «да» и «нет». Если так, то судьба хорошо потрудились еще до того, как Успенский задумался о своих исканиях. Петр и Демьян в нем располагали к вечному «да» и «нет». Если в конце и выиграл Демьян, сражение было нелегким, и победа далась непросто. Под грозной внешностью сурового учителя все еще жил теплый, дружелюбный и поэтичный Петр, и, расслабляясь в приятной компании, он временами давал о себе знать, порой весьма неожиданно.

Источник такого сочетания противоположностей — основную формулу алхимического Великого Делания — можно найти в родителях Успенского. Его мать была художницей, хорошо знала русскую и французскую литературу. Вероятно, именно под ее влиянием юный Петр уже в шесть лет прочел такие книги, как «Герой нашего времени» Лермонтова и

«Записки охотника» Тургенева. Позднее он рассказывал своим самым близким ученикам, что Лермонтов был его любимым поэтом. Отец Успенского, чиновник землемерной службы, тоже был художником. Кроме того, он очень любил музыку — черта, которая его сыну, очевидно, не передавалась. Однако другой его интерес стал центральным символом дела жизни сына. Отец Успенского был хорошим математиком-любителем, и особым его увлечением было четвертое измерение — тема, которая вызывала интерес у многих математиков, профессионалов и любителей в конце XIX века. Хотя Успенский позднее писал о высшей математике и перенял непоколебимые манеры требовательного наставника, он никогда не был профессиональным математиком, несмотря на описания, которые до сих пор появляются на обложках его книг. На самом деле он даже не получил университетского образования — его отчислили. Однако он перенял интерес отца к таинственному четвертому измерению, которое стало для него своего рода метафизической волшебной сумой, в которую и из которой появлялось все, что отрицал безотрадный, педантичный и крайне ограниченный позитивизм его юности, — то есть все «чудесное». Именно это сочетание художественного и научного, поэта и математика, придало ранним работам Успенского особый вкус и привлекательность.

Петр Демьянович Успенский родился в Москве 5 марта 1878 года. Позднее он рассказывал своим ученикам, что самые ранние его воспоминания — о доме бабушки по материнской линии на улице Пименовская, и вспоминал истории старой Москвы, которые она рассказывала ему и его сестре. Неудивительно, что человека, у которого память о себе стала предметом пожизненной одержимости, так сильно интересовали воспоминания, точное воспроизведение прошлого. Подобно своему современнику, французскому романисту Марселю Прусту, который был старше его всего на семь лет, Успенский обладал поразительной способностью воссоздавать прошлое, воспроизводить «другое место и время», пользуясь точной фразой Колина Уилсона. Он утверждал, что помнил себя в раннем возрасте и мог точно воспроизвести события, происходившие, когда ему было меньше двух лет. К трем годам он запоминал события и обстановку с пронзительной живостью. Он рассказывал о путешествии вниз по реке Москве — лодки, скользящие по воде, запах дегтя, холмы, поросшие густыми лесами, старый монастырь. Особенно хорошо ему запомнились выставка 1882 года и коронация Александра III год спустя, с фейерверками и празднованиями. Много лет спустя Успенский расскажет своему самому важному ученику, Морису Николлу, что не разделял интересов других детей, что обычные игры и игрушки его не привлекали. «В очень раннем возрасте, — скажет он, — я видел жизнь такой, какая она есть». Успенский считал, что причина этого в том, что в детстве он еще помнил свою прошлую жизнь, прошлое появление на колесе возрождения. Николл, ко-

торый рос куда более нормальным ребенком, был «молодой душой», все для него еще было свежо, и потому он этого не помнил. Успенский считал, что уже много раз рождался в этом мире. «Изучение возрождения нужно начинать с изучения детских разумов, особенно до того, как дети начинают говорить, — говорил он ученикам. — Если бы они могли вспомнить то время, то могли бы вспомнить очень интересные вещи» [1]. Были ли живые воспоминания Успенского результатом перерождения или исключительно хорошей, но нормальной памятью, остается вопросом, как и предположение о том, что в детстве он помнил свою прошлую жизнь. Но именно воспоминаниям он посвятит всю свою жизнь.

Хотя Успенский рассказывает, что его семья не относилась к какому-то конкретному классу, и в доме его бабушки встречались люди из разных социальных слоев, в России его молодости социальный мир был строго поделен. Человек принадлежал к простому или благородному сословию. Учитывая культурное происхождение, семья Успенского относилась к интеллигенции. Они точно не были простолюдинами. Юный Успенский рос среди писателей, художников и поэтов. Его дедушка был живописцем, добавляя свое художественное влияние к влиянию родителей, и хотя он умер, когда Петру было всего четыре года, очевидно, что он оказал значительное воздействие на мальчика. Начавший карьеру как портретист, дед Успенского позднее работал в церкви, которая предоставила ему собственную студию для работы над религиозными картинами. Церковная живопись в то время была отдельной индустрией, особой художественной гильдией с уникальным значением. Позднее Успенский проявлял мало интереса к религии, и когда журналист Ром Ландау спросил, верит ли тот в Бога, Успенский ответил: «Я ни во что не верю» [2]. Но было бы удивительно, если бы образы с работ деда не произвели впечатления на маленького мальчика с богатым воображением. В сочетании с искусством — а позднее и наукой — атмосфера святого и священного должна была привить не по годам развитому ребенку раннее чувство трансцендентного. Он точно унаследовал любовь к живописи и с юного возраста начал рисовать — этот интерес в поздние годы проявится в любви к старым гравюрам и фотографии. Это последнее увлечение показывает Успенского с неожиданной стороны, демонстрируя его внимание к новым культурным веяниям. Хотя его вкусы больше склонялись к традиционным техникам, он осознавал влияние, которое зарождающаяся технология оказывает на чувства и мысли его современников. Его первый роман, «Кинемадрама» (позднее изданный под названием «Странная жизнь Ивана Осокина», но написанный в 1905 году, когда ему было двадцать семь) изначально планировался как сценарий для фильма. Человек, который искал тайного знания и древней мудрости прошлого, в то же время хорошо осознавал, как новые достижения массовой культуры влияют на сознание его современников.

Помимо живых детских воспоминаний, Успенский делился ранними переживаниями того, что позднее он называл «чудесным», тем «иным миром» магии и тайны, который всю жизнь его притягивал. Когда мать в первый раз повела его в школу, она заблудилась в длинном коридоре и не знала, куда свернуть. Петр подсказал ей дорогу, хотя они оба впервые оказались в этом здании. Он описал коридор, в конце которого было две ступени, и окно, через которое виднелся сад директора. Там и будет дверь в кабинет директора. Так и вышло. Он также рассказывал о еще более раннем опыте, когда, выехав в город в окрестностях Москвы, он заметил, что место изменилось с прошлого его визита, случившегося несколькими годами ранее. Как и в школе, здесь он раньше никогда не был. Позднее он осознал, что на самом деле не посещал это место — ему *приснилось*, что он там побывал. Идея, что во сне нам порой являются видения будущего, станет центральной темой другого теоретика времени, с которым окажется связано имя Успенского, — аэронавигационного инженера Дж. У. Данна. Как мы увидим, в 20-х и 30-х идеи Данна, как и идеи Успенского, повлияли на некоторых из ведущих писателей того времени [3].

Вскоре Успенский стал больше интересоваться снами. «Возможно, самые интересные первые впечатления моей жизни пришли из мира снов», — писал он позднее. Но в отличие от Данна, он не связывал спящий разум с опытом ясновидения. Для него ощущение дежа вю было связано с идеей «вечного повторения», странной верой, которую он позднее нашел у философа Ницше и других авторов. Эта идея такова: мы живем свои жизни снова и снова, совершенно одинаково, в бесконечной последовательности повторов. Это ощущение разделяла его сестра, с которой он был очень близок. Он рассказывает, как они сидели у окна детской и предсказывали, что сделают люди, проходящие по улице. Обычно эти предсказания оказывались точны. Но брат с сестрой никогда не рассказывали этого взрослым, потому что те им бы просто не поверили. Успенский считал, что в ранние годы дети гораздо больше открыты чудесному, и, только начав подражать окружающим взрослым, они теряют с ним связь. Успенский явно принадлежал к той небольшой группе людей, которые намерены не потерять эту чувствительность, и для него она проявлялась в настойчивом, практически болезненном ощущении тайны времени.

Но против него работали немалые силы. Другим общим развлечением брата и сестры было чтение необычной детской книжки «Очевидные нелепицы», в которой были нарисованы странные картинки: например, человек, несущий на спине лошадь, или телега с квадратными колесами. Для наделенных даром предвидения детей самым странным было то, что картинки совсем не казались им нелепыми. «Я не мог понять, что в них нелепого, — писал Успенский. — Они выглядели в точности как все обычные вещи в жизни». С возрастом Успенский «все больше и больше

убеждался в том, что вся жизнь состоит из очевидных нелепиц». Позднейший опыт, по его словам, «только укрепил меня в этом убеждении» [4].

К восьми годам Успенский развил страсть к естественным наукам. Все в животной и растительной жизни его завораживало. Его жажда знаний не могли удовлетворить банальные школы, которые он был вынужден посещать. Как и многие другие блестящие, но быстро впадающие в скуку дети, Успенский находил школу неинтересной. Но пока его одноклассники, тоже скучающие, но не такие блестящие, развлекали себя на уроках латыни запрещенными романами Дюма и других романтических авторов, Успенский читал учебник по физике. Пока его товарищи мечтали о приключениях или предавались фантазиям о соседской девочке, Успенский «с жадностью и энтузиазмом», охваченный «восторгом» и «ужасом», преклонялся перед открывавшимися ему тайнами. Читая главу о рычагах, он обнаружил, что вокруг него «рушатся стены, и открываются горизонты, бесконечно далекие и невероятно прекрасные» [5]. Впервые в жизни его мир вырвался из хаоса. Его юный ум начал находить связи между разрозненными событиями опыта, соединять, упорядочивать, объединять и представлять результат сознанию как «упорядоченное гармоничное целое» [6].

Это архетипичная привлекательность науки — поразительное воздействие на впечатлительный ум его собственной способности понимать свой опыт. Это демонстрирует, что, в сущности, Успенский не был мистиком, как его часто называли, он не был даже оккультистом. Отстраненность его поздних лет порождается философским влечением к истине и порядку *за пределами* личного, за пределами себя — к тому, что, как определяет Иван Осокин в конце романа Успенского, будет существовать, «даже если меня не будет». Некоторые находят величайшее счастье в *объективном*, в том, что не имеет непосредственной связи с их личным опытом. Успенский был одним из таких людей, и его раннее знакомство с освобождающим видением науки стало также первым знакомством с широким миром за пределами его самого, миром смысла и порядка.

Но никто, даже Успенский, не может быть совершенно бесстрастен. И десятилетний мальчик, даже впервые познавший поразительную Вселенную за пределами себя самого, должен разбираться со многими личными вопросами. В случае Успенского хаос был сильнее обычного — не только в мире, но и в собственной жизни.

Прежде чем Петр дожил до четвертого дня рождения, его отец умер. Вскоре после этого, когда он жил с бабушкой на улице Пименовская, умер и дед. В итоге Петр оказался единственным мужчиной в семье, и нет сомнений, что мать возлагала большие надежды на необычайно одаренного сына. Потеря двух сильных и влиятельных отцовских фигур могла predispose Успенского к дальнейшим событиям.

В других обстоятельствах, учитывая статус его семьи в среде интеллигенции, можно было бы возлагать большие надежды на будущую карьеру Петра. Но личная травма и трагедия были не единственным факторами. Святая Русь, в которой рос Успенский, представляла собой общество, близящееся к катастрофе.

Россия конца XIX века, подобно ее будущему противнику, Австро-Венгерской империи, была старым и могущественным гигантом, шатающимся под собственным весом и вошедшим в период плохого управления и халатности, которые приведут к Великой Октябрьской революции 1917 года. В год рождения Успенского среди либеральной интеллигенции распространялся призыв о конституции. Другие, более экстремистские группировки, такие как тайное политическое общество «Народная воля», открыто поддерживали террор и революцию как методы свержения трехсотлетнего режима Романовых. Прямо перед третьим днем рождения Успенского бомбист-анархист взорвал царя Александра II. Его преемник Александр III, который правил тринадцать лет, попытался пресечь мятежи с помощью репрессий и политики «нулевой терпимости»\*, но через тринадцать лет умер, истощенный собственными усилиями. Николай II, последний царь, имя которого, как и его жены Александры, навсегда будет связано с загадочным «святым грешником» Распутиным, был добрым и бессильным мечтателем, абсолютно неподходящим для улаживания критических ситуаций. Он попытался достичь компромисса между своей нереалистичной верой в абсолютное правление и народными требованиями конституции. Но действовал он слишком мало и слишком поздно, и радикальные перемены было уже не остановить.

На этом фоне Успенский начал сомневаться в авторитетах. Не в политических — он был еще мальчиком и в любом случае испытывал мало симпатии к революционным группировкам, которые составляли молодежную культуру того времени. (Позднее он говорил о политических собраниях, где все только «говорили и говорили».) Авторитеты, против которых взбунтовался Успенский, были из сферы науки, которую он лишь недавно открыл. После начального энтузиазма он со временем понял, что видение «горизонтов бесконечно далеких и невероятно прекрасных», которое произвело на него такое впечатление, имеет мало отношения к тяжеловесному консерватизму профессиональных ученых. «Повсюду были глухие стены», — сказал он и вскоре начал стучаться о них головой. Ученые, говорил он, убивают науку, как священники убивают религию. Успенский стал «крайне анархически настроен». Это не значит, что он стал метать бомбы. Как и многие творческие мыслители, Успенский испытывал глу-

---

\* Суть политики «нулевой терпимости» заключается в следующем: ни один случай насилия не должен остаться без внимания и пройти безнаказанным.



бокое доверие и уверенность в собственных прозрениях и склонен был предпочитать их официальным, признанным мнениям. Ментально, морально и эмоционально он достигал зрелости во время, которое поощряло такого рода независимость.

Он поклялся никогда не принимать никакие академические звания. «Я испытывал особенное недоверие ко всем формам академической науки, — писал он, — и принял твердое решение никогда не сдавать никаких экзаменов и не принимать никаких званий» [7]. Учитывая то, что мы знаем о школьных днях Успенского, это неприятно пахнет зеленым виноградом. Из «Странной жизни Ивана Осокина» (хотя Успенский это и отрицал, но книга явно автобиографическая) можно сделать вывод, что Успенский, при всей своей одаренности, вовсе не был образцовым учеником. По крайней мере один из его близких друзей позднее утверждал, что именно нехватка точного академического образования сделала Успенского открытым влиянию Гурджиева. Борис Муравьев, который познакомился с Успенским в Константинополе в 1920 году, отмечал, что Успенский «не защищен внутренне той драгоценной броней, которую представляет собой научный метод». Это оставило его «открытым внешним влияниям» [8]. Возможно. Но самого Успенского, видимо, не беспокоило то, что он оставил школу. Вскоре после этого он открыл для себя работы Ницше; позднее стал вольнослушателем Московского университета, дополняя прочитанное разнообразными лекциями. Читатели, которые впервые брались за работы Успенского, ожидая найти мистика, вместо этого с удивлением обнаруживали философический требовательный разум. Также их могло удивить и то, что великолепный метафизик вечного повторения и четвертого измерения был своего рода малолетним правонарушителем.

Подобно другим романам того времени, ранние работы Успенского можно читать как роман воспитания, описывающий взросление мальчика в школьные годы. Вероятно, все мы хоть раз да говорили: «Если бы я смог прожить свою жизнь сначала, я бы все сделал иначе». Иван Осокин, альтер эго Успенского, именно так и поступает.

Возможно, слишком большим допущением будет вслед за Колином Уилсоном полагать, что Успенский, которого мы видим в «Странной жизни Ивана Осокина», «по сути, бессильный мечтатель и слабак» [9]. Однако с долей скептицизма стоит относиться и к замечанию Успенского, что «он никогда не был таким дураком», как Осокин. Вероятно, правда лежит где-то посередине. Успенский с его анархическими наклонностями наверняка был способен на школьные выходки, которые устраивает Осокин. В то же время скучающий, но талантливый Успенский, который читал учебники по физике вместо того, чтобы готовиться к неинтересным занятиям латынью, и нашептывал однокласснику о своих открытиях, являлся вполне вероятной мишенью для дисциплинарных воздействий. Другие

обстоятельства указывают на тесную связь между Успенским и Осокиным. Оба учились во Второй московской гимназии, и у обоих злейшим врагом был педантичный давящий учитель. Успенский позднее признавался, что девушка, с которой у Осокина был трагический роман, подтолкнувший его к мыслям о самоубийстве, имеет реальный прототип. Подобно Осокину, Успенского выгнали из школы, и подобно Осокину, его отчисление разбило сердце матери: она умерла через два года. Подобно Осокину, Успенский путешествовал и любил Париж. В «Гармоническом круге» Джеймс Уэбб выдвигает предположение, что молодой Успенский мог посещать некоторые лекции в Сорбонне. И Успенский, и его персонаж Осокин хорошо говорили по-французски и знали французскую литературу. В романе Осокин подумывает об эмиграции в Австралию — Успенский однажды думал о том же. Если добавить к этому то, что имена «Иван Осокин» и «Петр Успенский» (или «П. Д. Успенский») обладают одинаковым ритмом слогов, набирается, я думаю, достаточно доказательств того, что «странная жизнь», которую Успенский описывает в своем раннем романе, — это жизнь не только Ивана Осокина.

На первый взгляд ничего особенно странного в этой жизни нет. Осокин — одаренный и умный подросток с талантом оказываться не в том месте не в то время; многообещающий юноша, который почему-то никогда не выполняет обещанного. В начале романа ему чуть больше двадцати, и он разбит крахом своего романа с красавицей Зинаидой. Поддавшись отчаянию, он заряжает револьвер и думает о том, чтобы завершить свое существование [10]. Но вместо того, чтобы вышибить себе мозги, Иван решает посетить волшебника, обладающего тонким вкусом в бренди и сигарах. (Даже на грани отчаяния жизнелюбивый Петр помнил о своих приоритетах.) Просторная комната волшебника «богато украшена в полувосточном стиле» дорогими персидскими, бухарскими и китайскими коврами. На столе стоят песочные часы. Иван излагает свою печальную историю. «Если бы только я мог вернуть несколько лет этого несчастного времени, которое уже не существует, — стонет он. — Если бы я только мог все сделать по-другому» [11]. Волшебник сообщает ему, что сделать это можно. «Все можно вернуть». Песочные часы можно перевернуть. Но это ничего не изменит: он просто повторит те же ошибки. Далее в романе Иван действительно возвращается в прежние годы, и мы обнаруживаем, что он не впервые встречается с волшебником.

В позднейших размышлениях о повторении Успенский развивал крайне любопытную идею: концепцию реинкарнации не в будущее, а в прошлое. Подобная идея встречается в научно-фантастических фильмах, таких как «Терминатор», где андроида-убийцу отправляют в прошлое, чтобы предотвратить власть машин в будущем. Зло настоящего, считал Успенский, можно уничтожить, только вернувшись в прошлое и вырвав его с корнем.

Если источник зла останется, останутся и его последствия, и реинкарнация, которая переносит нас в будущее, не избежит последствий прошлого.

Осознать эту идею непросто. Перерождение в прошлом с намерением изменить его может привести к совершенно другому будущему, настолько отличному, что мы, пришедшие из будущего, в нем не существуем и потому не можем изменить прошлое... Но если не считать таких головоломных мыслей, кое-что об Успенском нам говорит и то, что идея, впервые озвученная им в 1905 году, занимала его и через много лет. Почти через десять лет после сочинения «Странной жизни Ивана Осокина» Успенский писал, что «мы не можем оставить позади грехи прошлого». Если причина зла в прошлом, бесполезно искать ее в настоящем. И человеку нужно возвращаться, искать и уничтожать причины зла, как бы далеко они не находились [12]. Одной из последних работ Успенского перед смертью был перевод «Странной жизни Ивана Осокина» на английский. В рассказах о его последних днях говорится о слабом, умирающем человеке, который возвращается в некоторые места своего прошлого, чтобы запечатлеть их в своем сознании настолько ярко, что он вспомнит их *в следующий раз*. Становится очевидно, что с начала своей творческой жизни и до ее конца Успенского глубоко волновала возможность *изменения прошлого*. «Если бы мы знали наверное, что выйдет из наших поступков, — спрашивает Осокин волшебника, — разве бы мы стали делать все, что делаем?» [13].

Больше десяти лет спустя создатель Ивана задаст настоящему волшебнику именно этот вопрос.

В поздние годы Успенский славился галантностью по отношению к женщинам — черта, которой не хватало неромантическому Гурджиеву. Для одной из своих первых учениц он делал чай и покупал множество пирожных с кремом; другая, учившаяся у него позже, говорила, что никто не был к ней добрее и не уважал ее как человека больше [14]. Успенский находил женщин интереснее мужчин и считал, что они принадлежат к «высшей касте», в этом отношении снова расходясь с Гурджиевым. Женщины, по убеждению Успенского, по большей части не участвовали в том, что он называл «историей преступлений». «Тысячи лет они не принимали активного участия в войнах и редко имели отношение к политике или государственной службе. Так они избежали самых преступных и мошеннических сторон жизни» [15]. Однако взгляды Успенского далеки от феминистических. Женщины играют важную роль в развитии жизни, потому что им доверена ответственность за «выбор» — не в простом биологическом смысле, а в вопросах высшего порядка, эстетики и морали. Проблема в том, говорит Успенский, что женщины слишком часто не справляются со своими обязанностями. Поскольку большинство женщин «довольствуются незначительными мужчинами», их главный грех в том, что они не «достаточно *требовательны*» [16]. Требовательны в чем?

Конечно, не в своих практических интересах. Если женщина требует что-то для себя, это «жалкая вульгарность», форма эгоизма, которая и без того слишком распространена. Что же тогда? «Женщины, — говорит он, — недостаточно требуют от мужчины *ради его блага*» [17].

Женщина с точки зрения Успенского — своего рода идеал, поэтический символ, и ее задача — заставить мужчину выполнять свою высочайшую цель, прикладывая все возможные усилия. Она, пользуясь словами Гёте — *Das Ewig-Weibliche/Zieht uns hinan* («Вечная женственность. Тянет нас к ней»<sup>\*</sup>). В наше холодное циничное время такие идеи выглядят совершенно старомодными: большинство женщин отвергают пьедестал и хотят, чтобы их воспринимали наравне с мужчинами. Но, как и многие другие «неромантические» современные идеи, эта, принося пользу социальному равенству, приводит к потерям на более широком, метафизическом уровне. Как утверждает Успенский, эротические и сексуальные переживания тесно связаны с эстетическими и мистическими. Он говорит об этом с почти клинической точностью. «В мужчине (или женщине) сильных чувств, — пишет он, — сексуальные ощущения пробуждают новые состояния сознания, новые эмоции... Мистические переживания, несомненно и неопровержимо, имеют привкус секса... Из всех обыденных человеческих переживаний только сексуальные ощущения приближаются к тем, которые можно назвать мистическими... только в любви есть привкус мистического, привкус экстаза» [18]. Отношения между полами — это не просто удовлетворение естественного аппетита, они являются (или, по крайней мере, могут являться) своего рода трамплином в то, что психолог Абрахам Маслоу называл «высочайшими целями человеческой природы». Причина должна быть очевидна. Подобно мистическому и эстетическому, эротический опыт выводит нас за пределы себя, растворяет барьеры эго и открывает нашу сущность широкому равнодушному миру. Влечение мужчины и женщины может привести к одной банальной ночи; а может, подобно истории Данте и Беатриче, привести к прекрасному видению. В оковах эротического мы осознаем странное «различие» между мужчинами и женщинами. Это кажется настолько банальным, что о нем не стоит и говорить, однако само различие между полами мы часто воспринимаем как должное. Именно это «различие» заставляет мужчин видеть в женщинах некий бесконечно привлекательный идеал.

Иван Осокин приобщается к мистической силе эротизма, когда после отчисления из школы и смерти матери отправляется жить к дяде в деревню и встречается с прекрасной и, очевидно, более опытной Танечкой. В первом их объятии «по телу Осокина пробегают тысячи электрических

---

<sup>\*</sup> Цитата из «Фауста» в переводе Б. Пастернака.

искр» [19]. Вскоре Осокин едет в город на любимой лошади. «Сильные, упругие движения лошади под ним, теплый ветер с запахом цветущей липы и ощущение Танечки во всем теле — все это уносит Осокина далеко от всяких мыслей» [20]. «Танечка — это часть природы, как поле, лес, речка. Я никогда не представлял себе, чтобы ощущение женщины было до такой степени похоже на ощущение природы» [21]. Позднее, когда они собирают грибы, Танечка решает выкупаться в ручье. Осокин, как истинный джентльмен, уходит в сторону и курит в одиночестве. Затем он слышит, как она его зовет. Выйдя на берег, он видит, что она стоит обнаженной, по колени в воде. Но что-то между ними изменилось. Их детская, почти животная игривость стала чем-то иным [22]. Осокин ощущает «в ней огромную тайну, и эта тайна пугает его, волнует и окружает ее магическим кругом, через который он не может переступить» [23]. В ту ночь, когда она спит с ним, очевидно, что она выступает соблазнительницей. Происходило ли подобное с Успенским, неизвестно. Но учитывая живость описаний и страстную реакцию Осокина во время любовной сцены, вполне оправданным будет предположить, что происходило.

Однако не вся романтика в «Странной жизни Ивана Осокина» служит только прелюдией к философии. Часть ее — просто подростковое веселье. И многие рассуждения Успенского о женщинах выглядят не столько описанием их превосходства, сколько откровенной оценкой их очарования. Оказавшегося во время обучения в военной школе в казино Осокина привлекает «странно задумчивая блондинка», черное платье которой с четырехугольным вырезом открывает выпуклость груди. На ее руках видны «белые с синим жилки», и он отчетливо «чувствует в ней женщину» [24]. В Париже он встречает Валери, «высокую блондинку с волосами цвета осенних листьев». Он восхищается ее ступнями в «парижских туфлях на высоких каблуках», но также его привлекает ее ум: она читает Пушкина и изучает историю готических соборов. Но там же он встречает Лулу, «воплощенную нелепость». Лулу — это «нелепость, самая восхитительная, какая только может быть. От нее никогда не знаешь, чего ожидать». Иногда Осокин хочет «выпороть ее», но она, в конце концов, «настоящая женщина». В больших дозах они действуют друг другу на нервы, потому что Лулу «слишком примитивна, чтобы с ней можно было проводить целые дни». Однако он начинает чувствовать, что его жизнь в Париже становится слишком привычной, и вот вмешивается судьба. Вечером за рулеточным столом Осокин теряет все наследство меньше чем за час. Его гладкая легкая жизнь трагически разрушается [25].

И так тянется весь роман. Снова и снова Осокин-Успенский оказывается на перекрестках жизни, где, поступи он иначе, и результат был бы иным. Однако на каждом перекрестке прошлого и настоящего он оказывается не способен поступить иначе, и только потом осознает, что снова

совершил ту же самую ошибку. Каждый раз он жалеет о своей глупости и решает измениться, однако ему ни разу не удастся изменить прошлое. Он идет вперед, намеренный продолжать, несмотря на то, что впереди его ждут будущее, револьвер и волшебник. «В то же время в таинственном завтра что-то мерцает, что-то манит, ощущается что-то неизбежное и привлекательное» [26]. Повторение может быть вечным, но такова же и тяга к неизвестному, и именно она больше, чем что-либо другое, зовет молодых поэтов вперед. Успенский мог не осознавать этого, когда писал историю Ивана Осокина, но в ходе собственной жизни ему придется познать эту тягу сполна.

## Глава 2

---

# Мечты о тайном знании

Помимо того, что можно почерпнуть из «Странной жизни Ивана Осокина», мало что известно о жизни Успенского между исключением из школы и 1905 годом, когда он написал роман и начал работать в нескольких московских газетах в качестве вольного журналиста. Если Успенского исключили в шестнадцать, остается промежуток в десять лет — значительный период в жизни любого человека и наверняка критический в развитии молодого человека. Если история его альтер эго Осокина напоминает его собственную, то в это время Успенский получил какое-то наследство и истратил его на путешествия. Он отправился в Париж, где посещал занятия. Судя по его репликам в разговоре с Ромом Ландау, он мог посещать лекции и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Также он побывал в отдаленных уголках России и много лет спустя рассказывал Морису Николлу, как расплачивался за щедрость кавказских вождей, у которых гостил. Он восхищался каким-нибудь маленьким и не имеющим ценности предметом, который хозяин обязан был ему предложить; взамен Успенский давал хозяину один из дешевых пистолетов, которые возил с собой. Несомненно, он много читал, а также давал много свободы «петровской» стороне своей личности. Много лет спустя, в 1919 году, удерживаемый Гражданской войной в мрачном глухом Ростове-на-Дону, Успенский познакомился с журналистом Карлом Беххофером-Робертсом и под влиянием самогона поведал ему истории своей юности. «Люди пили с начала мира, — торжественно объявлял Успенский. — Но они так и не нашли лучшей закуски под водку, чем соленый огурец». К сожалению, в тот раз огурцов так и не нашлось, а сама водка была результатом умелого обращения Успенского с бутылкой спирта и апельсиновой кожурой.

Учитывая стесненные обстоятельства, рассказ Беххофера-Робертса выглядит практически празднично. Успенский поведал, как в прежние дни, до революции, его «все знали», особенно полицейские, которые звали его по имени и просили помочь в растаскивании дерущихся. В отличие от многих пьющих, в опьянении Успенский никогда не начинал буянить, а выступал миротворцем. Также он был знаком со швейцарами во всех

ресторанах и славился тем, что давал большие чаевые. Бывало, что он попадал в необычные ситуации: однажды, придя домой, он обнаружил, что как-то умудрился потерять левый рукав пальто. «Как я его потерял и где, выяснить так и не удалось», — говорил он, но случай пробудил его интерес, и он даже подумывал о том, чтобы написать об этом книгу [1]. Идея вполне соответствовала вкусам того времени.

В 1905 году Успенский начал исследовать сны — тема, которая привлекала его с детства [2]. К 1900 году, в возрасте двадцати двух лет, он уже прочитал все, что смог найти о снах в психологической литературе. Под «психологической литературой» Успенский подразумевал не Фрейда и Юнга. Позднее он испытывал к теории Фрейда исключительно пренебрежение и даже говорил одной из первых своих учениц, что идеи о комплексах принесли ей много вреда. Но в 1900 году о Фрейде и Юнге еще никто не знал; первую крупную работу Фрейда, «Толкование сновидений», тогда только опубликовали, а Юнг лишь начинал профессиональную деятельность в клинике Бургольцли в Швейцарии. Литература, о которой говорит Успенский, предшествовала психоанализу и занималась не столько толкованием снов, сколько пониманием того, откуда они появляются. Один из авторов, которого читал Успенский, — Л. Ф. Альфред Мори, который ввел термин «гипнагогия» для определения странного состояния полусна, в которое мы попадаем, засыпая. Наблюдения Успенского за снами, собранные в эссе «Об изучении снов и гипнотизме», — одно из первых описаний этого странного, «сумеречного» состояния сознания [3].

Увлечение Успенского снами началось с того, что он называл «потрясающей идеей», которая впервые пришла ему в голову в детстве: *«Возможно ли сохранять сознание во сне»* [4]. Мог ли он знать во сне, что спит, и в то же время мыслить осознанно, как наяву?

С тех пор, как почти столетие назад Успенский начал свое изучение снов, феномен «осознанных сновидений», как назвал их исследователь сновидений Фредерик ван Эден, привлек немало внимания. Но в 1905 году об этом мало что знали, и двадцатисемилетний Успенский явно был пионером в их изучении. Любопытно, что другой автор, который тоже станет учеником Гурджиева, французский поэт Рене Домаль, также начал интересоваться иными состояниями сознания с попыток сохранять сознание во время сна. Домаль также использовал более опасные способы — наркотические вещества, к которым, как мы увидим далее, Успенский тоже обращался [5].

Успенского интересовало открытие механизма образования снов, и, как обычно рекомендуется делать, он начал исследование с того, что записывал свои сны после пробуждения. Однако вскоре он обнаружил, что у этого метода есть свои недостатки. Во-первых, скоро стало очевидно, что сами попытки вспомнить сны изменяли их. Записывание снов *меня-*



ло их; само внимание, которое он им уделял, меняло его сны и создавало новые. Успенский понял, что ему нужен другой метод, и развил навык сохранения сознания во сне. Сначала он делал это по ночам, но вскоре обнаружил, что, как и следовало ожидать, это мешает ему спать. Тогда он перенес внимание на утро, когда оставался в постели и снова погружался в то, что называл «состоянием полусна». Из этого можно сделать выводы о жизни Успенского в то время: одно то, что он мог оставаться в постели, подсказывает, что у молодого романиста было много свободного времени.

В состоянии полусна Успенский «спал и в то же время не спал», и первое впечатление от этого было — изумление и чувство огромной радости. Но это же состояние вызывало странное чувство страха и тревоги, что он потеряется. Состояние полусна одновременно привлекало и пугало его, обещая как огромные возможности, так и огромные опасности. Тем не менее, Успенский был убежден, что без состояния полусна изучение сновидений невозможно. Теперь у него был «ключ к миру снов», и как в юности при столкновении с физикой, так и теперь это прозрение превратило то, что было «неясным и непонятным», в «понятное и видимое» [6].

Первые тревоги Успенского со временем уступили ясному пониманию того, как образуется большинство снов. Читателей, знакомых с его книгой «Поиски чудесного», выводы Успенского могут разочаровать. Успенский отрицал идею, что наши повседневные сны что-то рассказывают о нашем истинном «Я», о предназначении, и что они вообще несут какое-то послание. Он говорит, что они бессмысленны, «совершенно случайны, совершенно хаотичны, ни с чем не связаны» [7]. Скорее, утверждает он, большинство снов является продуктом нашего физического или психологического состояния. С детства ему регулярно снился сон о том, как он тонет в болоте. Сколько бы он ни пытался выбраться, во сне он неизбежно погружался в глубокую, кажущуюся бездонной грязь. Хотя годами он чувствовал, что в этом сне ему открывается что-то важное, в состоянии полусна Успенский обнаружил, что на самом деле болото отражало то, что его ноги запутались в одеяле. Повторяющийся сон о слепоте, как оказалось, вызывали попытки открыть глаза во сне. Рука, зажата коленом, порождала сон, в котором ее кусала собака. Повторяющийся сон, в котором он становился калек, был результатом того, что у него затекали мышцы ног.

Если отношение Успенского к снам нас разочаровывает, полезно вспомнить, на каком именно этапе своей карьеры он начал их изучать. По его собственным рассказам, в 1905 году Успенский еще не познакомился с теософией. Он говорит о времени, когда держался в искусственных «научных» рамках и, испугавшись какого-то опыта — какого именно, неясно — «бежал в голую и бесплодную пустыню „материализма“» [8]. Успенский, начавший исследование снов, жил, судя по всему, в «иссохшем и стерилизованном мире, с бесконечным множеством табу», наложенных

на его мысли. Однако обнаружение теософической и оккультной литературы «разрушило стены» вокруг и открыло ему мир новых возможностей.

Что бы мы ни думали об отношении Успенского к снам, рассказ о том, как он их смотрел, крайне интересен. «Я засыпаю», — пишет он:

Перед моим взором возникают и исчезают золотые точки, искры и звездочки. Эти искры и звездочки постепенно погружаются в золотую сеть с диагональными ячейками, которые медленно движутся в соответствии с ударами моего сердца. Я слышу их совершенно отчетливо. В следующее мгновение золотая сеть превращается в ряды медных шлемов римских солдат, которые маршируют вниз. Я слышу их мерную поступь и слежу из окна высокого дома в Галате, в Константинополе, как они шагают по узкой улице, один конец которой упирается в старую дверь и Золотой Рог [9].

Успенскому было важно классифицировать сны, и он относит этот сон к первой категории: сны, которые зависят от случайных ассоциаций [10]. Он любил ощущение полета во сне, и его описания появляются в его произведениях. Наутро после ночи с Танечкой Иван Осокин прогуливается у озера и восклицает: «Как безумно все хорошо!» Глубокое откровение вызывает у него желание пролететь над озером, «как я летаю во сне». А в более позднем рассказе «Разговоры с дьяволом» Успенский описывает состояние полусна, в котором его персонаж летит над экзотическим пейзажем, полным странных храмов и каменных пагод. Интересно, что в рассказе также говорится о трудностях, которые испытывал Успенский, когда не входил в состояние полусна: «Когда уснуть невозможно, человека захватывает чувство разрушения, и его нормальное „Я“ превращается в усталое, капризное, раздражительное и апатичное существо» [11]. То, что Успенский всю жизнь наслаждался сновидениями, очевидно из его замечания Морису Николлу много лет спустя, что кот Васька оцарапал его утром и помешал «утренним грезам».

Хотя Успенский отрицал предположение, что сны имеют значение, но считал, что некоторые из них несут глубокое и важное послание. Эти сны, по его словам, встречаются намного реже, чем считают люди. Подобно переживаниям во время бодрствования, сны бывают разными по важности и значению. Неверно говорить обо всех снах так, будто они все одинаковы. Он также проявляет склонность к снам, которые могли оказать на него сильное воздействие, — например, сны о лестницах. Он говорит об «определенном мистическом значении, которое лестница имеет в жизни каждого человека» [12]. Позднее, когда он учил работе, образ лестницы вернется в новой, более практичной форме: как идея, что для развития старших учеников системы необходимо, чтобы они приводили новых на свое место.

Другие аспекты исследования Успенским снов связаны с его опытом в качестве ученика и учителя работы Гурджиева. Очевидно, что наблюдение,

что «мы видим сны постоянно, *и во сне, и наяву*», совпадает с доктриной Гурджиева, как и вывод, что, «когда мы просыпаемся, сон не исчезает, но к состоянию сна *добавляется* состояние бодрствования» [13]. Борьба за то, чтобы «бодрствовать» и «помнить», — уже важный мотив для Успенского — встречается в поздних работах. Все больше и больше погружаясь в наблюдение за возникновением своих снов, Успенский осознал, что если позволит себе забыться, то забудет «самое важное, что нужно помнить, а именно, что я сплю и осознаю себя», — другими словами, что он находит-ся «в состоянии, о котором долго мечтал и которого стремился достичь».

Но, возможно, самым странным открытием, которое сделал Успенский в своих исследованиях, было своего рода «художество во сне», обладание творческими талантами, которых наяву он никогда не проявлял. Во сне он был драматургом, режиссером, пейзажистом и замечательным актером-пародистом. Успенский находил последний талант особенно поразительным: наяву у него совершенно не было таких способностей. Успенский никому не мог подражать, даже ближайшим друзьям, и был не способен вспомнить их самые характерные жесты, фразы или движения; однако его «сонный пародист» делал все это с поразительной легкостью. Успенский отмечает, что сны, в которых мы видим мертвых родственников или друзей, оказывают такое мощное воздействие именно из-за этого странного таланта. И он делает любопытный комментарий, что эта способность может «порой функционировать в состоянии бодрствования, когда человек погружен в себя или отстраняется от непосредственных воздействий жизни» [14]. Успенский рассказывает, что большинство спиритуалистических феноменов, например, услышанные голоса мертвых, можно объяснить поразительной силой сонного имитатора. Он рассказывает о своем друге Щербакове, с которым путешествовал в Египет и который умер как раз перед тем, как должен был вместе с Успенским отправляться во второе путешествие, на этот раз в Индию. Два раза во время второй поездки Успенский «отчетливо слышал его голос, словно он вступал в мой мысленный разговор с самим собой». Он говорил «в манере, в которой он один мог говорить, и сказал то, что он один мог сказать» [15]. Успенский не считал это визитом мертвеца. «Очевидно, — писал он, — он был во мне, в моей памяти о нем, и что-то во мне воспроизвело его». Успенский замечает, что такого рода «мысленная беседа» иногда происходит с отсутствующими друзьями, и когда она происходит с живыми людьми, то называется телепатией.

Как мы увидим, феномен слышания поразительно точных голосов — или, по крайней мере, одного поразительно точного голоса — сыграет огромную роль в дальнейших поисках Успенским чудесного.

Помимо собственных снов, Успенский упоминает сны молодой девушки, «политической заключенной, которая долгое время провела в Бутырской тюрьме в Москве». Во время его визитов она рассказывала о своих

снах, и как в них часто путался ее ранний опыт в институте, привилегированной правительственной школе для девочек, с ее нынешним несчастьем. Успенский пришел к выводу, что связующим звеном между ее прошлой и нынешней ситуациями была, несомненно, скука, чувство ограниченности и «общая нелепость окружающей обстановки» [16].

Этой политической заключенной была сестра Успенского, имя которой до нас не дошло. Нелепость окружающей ее обстановки была отчаянно очевидна им обоим. Почему именно сестру Успенского арестовали, неясно, но в 1905 году в России это не имело особого значения. В воскресенье 9 января сестра Успенского была среди тех тысяч людей, которые вышли на мирную демонстрацию и шли к Зимнему дворцу, чтобы представить царю список своих экономических жалоб. Возглавляемая священником, демонстрация двигалась вперед и вперед, и гвардейцы, не сумев остановить поток людей, запаниковали и стали стрелять по толпе. По меньшей мере, сто человек убили, сотни других ранили. По всей стране прокатились забастовки и протесты. Царь пытался успокоить беспорядки, согласившись на создание выборной Думы, хотя все равно хотел удержать реальную власть в своих руках. И снова было сделано слишком мало и слишком поздно. Дорога большевикам была открыта.

Сестра Успенского умерла в тюрьме в 1908 году, по какой причине — нам не известно. После ее смерти Успенский оказался человеком без семьи. В тридцать лет он был, по сути, одинок. Революция его не интересовала. Очевидно, что смерть сестры не расположила его к царю. Хотя его «петровской» стороне было что вспомнить, «Демьян» в нем, несомненно, стал намного сильнее. В 1906 году Успенский начал работать журналистом. Однако работа заставила его еще ближе столкнуться с миром «очевидных нелепиц». В редакции ведущей московской ежедневной газеты «Утро» он сидел и читал иностранные газеты: его лингвистические способности сделали его естественным кандидатом для работы с зарубежными новостями. Предполагалось, что он пишет статью о Гаагской конференции [17]. Однако во французских, немецких, английских и итальянских газетах было одно и то же сообщение. Он читал одни и те же автоматические фразы, помпезную риторику, очевидную ложь и скучные жесты. Мечтатель Успенский должен был вобрать эти пустые слова и написать о них что-то. Вместо этого он открыл ящик стола. Внутри лежали книги, которые предлагали мир, для него более реальный, чем сотни международных конференций и конвенций.

«Оккультный мир», «Жизнь после смерти», «Атлантида и Лемурия», «Учение и ритуал высшей магии», «Le Temple de Satan», «Искренние повествования пилигрима» — с этими и, надо полагать, многими другими книгами Успенский не разлучался месяцами. Он начал крайне тщательное изучение оккультизма, и из его работ очевидно, что он был знаком с

большинством авторитетных работ по этой теме. Хотя он признает, что многое в этих книгах находил наивным, в них был также привкус истины, и он чувствовал, что, так или иначе, они его *куда-то* приведут. В любом случае, он был убежден, что Гаагская конференция и тому подобное никуда и никогда не приведут.

Потеряв так много близких, незадолго до разрыва последней связи с прошлым, неудивительно, что такой чувствительный человек, как Успенский, отрицал мир политики, вместо этого находя своего рода утешение в комфорте *неизвестного* — может быть, даже в возможности снова найти своих близких? Из наивных книг он узнал, что «становится возможной мысль, что смерти может не быть, что ушедшие, возможно, не исчезли навсегда, и что я могу увидеть их снова». Это замечание, как признавал и сам Успенский, многое говорит о его мотивах. За столько времени привыкший мыслить «научно», Успенский забыл, что за внешней видимостью жизни может существовать *что-то еще*. Что это может быть, и как ему туда попасть, было неясно. Однако Россия 1906 года была очень подходящим местом, чтобы попробовать.

Хотя много лет она была официально запрещена, но к 1907 году теософская литература в России расцвела. Во многом это стало результатом работы другого крайне влиятельного эзотерического учителя, исследователя духовности и основателя антропософии, Рудольфа Штейнера. Исследователь Гёте и Ницше, крепко опирающийся на германскую идеалистическую философию, Штейнер возглавил в 1902 году германскую ветвь Теософического общества, и через несколько лет его влияние в Европе и России стало просто поразительным. Мария фон Сиверс, вторая жена Штейнера, была из Прибалтики, и в основном благодаря ее влиянию штейнеровская христианская версия теософии распространилась среди российской интеллигенции. Революция 1905 года помешала Штейнеру прочитать запланированную серию лекций в России. Однако многие интеллигенты бежали от самодержавного режима и пересекали границу, так что Штейнер организовал выступление в европейской столице изгнанников, Париже. В 1906 году Штейнер читал лекции аудитории, в которой присутствовали некоторые из самых влиятельных фигур русского культурного ренессанса: Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Константин Бальмонт и Николай Минский. К 1913 году, когда Штейнер читал серию лекций в Хельсингфорсе (Хельсинки), Финляндия, специально для своих русских последователей, уже существовало несколько антропософических дискуссионных кружков и мастерских в Санкт-Петербурге и Москве. Некоторые из самых влиятельных культурных фигур стали преданными последователями учения Штейнера, в том числе романист Андрей Белый, один из гигантов модернизма. Успенский, как и Штейнер, тоже оказывал влияние на современную культуру, хотя это редко признается.

Серебряный век русской культуры — с 1880 по 1914 год — включал сильнейший всплеск интереса к разным формам мистицизма и оккультизма, и это неудивительно. Святая Русь породила несколько самых известных оккультных фигур конца XIX—начала XX века. Помимо Гурджиева и Успенского, среди них были мадам Блаватская, одна из основателей Теософического общества; Распутин, «святой дьявол»; и художник Николай Рерих, который написал фон к революционному балету Игоря Стравинского «Весна священная», а позднее развил духовное учение под названием Агни Йога. В атмосфере «безумной эсхатологической обреченности» [18], которая пронизывала Россию в начале прошлого столетия, теософские идеи наступления «новой эры» соединялись с революционной политикой и создавали головокружительную смесь духовного либертарианства и гедонистического аскетизма. Многие из самых значительных фигур литературы и искусства того времени так или иначе соприкасались с оккультным. Белый, писатель Валерий Брюсов, композитор Александр Скрябин, философ Николай Бердяев и многие другие занимались глубокими исследованиями магии, мистицизма и теософии. В кафе серьезное изучение паранормальных феноменов было такой же обычной темой разговора, как и некоторые из более жутких проявлений эпохи — такие как клубы самоубийц, сатанизм и практически обязательные черные мессы. Импортированные вместе с французским символизмом, который достиг русских степеней к началу 1890-х, разные формы сатанизма и дьяволопоклонничества стали предметом одержимости ряда русских литераторов, художников и музыкантов. Самые разные дьявольские темы завораживали интеллигенцию, выражаясь в наркотиках, диких нарядах, чрезмерном эротизме и других видах непристойного поведения. Такие философы, как Владимир Соловьев, такие писатели, как Василий Розанов, такие поэты, как Александр Блок, и такие художники, как Михаил Врубель, обращались в своих работах к демонической и сатанинской тематике. Сатанинская эротика стала обычной темой популярной журналистики, изображавшей пассивных полуобнаженных женщин, на которых охотятся демонические инкубы. На сцене актер Федор Шаляпин сделал карьеру, изображая сатанинские фигуры, среди которых самая известная — Мефистофель из «Фауста» Гуно. Художник Николай Рябушинский, устроивший клуб самоубийц «Черный лебедь», опубликовал в своем журнале «Золотое руно» объявление с просьбой о работах для специального издания, посвященного дьяволу, и получил девяносто два ответа [19].

Успенский был вполне себе человеком своего времени, как демонстрирует его сборник рассказов «Разговоры с дьяволом». Однако даже здесь он шел собственным путем. Хотя такие влиятельные писатели, как Валерий Брюсов, изображали дьявола как могущественного и привлекательного мятежника, «превыше добра и зла», Успенский отвергал этот подростковый

романтизм и взамен предполагал, что дьявол на самом деле — «воплощение вульгарности и банальности» [20]. Успенский тоже был склонен к ницшеанской этике, но терпеть не мог, когда ее подделывали. Имена других фигур российского духовного ренессанса тоже появляются в книгах Успенского, так что он твердо встает в их ряды. К примеру, он говорит об Александре Добролюбове, поэте, который после религиозного обращения раздал свое имущество и бродил по Руси, надев железные вериги, как православные блаженные.

Успенский пришел к теософии в 1907 году, когда только начинал свое изучение мистицизма. Хотя в 1914 году он покинет Теософическое общество, влияние теософских идей останется с ним до конца жизни. Он отмечал, что рано распознал «слабость» теософии. По его словам, в ней «не было продолжения», то есть она уже затвердела до состояния идеологии — опасность для любого учения. «Начав со смелого, революционного поиска чуда, — писал он, — теософия скоро стала отступать от него и останавливаться на неких „найденных“ истинах». Однако он поддерживал связь с Теософическим обществом и движением много лет и позднее очень гордился тем, что во время одного из путешествий в Индию посетил штаб-квартиру общества в Адьяре, где его принимали как особу королевской крови. Штаб-квартира представляла собой трехэтажное здание: на первый этаж могли попасть все, на второй пропускали меценатов, а верхний этаж отводился исключительно посетителям высочайшего теософического ранга. Успенский с некоторым удовлетворением говорит о том, что его немедленно приняли в высочайшую группу.

Возможно, он отказался от некоторых из более наивных элементов теософии, как и другой последователь Гурджиева, литературный критик А. Р. Ораж. В результате экспериментов с наркотиками — к которым мы вскоре перейдем — Успенский заключил, что сообщения об «астральном плане» или «Хрониках Акаши», делавшиеся выдающимися фигурами теософии, такими как Рудольф Штейнер и Ч. В. Лидбитер, по меньшей мере, сомнительны. Тем не менее, теософическое наследие Успенского оставалось очевидным. Моральные и этические ценности теософии нравились его «демянской» стороне; он соглашался с важностью изучения сравнительной религии; а идея, что наука, искусство, религия и философия происходят из одного источника, лежала в фундаменте его собственного видения. Годы спустя он рассказал Рому Ландау, что, когда начинал читать теософские материалы, авторы чувствовали глубокую истину и еще не начали «повторяться». А в последнее десятилетие жизни Успенский надеялся передать идеи работы большой аудитории, образовав так называемое историко-психологическое общество. Хотя Вторая мировая война разрушила его планы на основании общества, заметки, которые набросал Успенский, предполагают, что теософские вопросы юности все еще его волновали.

Теософия, как отмечает Успенский, «открыла двери... в новый, больший мир». Одной из центральных идей в этом новом, большем мире был эзотеризм, идея сокрытого или тайного знания. Хотя для обыденного ума это непонятно, но тайное знание можно найти, тщательно изучая литературу и артефакты прошлого. Успенский полагал, что в ходе чтения нашел «неразрывную линию мысли и знания, которое переходит из столетия в столетие, из эпохи в эпоху, из страны в страну». Эта мысль «скрыта под слоями религий и философий, которые являются по сути лишь искажениями и извращениями идей, принадлежащих к этой линии». «Обширная литература», которая «малоизвестна», тем не менее «питает философию, какой мы ее знаем, хотя она едва упоминается в учебниках» [21].

Идея сокровенного или священного знания, конечно, существовала с древнейших времен: об этом говорят древние греческие мистерии, а чистейший пример — алхимические трактаты XV–XVI веков. Во времена Успенского самым известным адвокатом этой идеи была мадам Блаватская. В ее книге «Тайная доктрина» утверждается, что, несмотря на весь научный прогресс, современный человек потерял ключ к глубокой древней мудрости. Особый талант Успенского заключался в том, что он связал эту идею с другими, не менее стимулирующими и бурлящими в коллективном сознании: с идеей богочеловека, распространявшейся такими мыслителями, как Владимир Соловьев, ницшеанским видением сверхчеловека и тем, что Успенский и другие называли бы «космическим сознанием».

Неудивительно, что Успенский придал идее космического сознания собственную окраску. Находясь под сильным влиянием Ницше, он отверг теософскую идею, будто вся человеческая раса медленно развивается в высшую форму сознания. Вместо этого он утверждал, что любая возможная эволюция сознания должна быть продуктом культуры, направленной на эволюцию. Эта вера была отчасти выражением характера Успенского. Дж. Г. Беннет говорит о его «пренебрежении к неграмотным массам» [22], и мы знаем, что Успенский отрицал то, что называл *бытом*, — рутину, повседневную жизнь. Однако Успенский был не одинок в разделении людей на два типа: тех, кто хочет развиваться, и тех, кто не хочет, если позволено будет упростить.

Успенский говорит о двух культурах — цивилизации и варварстве. Он рассматривает историю как повторяющийся подъем и спад этих двух противоположностей, причем варварство обладает небольшим, но значимым преимуществом. Изначально, в далеком прошлом, эмиссары «внутреннего круга», эзотерические руководители человеческой эволюции, принялись «цивилизовать» первых людей, но в процессе позволили насилию проявиться и вмешаться в их цели. Такое помутнение цивилизующего влияние росло, пока две культуры не оказались вовлечены в продолжающуюся битву. Цивилизация приносит религию, науку, философию, искусство



и социальный порядок, что дает людям свободу, безопасность и время на развитие идеи и средств самовыражения. Варварство означает жестокость, банальность, ложь — все то, что извращает и со временем разрушает работу цивилизации. Но поскольку цивилизация вынуждена использовать некоторые элементы варварства, чтобы поддерживать и защищать саму себя — армии, полицию, государство — со временем они подчиняют ее себе, и оказывается, что ее все больше мотивируют ценности варварства, а не ее собственные. Успенский считал, что в его дни дух истинной цивилизации был слабым и хрупким, «бледным болезненным ростком».

Хотя силы варварства могут преобладать среди масс (не обязательно в форме насилия, но в принятии банальности и в прославлении неважных в сущности ценностей), они, тем не менее, образуют странные симбиотические отношения с индивидуальностью, которая для Успенского выступает носителем цивилизации. Успенский утверждает, что сами по себе общества ничего не создают — создавать умеет только индивидуальность. Трагедия индивидуальности, говорит он, заключается в том, что она живет «среди тупой массы» общества, и практически вся ее деятельность используется в его нуждах. Творческая активность индивида часто идет «против течения» общества. Все новое, отличающееся, исследовательское рассматривается как угроза норме, и общество так или иначе ей сопротивляется, пытаясь ограничить видение индивида чем-то, что соответствует наименьшему общему знаменателю. Высшие ценности не нужны для функционирования общества, что видно по растущему глобальному успеху нашей культуры потребления.

Однако, как говорит нам Успенский, индивид — это «высший организм», способный на цели и мотивы, превосходящие потребности общества. Хотя общество пытается вобрать всю работу индивида, кое-что неизменно ускользает. Этот маленький остаток и есть то, что мы называем прогрессом. Вопреки собственной воле, общество «заражается» ценностями творческого индивида. Без этой инфекции общество загнило бы, полностью остановилось и довольно скоро разложилось. Поэтому для выживания культура варварства должна перенимать некоторые элементы культуры цивилизации.

Вдохновленный открытием теософской литературы, в 1908 году Успенский отправляется в первое путешествие в поисках эзотерических школ. Со своим другом Щербаковым он отправляется на Восток, посещает Константинополь, Смирну, Грецию и Египет и пишет о своих путешествиях в московские газеты. В Константинополе он видел дервишей Мевлеви. «Константинополь тогда еще был живым, — напишет он. — Позднее он умер. *Они* были душой Константинополя» [23]. В Египте он ощутил страх и ужас уничтожения перед непроницаемым ликом Сфинкса и сделал интересное замечание — что Сфинкс появился раньше Древнего Египта. «Это

значит, что даже для самых древних из древних египтян... Сфинкс был той же загадкой, что и для нас сегодня», — комментарий, который напоминает об идеях, популяризированных такими современными писателями, как Грэм Хэнкок [24]. Однако хотя он был убежден, что Сфинкс — это «артефакт иной, очень древней культуры, которая была одержима знанием намного большим, чем наше», Успенский вернулся в Москву, не найдя школы, и в сущности был не намного ближе к прикосновению к чуду, чем перед путешествием. Вскоре после своего возвращения он переехал из Москвы в Санкт-Петербург.

На этом этапе Успенский вернулся к своей прежней одержимости — четвертому измерению. Интерес того времени к идее четвертого измерения начался с философа Иммануила Канта. В своей книге «Прологомены ко всякой будущей метафизике» Кант задавался вопросом, не является ли странное различие между рукой и ее зеркальным отражением результатом ограниченного восприятия пространства. Два выглядят одинаково, но явно не одинаковы, потому что являются противоположными отражениями друг друга. В 1827 году германский астроном Август Фердинанд Мёбиус — прославившийся лентой Мёбиуса — предположил, что асимметричный твердый предмет, например рука, можно развернуть, провернув его через «высшее пространство». Такие ученые и математики, как Гаусс, Лобачевский, Бойяи, Риман, Мах, Минковский и Эйнштейн, обдумывали эту идею. Однако в 1877 году размышления о четвертом измерении приняли новый оборот, когда физик Йоханн Золльнер выдвинул предположение, что вероятное «высшее пространство» может отвечать за замечательный феномен, открытый физиком Генри Слейдом. Золльнер утверждал, что Слейд достигает результатов — например, развязывает узел на запечатанной веревке или пишет на закрытой доске — вызывая духов, которые обитают в четвертом измерении. Когда Слейда арестовали по обвинению в мошенничестве, многих удивило то, что в защиту Слейда выступило множество известных ученых, в том числе и Уильям Крукс, изобретатель электронно-лучевой трубки. Благодаря сенсационным отчетам в газетах о деле Слейда и серии экспериментов, проведенных Золльнером и уважаемым психологом Густавом Фехнером для того, чтобы доказать невиновность Золльнера, в понимании общественности идея четвертого измерения оказалась тесно связана с идеей мира духов.

Однако во времена Успенского чаще всего с четвертым измерением связывали имя Чарльза Х. Хинтона, который популяризировал идею в серии книг и журнальных статей. Родившийся в 1853 году в Лондоне, в конце 1870-х Хинтон испытывал своего рода философский кризис: он чувствовал непреодолимую потребность — практически одержимость — прийти к какой-нибудь форме абсолютного знания. Он выбрал необычное средство удовлетворения своего эпистемологического беспокойства:

взялся запоминать кубический ярд из кубиков в один дюйм. Он взял блок размером тридцать шесть на тридцать шесть на шесть кубиков, дал каждой из сорока шести тысяч шестисот пятидесяти шести сторон латинское название из двух слов и научился визуализировать эту конструкцию как своего рода «твердую бумагу». Изменяя размер так, чтобы она помещалась в воображаемый кубический ярд, Хинтон мог визуализировать твердую конструкцию, определяя, какие из названных кубиков она занимает. Более того, Хинтон запомнил положения кубиков в каждом из двадцати четырех возможных поворотов блока, видимых наблюдателю.

Хинтон полагал, что в ходе этого упражнения развил способность видеть высшее пространство — четвертое измерение. Он развивал свою идею в серии книг: первая, «Научная романтика» (1885), повлияла на, возможно, самое известное вымышленное описание четвертого измерения — роман Г. Г. Уэллса «Машина времени» (1895). Но, вероятно, самой популярной стала четырехмерная салонная игра под названием «кубики Хинтона», набор из двенадцати картонных кубиков, грани, ребра и вершины которых были раскрашены в разные цвета (всего восемьдесят один). Любому желающему заглянуть в четвертое измерение предлагалось запомнить всю конструкцию, как Хинтон, а затем менять маленькие кубики местами: это должно было продемонстрировать, что поворот через четвертое измерение является эквивалентом зеркального отражения в знакомом нам трехмерном мире.

Кубики Хинтона стали повальным увлечением, появившись вместе с астральным зрением и просмотром ауры в теософских кругах Нью-Йорка и Лондона [25]. Неизвестно, когда именно Успенский столкнулся с работами Хинтона, но вместе с ящиком оккультной литературы книги Хинтона стали центральными в его библиотеке чудесного. Позднее Успенский перевел на русский работы Хинтона, а также другого английского метафизического мыслителя, мистического социалиста Эдварда Карпентера.

Как было со всем, к чему он прикасался, Успенский привнес в идею четвертого измерения собственные идеи. Чисто математический подход, с его точки зрения, был тупиком; методы спиритуалистов тоже ограничены. Четвертое измерение, как утверждал Успенский, посвящено мистериям куда большим, мистериям сознания и времени.

В 1909 году Успенский издал книгу «Четвертое измерение», позднее вошедшую в качестве одной из глав в «Новую модель Вселенной». Во многом это была разминка перед его более поздней и влиятельной работой, но она немедленно вывела его в ряды важнейших мыслителей своего времени. Успенский взял у Хинтона идею, что для того, чтобы воспринимать высшее пространство, нужно изменить само сознание. Кубики Хинтона, несмотря на их популярность, были в лучшем случае отправной точкой. Они должны были помочь в том, что он называл «отрицанием себя», —

избавлением от субъективной, относительной точки зрения наблюдателя, что позволяло воспринимать мир «как он есть». Также Успенский позаимствовал у Хинтона аналогию, которая помогает охватить воображением, каким будет восприятие четвертого измерения. Одномерному существу будет казаться, что двумерный квадрат обладает «невозможными» свойствами. Для квадрата проходящий через него трехмерный куб будет превосходить все известные законы реальности. Поэтому, предполагает аналогия, для таких трехмерных существ, как мы, воплощение четвертого измерения тоже выглядит невозможным. Или, пользуясь любимым термином Успенского, «чудесным».

Успенский заключал, что четвертое измерение — это не какая-то математическая гипотеза и не сомнительная обитель духов. Оно уже существует *в нашем собственном сознании*. Однако поскольку мы заключены в мире трех измерений — надежном, предсказуемом и совершенно нечудесном мире материализма, науки, пространства и времени — мы не можем к нему прикоснуться. Если только, как предлагает Хинтон, мы не *изменим* свое сознание. Однако Успенскому не хватало терпения, чтобы запоминать кубики Хинтона. Были и *другие* средства изменения сознания, как уже показали его эксперименты со сновидениями. И в своей маленькой комнатке в Санкт-Петербурге он решил, что настало время новых экспериментов.

## Глава 3

---

# Мыслить другими категориями

В Санкт-Петербурге Успенский поселился на углу Невского и Литейного проспектов, в модном районе в центре города. Жилище его было небольшим — одна комната, в которой находились стол, стул, кровать и сундук, доверху набитый его библиотекой. В ней был французский оккультист и масон Папюс; поэт-декадент Станислас де Гуайта, который писал стихи в стиле Бодлера; и Элифас Леви, «профессор трансцендентальной магии», ответственный за оккультное возрождение XIX века. Здесь же были книги Хинтона и многих других: «Космическое сознание» канадского психолога Ричарда Бека, том Вивекананды, «К демократии» Эдварда Карпентера, обязательный Ницше, несколько романов Достоевского и, разумеется, Лермонтов.

Одной из очень полезных, по мнению Успенского, книг было «Многообразие религиозного опыта» философа и психолога Уильяма Джеймса. Опубликованное в 1902 году, это классическое психологическое исследование религии было одним из немногих академических трудов, в которых мистический опыт воспринимался всерьез. Джеймс утверждает, что необычные переживания, испытываемые мистиками и святыми на протяжении всей истории человечества, являются более плодотворным основанием для понимания природы религии, чем любые догмы. Джеймс приводит истории известных святых и мистиков из нескольких религий, но также добавляет рассказы о мистических переживаниях другого рода, а именно — вызванных наркотиками.

В 1874 году Бенджамин Пол Блад, нью-йоркский фермер, бодибилдер и гений вычислений, частным образом издал крайне эксцентричное описание своих переживаний, испытанных под действием закиси азота, или веселящего газа. В «Анестетическом откровении и сущности философии» Блад утверждал, что вдыхание веселящего газа явило ему «Открытый Секрет... первобытное, адамическое удивление жизнью».

Блад разослал экземпляры своей работы всем влиятельным людям, которым смог, в том числе членам недавно образованного в Англии Общества психических исследований. Джеймс, которого интересовали психические

феномены, наткнулся на рассказ Блада в журнале *The Atlantic Monthly*. Блад произвел на Джеймса такое впечатление, что тот включил фрагмент из «Анестетического откровения» в свое «Многообразие религиозного опыта» (где также обсуждаются идеи из «Космического сознания» Бека).

Джеймса не удовлетворяло понимание мистического сознания, полученное из вторых рук. Чтобы полностью осознать, что такое мистическое переживание, он собирался испытать его самостоятельно. Где-то в 1900 году он организовал вдыхание газа. Под его действием Джеймс испытал объединение противоположностей, которое, по утверждению Блада, составляло суть анестетического откровения. «Под воздействием газа я писал или диктовал фразы, страницу за страницей, — писал Джеймс, — которые для трезвого читателя выглядели бессмысленной чушью, но в момент написания были пронизаны огнем бесконечной рациональности. Бог и дьявол, добро и зло, жизнь и смерть, я и ты, пьяный и трезвый... и пятьдесят других контрастов появлялись на этих страницах с одинаковой монотонностью». Пример его заметок позволяет понять, что происходило в голове Джеймса под действием газа:

Ошибка это вариант рыбки.  
Тошнота это тошная нота [1].

Для логичного ума такие размышления выглядят бессмыслицей. Однако Джеймс не мог отрицать определенную важность этого эксперимента. «Ключ к переживанию — бесконечно восхитительное чувство сильнейшего метафизического просветления. Истина лежит открытой глазу в глубине большей, чем глубина самого ослепительного свидетельства» [2]. «Нормальное бодрствующее сознание, рациональное сознание, как мы его называем — не более чем специальный тип сознания, а вокруг него, отделенные тончайшими ширмами, лежат потенциальные формы сознания совершенно иного». «Ни одно описание Вселенной во всей ее полноте, — утверждает он, — не может быть конечным, если оставляет эти иные формы сознания совсем без внимания» [3].

Сидя в своей маленькой комнатке на Литейном, тридцатидвухлетний Успенский согласился с Джеймсом и твердо решил, что точно не оставит эти другие формы сознания без внимания.

Успенский рассказывает, что целью его экспериментов с наркотиками был поиск неких фундаментальных ответов на вопрос о реальности магии. К 1911 году он был знаком с существующей литературой по теософии и оккультизму, и как ученый хотел знать, что из этого реально, а что является плодом воображения. К тому времени, как Успенский приступил к исследованиям, он стал известным и весьма уважаемым членом русской теософской общины, писал в ее журналы и читал ее последова-

телям лекции о своих путешествиях. Для философа Николая Бердяева, который враждебно относился и к теософии, и к антропософии Рудольфа Штейнера, Успенский был «самым независимым и талантливым теософским автором». Однако Успенский по-прежнему искал ответы на центральные вопросы своей жизни. Он попробовал на вкус космическое сознание. В 1908 году на борту парохода, идущего через Мраморное море (море на азиатской стороне Турции), Успенский пережил мимолетное мгновение, когда его сознание поразительным образом *слилось* с внешним миром. Вот как он это описывает:

[Я] вошел в волны, вместе с ними с ревом побежал на пароход. И в этот момент стал всем. Волны — это был я. Фиолетовые горы вдали — это был я. Ветер — это был я. Тучи, бежавшие с севера, дождь — это был я. Огромный пароход, качавшийся и неуклонно стремившийся вперед, — это был я. Я ощутил это огромное тяжелое железное тело, мое тело, все его движения, колебания, качания и дрожь, огонь, напряжение пара и машину внутри меня, беспощадный неуклонный винт, с каждым ударом гнавший и гнавший меня вперед; ни на секунду не отпуская меня, следивший за каждым моим движением руль. Все это был я. И дежурный на мостике был я. И два матроса... и черный дым, валивший из трубы... все.

Это было мгновение необыкновенной свободы, радости и расширения. Секунда — и очарование исчезло [4].

Однако Успенский знал, что для глубокого понимания космического сознания нужно больше, чем короткое мгновение. Он был знаком с разными методами изменения сознания — йогическое дыхание, например, или пост и разные физические упражнения. Но для человека, жаждущего найти чудесное, все эти методы казались слишком медленными и долгими. Успенский торопился; к тому же он был очень современным мистиком, готовым пробовать новые способы вступления в неизвестное, такие как закись азота и, если можно опираться на внутренние свидетельства, гашиш. Вооруженный этими двумя средствами, в течение по меньшей мере года Успенский систематически пытался вызвать у себя высшие состояния сознания [5].

Перемены произошли быстрее, чем он ожидал. Практически немедленно он столкнулся с проблемой: неизвестное, как оказалось, действительно *неизвестно*. «Новое состояние сознания давало одновременно столько нового и неожиданного, и эти новые и неожиданные переживания накатывали на меня и пролетали мимо так быстро, что я не мог найти слов, не мог найти речевых форм, не мог найти концепций, которые позволили бы мне вспомнить, что происходило... и тем более передать это кому-то другому» [6].

Описание Успенского — это, пожалуй, одно из самых четких среди существующих описаний абсолютно «иной» формы сознания. Один из первых признаков того, что он приблизился к «запредельному», — странное

ощущение двойственности, как будто его сознание разделилось надвое. Затем он оказался в совершенно новом мире. Ничто, как он осознавал, не могло подготовить его к этому перемещению во *что-то иное*. Он скоро увидел, что ничто из прочитанного об астральном плане, мире духов или высших сферах не помогает ему в этой совершенно иной реальности, центральной характеристикой которой было единство. В этом новом мире не было ничего отдельного. *Все* было связано. Для того чтобы описать свои первые впечатления от любой его части, Успенский был вынужден описывать все одновременно. Во время одного из опытов с наркотиками, где его сопровождал друг, Успенский начал описывать некоторые свои ощущения. Но само действие говорения вызывало так много ассоциаций и размышлений, что продолжать оказалось невозможно. «Между первым и вторым словами моего предложения мне в голову приходило и уходило такое огромное количество идей, что два слова оказывались разделены настолько сильно, что становилось невозможно найти между ними какую-нибудь связь» [7].

Успенский вскоре увидел, что мир, в который он вошел, полностью пронизан математическими связями. В нем обычные для нас различия между субъективным и объективным, внутренним и внешним выворачивались наизнанку. Внешний мир твердых материальных предметов становился нереальным, а внутренний мир мыслей, чувств и ощущений обретал временами ошеломляющее присутствие. Оставаясь до определенного уровня «под влиянием теософской литературы», Успенский понял, что вошел в *арупа*, — это санскритское название для бесформенного ментального мира. Здесь присутствовало невидимое, а видимый мир повседневной реальности был не более чем символом «высшего» невидимого мира. Успенскому явился образ гигантского лотоса, лепестки которого постоянно разворачивались, и он осознал, что это иероглиф [8] слова. Свет, движение, цвет, музыка, эмоции, знание, интеллект и чувство непрекращающегося роста текли из центра этой фантастической мандалы, и голос — как в его экспериментах со сновидениями — сказал ему, что это образ индуистского бога Брахмы. Но на грани вступления в абсолют Успенский ощутил опасность. Перед ним тянулась бесконечность. Она пугала и завораживала. Что, если он войдет в нее — и никогда не вернется? «Присутствие» предупреждало его об опасности и советовало отступить.

Опасность бесконечности излучали самые обыденные предметы. И, подобно Джеймсу, Успенский попытался воспроизвести чувство странной реальности, в которой оказался. Он попытался сформулировать ее сущность, связать свои озарения с каким-то вербальным пусковым механизмом. Однажды, сидя на диване с сигаретой, Успенский бросил взгляд на пепельницу. «Это была, — писал он, — обычная медная пепельница». Однако пока он на нее смотрел, она стала необычной. С «чувством удив-



ления и почти страха» он ощутил, что никогда не понимал прежде, что такое пепельница. Его окружила «буря мыслей и образов». Бесконечность фактов и ассоциаций вырвалась из пепельницы, распространяясь перед ним, как огромная сеть взаимосвязей. Перед ним прошло все связанное с курением и табаком. Потом последовала сама пепельница: как она была сделана, откуда взялась медь, история металлургии, как люди ее открыли, какие действия производились над ней, прежде чем она оказалась у него на столе. Поток вопросов о пепельнице вылился на Успенского, и, схватив карандаш, он попытался записать хоть что-то из того, что пронизывало его разум. На следующее утро он прочитал записанное. На листке говорилось: «Человек может сойти с ума из-за одной пепельницы».

В другой ситуации, когда газ привел его в особенно оживленное состояние, он схватил карандаш и лист бумаги. На следующее утро он непонимающе смотрел на единственное нацарапанное предложение: «Мысли другими категориями». Как и большая часть опыта, то, что он подразумевал под этими словами, исчезло.

Однако Успенский сумел сохранить кое-что из новых прозрений. Обычно он проводил эксперименты в своей комнате, но несколько раз решался выйти на улицу. Поскольку эффект веселящего газа проходит за несколько секунд, вероятно, что в этих случаях Успенский использовал гашиш. Выйдя за дверь, Успенский обнаружил, что, подобно пепельнице, обыденный мир не такой уж и обыденный. Его охватило странное эмоциональное состояние, в котором было невозможно испытывать безразличия ни к чему. Все поражало его с неожиданной силой и глубиной. В этом новом мире, где ничто не было мертвым, все было одушевленным, он начал воспринимать то, что никогда не воспринимал раньше. Дома, мимо которых он проходил, были живыми, и люди внутри были их мыслями, чувствами и настроениями. Обычная каретная лошадь на Невском проспекте оказалась вовсе не обычной, а атомом великой лошади, как собака была атомом великой собаки, а человек — атомом великого человека. Но еще более поразительные результаты появились, когда Успенский подумал о мертвых.

Неудивительно, что в этом странном новом состоянии Успенский попытался обрести понимание центральной мистерии жизни. Успенский говорит о смерти определенного человека, близко связанного с ним, и о том, как в то время пытался найти ответ на тайну его гибели [9]. Находясь в депрессии из-за потери, он нашел некоторое утешение в своего рода мечтательной фантазии. Он «видел» две фигуры: одна — человека, каким он его знал, а другая — жизнь человека, которая явилась Успенскому в виде дороги, уходящей по холмам и долинам вдаль. Сейчас, во время своих экспериментов, Успенский думал о другой потере, произошедшей двумя годами ранее [10]. Он чувствовал сожаление и раскаяние из-за того, что не

был рядом с умершим, «когда он мог во мне нуждаться». В следующем видении он снова «видел» этого человека — не как личность, которую знал, а как всю его жизнь, его Линга Шарира, длинное тело жизни. Как было с пепельницей, все об этом человеке явилось Успенскому одновременно, и он осознал, что наши жизни — это не просто серии событий, следующие «одно за другим». С начала до конца они образуют своего рода живое существо, которое продолжает существовать после того, как исчезает наша физическая, видимая, последовательная форма. Наши реальные «Я» — это нечто большее, чем тени, которые мы видим перед собой. Успенский знал, что это озарение действительно имеет смысл. Времени, как мы его знаем, *не существует*. Есть лишь «вечное сейчас», которое мы не видим, потому что наше ограниченное сознание дробит его на прошлое, настоящее и будущее. Как наше сознание обычно ограничивает количество ассоциаций к данному объекту, которые мы можем воспринимать, и тем самым позволяет нам функционировать в мире, так оно ограничивает и наше восприятие истинной природы времени.

Но после подъема приходит спад. Возвращаясь из своих путешествий, Успенский ощутил нечто подобное метафизическому похмелью. «Самое странное во всех этих переживаниях — возвращение к обыденному состоянию». По его словам, это очень похоже на умирание. Эти темные пробуждения должны были быть во многом подобны бесплодным состояниям ума, в которые он входил, когда его попытки вызова полусна приводили только к бессоннице. Такие состояния были «погружением в материю» — а ведь именно от рабства Великой Материи он якобы избавлялся, когда погружался в неизвестное. «Все становится плоским, обыденным, прозаичным; глас таинственного и чудесного... замолкает и выглядит не более чем глупой выдумкой. Замечаешь только дискомфорт — бессмысленные и неприятные стороны всех вещей и людей. Зеркало теряет блеск, и мир выглядит абсолютно серым и плоским» [11]. В этом «мертвом мире» было что-то исключительно давящее, как будто он был огромной деревянной машиной — с деревянными колесами, деревянными мыслями, деревянными ощущениями. Эта машина двигалась, скрипела и была невероятно медленна. Много лет спустя Гурджиев скажет Успенскому, что Земля — очень плохое место во Вселенной. В те дни, когда он пробуждался от своего мистического опыта, Успенский получил предвестие этого огорчительного прозрения.

Однако возможно сильнее, чем чувство космического огорчения, Успенский испытывал крайнее раздражение из-за своей неспособности удержать все то, что он видел. Опыт просачивался сквозь его пальцы, как вода. «Остается так мало, — жалуется он. — Я так смутно помню то, что испытал». А то, что он мог вспомнить, было практически невозможно описать. Что хорошего было во внезапных вспышках и прозрениях, если мир,

который он в них видел, немедленно исчезал из памяти? Между мрачным утренним Успенским и Успенским-*провидцем* как будто лежала непроходимая пустыня. Он *что-то* видел, в этом он был уверен. Но что именно? Обрезав якорь повседневного, он плыл по течению бесконечного. Его ум, заточенный и острый как бритва, оказался неподходящим инструментом для понимания тех могущественных эмоций, которые его пронизывали. Приток чувства оказался слишком сильным, слишком быстрым, чтобы его можно было охватить словами. Что он мог вспомнить? Было ли это сном?

Успенский пришел к выводу, что, несмотря на их ценность для познания возможного, веселящий газ и гашиш слишком неуловимы и неконтролируемы, чтобы дать что-то большее, чем короткий взгляд свысока. В любом случае, если человек может сойти с ума из-за одной пепельницы, регулярная диета из бесконечного наверняка будет чрезмерной. И снова он вернулся к идее школ. Если эзотерические школы существуют, то, возможно, он найдет одну из них, и в ней окажется учитель, который покажет ему, как контролировать эти новые поразительные состояния сознания. Он отправится в долгий путь, пообещал себе Успенский.

Но прежде чем выйти в дорогу, Успенский собрал все, что осталось от его приключений в невозможном, и создал работу, которая сделает его знаменитым. Она называлась «Tertium Organum».

## Глава 4

---

# «Tertium Organum»

Книга Успенского «Tertium Organum» стала, возможно, самым эффективным противовесом интеллектуальной ортодоксальности начала XX века. Изложить эту книгу вкратце практически невозможно, потому что она объединяет кантианскую эпистемологию, кубики Хинтона, животное восприятие, секс, теософию, космическое сознание, сверхчеловека и личные переживания Успенским мистических состояний. На английский название переводится как «Третий органон мысли» — следующий за описанными Аристотелем и Фрэнсисом Бэконом. В «Tertium Organum» утверждается необходимость выйти за пределы логики и рациональности, чтобы охватить истинную природу реальности. Однако такое краткое изложение книги не позволяет оценить богатство деталей, изящество логических посылок, красочные аналогии и метафоры, которые украшают яркую прозу Успенского.

Возможно, одна цитата даст представление о ранней работе Успенского так же хорошо, как любое подробное изложение:

У жизни нет стороны, которая не открывала бы нам бесконечность нового и неожиданного, если подходить к ней со **знанием**, что она ограничивается ее видимой стороной, что за этой видимой стороной лежит целый мир «невидимого», целый мир новых и непознаваемых сил и отношений [1].

Видно, что представления Успенского пронизаны символизмом его юности. То, что он с раннего возраста обладал чувством «невидимого», очевидно из его любви к роману Лермонтова «Герой нашего времени» с величественными описаниями гор и неясными намеками на сверхъестественное. Иван Осокин говорит Зинаиде, что любит стихи в одну строчку, потому что «чем больше остается воображению... тем лучше» [2]. Символизм вырос из работ скандинавского религиозного мыслителя Эммануила Сведенборга, с посредничества поэта Бодлера, который развил идею Сведенборга о соответствиях в полную эстетическую философию [3]. Сведенборг был носителем традиции германского мистика Якоба Бёме, который во вспышке высшего сознания заглянул в то, что назвал «подписью вещей», в реальность под поверхностью мира. «Tertium Organum»

закладывает под это фундаментальное озарение крепкое и убедительное основание для систематической философии сознания.

Даже когда Успенский наименее убедителен — например, при изложении взглядов на животное восприятие — очевидно, что в четвертом измерении его, в отличие от Хинтона, интересует не возможность восприятия предметов «без точки зрения», как сформулировал бы это культурный философ Жан Гебсер [4]. Успенский считает, что восприятие вещей в высшем пространстве приведет к тому, что мы начнем думать о них иначе, «мыслить иными категориями», придем к новым концепциям, новым аналогиям, новому *языку*, которым мы говорим о реальности. Как ему было известно из экспериментов с полусном и наркотиками, это самое необходимое.

«Tertium Organum» с подзаголовком «Ключ к загадкам мира» недаром считается классикой работ о высшем пространстве и высшей математике. Однако ее несколько отталкивающие рассказы о разных измерениях и о «сознании» линии, квадрата и куба — своего рода отвлекающий маневр. Успенский начинает с интуитивного предположения, что позитивизм, интеллектуальная традиция его дней, крайне неадекватно описывает самые важные аспекты человеческого существования. Эта традиция много раз меняла названия, но до сих пор является официальным объяснением всего. Она утверждает, что реальное можно измерить, используя наши собственные органы чувств или их многочисленные продолжения, развитые наукой. Только видимое реально [5]. В свое время позитивизм был радикальным шагом, свежим взглядом, этапом прогресса. Но позитивизм, как и теософия, и оккультизм, затвердел в китайскую стену догматов, ограничивая рост нового знания и нового восприятия. «Tertium Organum» пробивается через эту стену и открывает путь к «новому» — так Успенский называл невидимое.

«Tertium Organum» не только развивал идеи Хинтона и других о четвертом измерении. Целью Успенского было убедить нас, что есть веские доказательства существования «невидимостей», которые наука считает несуществующими. В сущности он утверждает, что они даже *более* реальны, чем материальная реальность, которая, по утверждению науки, их объясняет. Со времен Уильяма Блейка, который очистил двери восприятия и увидел мир в песчинке, поэты так или иначе приходили к той же мысли — как романтики прошлого, так и символисты поколения Успенского. Успенский только подкрепил их аргументы философией.

При этом Успенский выделил себе место в анналах высшей математики и последующих обсуждениях гиперпространства. На самом деле еще одна область, где регулярно появляется имя Успенского (помимо книг о Гурджиеве и Четвертом пути), — это популярные научные работы о других измерениях. Иногда доходит до смешного: например, в «Гиперпро-

странстве» физик Мичио Каку отмечает глубокий интерес Успенского к многомерному пространству и влияние, которое его идеи оказали на таких писателей, как Федор Достоевский [6]. Учитывая, что Достоевский умер в 1881 году, когда Успенскому было всего три года, влияние последнего должно было быть действительно очень велико, чтобы проявиться задолго до того, как он написал свои книги.

Однако даже без подобных ошибок ограничивать Успенского нишей философа гиперпространства значит игнорировать половину, а то и больше, его высказываний. В «*Tertium Organum*» Успенского привлекает идея чудесного, чувство, что существует целый *иной* мир, в котором мы действуем, но не осознаем его. Успенский пользуется геометрическими аналогиями, потому что они помогают логически прийти к озарениям, которые *превосходят* логику — или, по крайней мере, превосходят искусственные ограничения, поставленные позитивизмом. После того, как мы преодолеваем эти пределы, невидимое четвертое измерение внезапно оказывается повсюду.

В природе, например: «Перемена времен года: первый снег, начало весны, дождливые и теплые летние дни, запах осени... На некоторых мистически действует гроза, на других восход солнца, третьих точно гипнотизирует и втягивает в себя море, четвертых поглощает, заполняет и подчиняет себе лес, пятым бесконечно много говорят и притягивают к себе скалы, шестые подчинены огню», — так Успенский воспринимает чувства, мысли и настроения «таинственного существа» [7].

В сексе тоже: «Голос секса также содержит значительную часть этого мистического чувства природы. Чувство секса помещает человека в самые тесные отношения с природой. Чувство женщины мужчиной и наоборот часто сравнивают с чувством природы. И действительно, это *одно и то же чувство*, которое вызывает лес, степь, море, горы, только в данном случае оно ярче; оно пробуждает больше внутренних голосов, касается больше внутренних струн» [8].

Любовь тоже обитает в невидимом мире. Это «космический феномен, в котором люди, человечество — всего лишь случайность» [9]. Любовь — это творческая сила, которая открывает в мужчинах и женщинах те стороны, о которых они не знали. Люди, которые «бегут от любви, бегут ради того, чтобы сохранить свои маски». Самая важная часть любви — «*того чего нет*, что полностью не существует в обыденной повседневной материалистичной точке зрения» [10].

Повседневные вещи, «обыденное», на самом деле порталы, которые открываются в четвертое измерение, невидимый мир значений:

Мачта корабля дальнего плавания, виселица, крест в степи на перекрестке дорог... могут быть сделаны из одинакового дерева. Но в действительности это **разные** предметы из разного материала... Это только тени реальных вещей... Тени матроса, палача и подвижника могут быть совершенно одина-

ковы... Но это разные люди и разные предметы... Поэт понимает... разницу камня из стены церкви и из стены тюрьмы... Он слышит голос безмолвия. Понимает психологическое различие молчания. Понимает, что молчание может быть **разное** [11].

Такое поэтическое понимание вещей нужно развивать, говорит Успенский, потому что только благодаря ему мы можем войти в контакт с реальным миром. Средство для этого — искусство, потому что все искусство занимается воссозданием «различий», которые позитивистская мысль, сосредоточенная исключительно на измеримом, отрицает. «На нынешнем этапе развития у нас нет других средств восприятия мира причин, столь же могущественного, как тот, который предлагает искусство» [12]. Вторя поэту Артуру Рембо, Успенский говорит, что художник должен стать «прорицателем, он должен видеть то, чего не видят другие» [13]. Он также должен быть магом и заставить других видеть то, на что иначе они не обращают внимания.

Художник помогает увидеть различия между вещами, которые ускользают от измерительных устройств науки. Он напоминает, что у нас есть внутренние средства измерения вещей — эмоции. Эмоции, как утверждает Успенский, — это «витражные стекла души». А самая сильная эмоция — стремление к неизвестному. В определенном смысле всю последующую работу Успенского по развитию сознания можно рассматривать как попытку развить и обуздать энергию эмоций. Определенные знания, как он будет говорить позднее, нельзя получить, не достигнув определенного эмоционального состояния.

Одно из средств укрощения силы эмоций — мораль, которая на самом деле является формой эстетики. С помощью морали мы организуем свои эмоции и видим, как они на самом деле связаны с нашей жизнью; мы культивируем безличностные, объективные эмоции, которые могут увеличить познания о реальности вещей, и мы ограничиваем рост исключительно личных, субъективных эмоций, которые показывают только искаженный взгляд на мир. Мораль может также помочь связать наши мысли с поступками, действия со словами. Посредством морали, которая подпитывается осознанием невидимого мира, мы можем объединить свою жизнь и больше никогда, думая одно, не делать другое, больше не называть «цивилизованным» общество или нацию, которое только на словах поклоняется любви, миру и толерантности, но посвящает энергию и инвестиции войне.

Я выделяю эти аспекты «Tertium Organum», потому что очень легко забыть, что, даже несмотря на свое увлечение высшей математикой, Успенский остается поэтом и романтиком. Его замечания о природе, сексе и любви, комментарии об искусстве и поэзии легко мог бы сделать Иван Осokin. И хотя Успенский считал, что получил мало по-настоящему важных результатов в ходе своих экспериментов с веселящим газом, взгляды

в высшее сознание и короткие путешествия в неизвестное явно наделили его внутренним компасом и сильным чувством направления. Высшее сознание, четвертое измерение, неизвестное — вот аспекты реальности, которые стали доступны новому типу личности, который Успенский, пользуясь терминологией своего времени, считал сверхчеловеком. Именно к состоянию сверхчеловека он постепенно приближался.

Он был не единственным. В дополнение к Уильяму Джеймсу, Чарльзу Х. Хинтону и разнообразным теософским авторам, таким как мадам Блаватская, Анни Безант, Ч. В. Лидбитер, Дж. Р. С. Мид и Йохан ван Манен (а также менее известные русские мыслители — М. В. Лодыженский и друг Успенского А. Л. Волынский), Успенский опирался на двух англоязычных авторов, которые также рассматривали возможность эволюции человеческого сознания. В книге Эдварда Карпентера «От Адамова пика до Элефанты» описывается его опыт «сознания без мысли» во время путешествия в Индию и на Цейлон. Карпентер считал, что эта новая форма сознания постепенно распространится по планете. В объемном труде «Космическое сознание» Р. М. Бёкк, ученик Карпентера и последователь поэта Уолта Уитмена, развивал идею Карпентера и разметил рост космического сознания от первых слепых ощущений примитивных форм жизни до мистического экстаза святых.

Однако Успенский придал идее космического сознания неожиданный поворот. Он соглашается с Карпентером и Бёкком в том, что история свидетельствует о форме сознания, выходящей за пределы рационального и логичного разума. Но ее появление в будущем, как он утверждает, *не является* неизбежным. Напротив, космическое или высшее сознание может быть только результатом дисциплины и труда. Это продукт культуры, доступный немногим, а не всей расе. Точка зрения Успенского явно не демократична. Он полагает, что сознание того рода, которое он ощутил во время своих экспериментов или в короткое мгновение на Мраморном море, нужно заслужить.



## Глава 5

---

# «Бродячая собака»

Благодаря свободному владению английским — по крайней мере, письменным — Успенский стал для русских читателей главным источником информации о достижениях оккультизма и теософии в Англии и Америке. Он не только переводил Хинтона и Карпентера, но и написал введения к их книгам, а благодаря «*Tertium Organum*» многие русские познакомились с работами, которые иначе были бы для них недоступны. Книга создала Успенскому репутацию, и с 1911 года, когда ее опубликовали, до 1917 года, когда революция положила конец мистической литературе и обществам, Успенский был одним из самых широко читаемых популяризаторов оккультной и эзотерической мысли — образ, сильно отличающийся от того, что он будет демонстрировать много лет спустя своим ученикам в Лондоне. После «*Tertium Organum*» Успенский опубликовал несколько коротких книг по разнообразным оккультным и мистическим темам: йога, Таро, сверхчеловек, внутренний круг (эзотерицизм) — бо«льшая часть которых годы спустя вошла в «Новую модель Вселенной». Его статьи появлялись в нескольких теософских журналах, лекции собирали сотни, а иногда и тысячи слушателей, за его мнением обращались по разнообразным мистическим вопросам.

Одной из групп, на которую «*Tertium Organum*» оказал большое влияние, стали художники русского авангарда. Интерес к мистическим и оккультным идеям широко распространялся среди художников и поэтов со времен символизма. Но если ранние поколения устраивали смутные намеки и аллюзии к неизвестному, то современники Успенского желали более прямого подхода. Его первая книга о четвертом измерении, «Четвертое измерение. Опыт исследования области неизмеримого» (1909), соответствовала взглядам этого нового поколения. Если символисты прямо отрицали науку, то кубофутуристы (неуклюжий сплав французского кубизма и итальянского футуризма) считали, что ее открытия можно сочетать с открытиями искусства и мистицизма. Они соглашались с тем, что наука неполна, но не видели причин ее игнорировать. Математический подход Успенского к запредельному оказался привлекательным для поколения, которое обнаруживало освобождающие силы абстрактного искусства. Его заявление, что «искусство — это могущественный инструмент познания номинального мира» [1] и «искусство в его наивысшем воплощении —

это путь к космическому сознанию» [2], нравились поколению художников, стремившихся к прямому контакту с реальностью.

Как минимум два художника прямо цитировали Успенского в своих манифестах. В «Новых путях слова» поэт Алексей Кручёных ссылался на идеи Успенского о неадекватности повседневного языка и говорил о необходимости нового «языка будущего». Подобно цюрихским дадаистам, поэты русского авангарда экспериментировали с языком, пытались освободиться от логики и рациональности, чтобы создать своего рода «чистую» речь опыта, словарь «чуши», который превзойдет значение и будет касаться реальности напрямую, — идея, очень близкая философии дзен [3]. Самым известным поэтом, ассоциирующимся с *заумью*, как стали называть этот новый язык, был Велимир Хлебников. Подобно Успенскому, Хлебников был одержим тайной времени и написал несколько теоретических работ, посвященных циклической природе истории. Михаил Матюшин, петербургский музыкант, композитор и живописец, написал статью для журнала по искусству «Союз молодежи», в которой хвалил работу Успенского. Матюшин говорит о «царственном моменте перехода нашего сознания в новую фазу измерения» и, вторя Успенскому, объявляет, что «художники всегда были рыцарями, поэтами и пророками пространства во все времена».

Матюшин первым связал идеи Успенского о четвертом измерении с аналогичными концепциями, изображавшимися на холстах школы кубистов во Франции: он приводит фрагменты из «Tertium Organum» в своем переводе ключевого текста кубистов, «Кубизм» Глеза и Метцингера. Но, вероятно, самый известный художник, подверженный влиянию работ Успенского, — это Казимир Малевич [4]. Как и Успенский, Малевич стремился на штурм ворот неизвестного, и его супрематические холсты, изображающие странные безличные фигуры, подобны ландшафтам высшего измерения, увиденным через трещины нашего трехмерного мира. Есть причины подозревать, что Малевич, как и другие художники, посещал несколько лекций, которые Успенский давал в Санкт-Петербурге и Москве с 1912 по 1915 год. Успенский был весьма популярен, и темы его лекций соответствовали веяниям времени. В феврале и марте 1915 года, после путешествия в Индию — о котором мы вскоре поговорим подробнее — Успенский читал серию лекций в Санкт-Петербурге (тогда переименованном в Петроград). В то же время проводилась знаковая выставка русского футуризма, «Трамвай Б», на которой представлялись работы Малевича и конструктивиста Татлина. В конце года Малевич проводил последнюю футуристическую выставку «0,10», и из тридцати девяти представленных полотен пять изображали четвертое измерение.

Но авангардисты и Успенский не всегда сходились во мнениях. Малевич, поддерживавший революцию, выражал критику связей Успенского с Теософическим обществом, которое считалось реакционной группой,

связанной с высшим обществом. Успенского, конечно, не интересовала радикальная политика. И, несмотря на всю его веру в способность искусства изображать невидимое, во втором издании «Четвертого измерения» Успенский ворчал о «художниках-футуристах», которые пытаются писать четвертое измерение, что с его точки зрения было все равно что «пытаться создать скульптуру рассвета». Он также связывал их с разнообразными «окультистами» и «спиритуалистами», которые искали физического воплощения астрального плана в качестве доказательства их веры [5].

После знакомства с литературным критиком А. Л. Волынским Успенский стал постоянным посетителем художественного *полусвета*, богемного круга Санкт-Петербурга. Работы Волынского знакомили широкую читающую публику с новыми направлениями искусства и литературы, и благодаря ему Успенский оказался представлен миру поэтов, художников, музыкантов и *позёров*. В отличие от других богемных кругов, здесь полуночные гуляния сочетались со страстными поисками Абсолюта. Это было место собраний бердяевских богоискателей, которые не уходили из кафе, потому что так и не решили, существует ли Бог. Центральным местом собраний для их метафизических полуночных застолий было грязноватое, плохо пахнущее и плохо освещенное заведение под названием «Бродячая собака».

Открывшаяся в 1912 году, «Бродячая собака» была местом, где, по словам Успенского, «невозможно было повести себя не так». По сути, она стала для него настоящей академией. Более чем вероятно, что именно в этом злачном заведении, располагавшемся в подвале дома на Итальянской улице и Михайловской площади, недалеко от Невского проспекта и собственной комнаты Успенского, идеи «*Tertium Organum*» обсуждало больше вдохновенных будущих мистиков, чем его прочитало. Здесь, в окружении разнообразных эксцентричных персонажей, Успенский говорил о сверхчеловеке, космическом сознании, времени и, конечно, четвертом измерении. Успенского стали настолько тесно ассоциировать с этой вероятной иной реальностью, что постоянные посетители «Бродячей собаки» прозвали его «Успенский-четвертое-измерение» — подходящее прозвище, выражающее теплую фамильярность. Годы, проведенные Успенским в «Бродячей собаке», были, возможно, самыми светлыми в его жизни.

Репутация Успенского как авторитета по четвертому измерению вызывала к нему большое уважение. Однажды даже такая крупная фигура, как Лев Толстой, терпеливо слушал, как за обедом Успенский чертил на салфетках серию многомерных диаграмм. Толстой отвечал ему замечаниями о своем опыте вольного масонства и о том, как они отражались в его романах. Но артистические круги, собиравшиеся в «Бродячей собаке», были намного радикальнее. Это был своего рода частный клуб «художников будущего». Гости подписывали книгу, переплетенную свиной кожей. Как и во многих модных заведениях, здесь был свой круг, которому не нужно

было платить за вход, а остальным приходилось раскошелиться, чтобы оказаться в центре событий. Частыми посетителями этого темного под-земелья были некоторые известные личности. Например, балерина Тамара Карасавина танцевала здесь на огромном зеркале. Стуча по большому барабану, одетый в костюм гладиатора поэт Владимир Маяковский объявлял о прибытии своих друзей. Другой поэт, Василиск Гнедов, читал стихи, взмахивая руками. Душный воздух, пронизанный запахом табака, наполнялся *заумью*, бессмысленным языком, под аккомпанемент работ композиторов Ильи Саца и Артура Лори. «Мы начали воображать, что весь мир сосредоточен в „Бродячей собаке“», — сказала поэтесса Анна Ахматова. «Здесь выступали мертвые», — заметил другой поэт, Александр Блок. Андрей Белый, Валерий Брюсов — в то время любой, кто имел какое-то имя, входил в эти двери и спускался в глубины подвала.

Одним из искателей чудесного, решившимся спуститься сюда, была молодая классическая пианистка Анна Бутковская (позднее Хьюит). Подобно многим бродячим собакам, она интересовалась теософией; более того, она действительно читала «Tertium Organum». С девяти лет питавшая голод к мистическому, Анна наткнулась в библиотеке на книгу Успенского. Наконец нашелся кто-то, кто разделял ее страсть и действительно прошел хоть часть пути в запредельное. Следующая ее встреча с Успенским была более личной. На собрании Теософического общества Анна, которой было едва за двадцать, вздрогнула, услышав, как мадам Каменская, одна из влиятельных членов общества, спросила у мистера Успенского о его мнении по какому-то мистическому вопросу. Она увидела, как встает коренастый внушительный мужчина среднего роста. Его коротко стриженные белые волосы и цвет кожи почти как у альбиноса подчеркивало пенсне, которое позднее стало символом бесстрастного изучения. Все головы повернулись к выдающемуся писателю и журналисту. Однако Успенский отказался комментировать, объяснив это тем, что сам находится в процессе определения своих взглядов по этому вопросу, и высказывать их сейчас было бы преждевременно. Анна воспользовалась этой возможностью и подошла к Успенскому после встречи. Она начала разговор, который продолжался четыре года [6].

Успенский никогда не мог устоять перед привлекательными и умными женщинами. Когда Анна спросила его о причине отказа отвечать, он признался, что настоящая причина заключается в том, что он планирует покинуть общество. Он даже сказал ей, что ему предлагали вступить во внутренний круг, но он отказался.

«Обычные члены общества — овцы, — объяснил он. — Но во внутреннем круге, наверное, еще большие овцы».

«Вы говорите так, словно жалеете, что среди них нет волков», — ответила она.

«Именно! По крайней мере, волки демонстрируют силу. Овцы — это просто овцы, и бессмысленно им пытаться приблизиться к образу Бога и развивать тайные высшие способности» [7].

Когда Анна спросила, не планирует ли он написать новую книгу, Успенский улыбнулся и сказал, что для ответа на ее вопрос может потребоваться время. Не хочет ли она встретиться с ним за чашкой кофе на следующий день? Знает ли она кафе «Филиппов»?

Расположенное на углу улицы Троицкого и Невского проспекта, недалеко от квартиры Успенского, кафе «Филиппов» было еще одним центральным местом встречи петербургской интеллигенции. Когда Анна на следующий день пришла, Успенский уже был там и размышлял над пустой чашкой кофе. Давно известный как постоянный клиент, Успенский придумал собственный метод заказа напитков: официант должен был приносить ему новую чашку кофе, как только предыдущая пустела, а определенный жест рукой говорил о том, что ему достаточно. «Лучше отказаться единожды, чем заказывать несколько раз», — исключительно логично рассуждал Успенский. Как только Анна села, официант поставил перед ней стакан крепкого кофе «по-варшавски». Когда она его допила, он принес еще.

Анна снова спросила, планирует ли Успенский новую книгу, и он рассказал, что перед написанием «*Tertium Organum*» начал другую работу, но вскоре почувствовал, что на ее завершение уйдет не меньше двадцати лет. Ее рабочее название, «Мудрость богов» (позднее «Новая модель Вселенной»), предполагало, что как бы Успенский не был разочарован Теософическим обществом, теософия — мудрость богов как таковая — все еще занимала его мысли.

Естественно, Анна сочла его приблизительный расчет времени в двадцать лет несколько преждевременным. И даже если понадобится столько времени, разве не стоит все равно написать эту книгу, спросила она.

«То, что я хотел сказать в этой книге, — объяснил Успенский, — настолько сложно и неуловимо, что я не чувствовал себя способным на это. А я должен всегда чувствовать себя способным на то, за что берусь». Он признался, что осознание своей некомпетентности ранит его гордость, и что он «знает, что [ему] недостает чего-то необходимого, чтобы это сделать» [8]. Однако некоторые идеи он высказал в других работах, которые тогда готовил к публикации.

После того утра они встречались в «Филиппове» ежедневно, в полдень, и разговоры всегда крутились вокруг одной и той же темы: как найти учителя, который приведет их к «чуду». «Чудом» называлось *сверхсознание*, термин, популяризованный писателем М. В. Лодыженским. Все, о чем они говорили: четвертое измерение, Вагнер, Святой Грааль, Вивекананда, алхимия, йога, Ницше, магия, самадхи и тому подобное, — снова и снова приводило к необходимости трансформации сознания. А для Успенского это означало найти кого-то, кто знал, как это делать.

Из воспоминаний Анны очевидно, что они с Успенским стали любовниками. Она говорит, что Успенский нашел в ней спутника в поиске. Он видел в ней «движущую силу», которой тоже обладал, и это открытие заставило его чувствовать себя «восемнадцатилетним», хотя ему было за тридцать. Эти «мальчишеские» качества проявлялись и другими способами, больше всего в его энтузиазме по поводу неизвестного. «Иногда человек может шагнуть с края пропасти и перепрыгнуть на другую ее сторону, не упав», — говорил он ей. Она соглашалась. «Мы найдем чудо, я это знаю, — сказал он, затем улыбнулся и добавил: — Я никогда не чувствую, я *знаю*».

Успенский просил Анну играть для него на пианино. Ее игру он находил вдохновляющей, полной творческой силы. Он сравнивал музыку со своего рода языком, как «знаки в небесах». Он говорил, что «повсюду есть знаки, но мы не умеем их читать». Учитывая, что Успенский несколько раз признавался в отсутствии любви к музыке, возможно, это были своего рода метафизические комплименты: либо так, либо Анна в своем рассказе приукрашивает. Успенский сравнивал их голод по чуду с русской сказкой о жар-птице, которую авангардный композитор Игорь Стравинский недавно использовал в качестве темы для балета. Неуловимая, магическая жар-птица роняет перо из огненного хвоста и обжигает руки преследователя. Хотя ее невозможно поймать, но остаются доказательства ее существования. Те, кто следуют за жар-птицей, как говорил Успенский, могут разочароваться в своих надеждах, но сами поиски приносят радость, покой и смелость продолжать путь.

Анна видела в лице Успенского «сияющую уверенность, полную юноного счастья». Она замечает, что никто больше этого не наблюдал. В таком счастливом настроении его вдохновение и фантазия раскрывались в полную силу, и позднее, когда они встречались в Берлине, Лондоне или Париже, она видела, что эта юная невинность затвердела и превратилась в непроницаемый внешний панцирь. Почему, спрашивает она, Успенский избавился от «нежного поэтического сияния своих петербургских дней»? Может ли быть так, что он счел эту свою сторону слабостью?

Однако в те времена, в период их романа, чаще проявлялся Петр, чем Демьян, — исключительно уверенный в себе и, возможно, слегка высокомерный Петр. «Не думаю, что среди твоих друзей есть кто-нибудь настолько же *интересный*, как я», — заявлял он. И Анне приходилось соглашаться, хотя она уже немало видела в жизни, побывала замужем и пережила несколько романов. Успенский притворился шокированным этими откровениями, но они не мешали им гулять по улицам до рассвета, а затем, одним или в компании Воынского и других искателей из «Бродячей собаки», останавливаться у Николаевского вокзала для последней чашки кофе или стакана чая.

Обычно Успенский уходил домой последним, проводив Анну до дверей ее квартиры на Николаевской улице. Затем, после нескольких часов

сна, все начиналось сначала. Однажды Успенский пригласил Анну в свою комнату. Поскольку она приглашала его послушать ее игру, он хотел вернуть любезность и показать ей свои книги. Понимая, что его интересует не только любовь к интеллектуальной литературе, Анна все же согласилась. Она просмотрела книги и выбрала три, которые хотела взять домой: «Космическое сознание» Бека, «Четвертое измерение» Хинтона и работу по йоге Вивекананды. Успенский сказал ей, что, если бы книги Вивекананды перевести на русский, они наверняка бы хорошо разошлись. Анна приняла его замечание близко к сердцу и связалась со своей подругой, Ниной Сувориной, племянницей издателя Алексея Суворина, который издавал книгу Успенского по Таро («Символы Таро: философия оккультизма в рисунках и числах») и его же короткую работу по йоге («Искания новой жизни. Что такое йога»), которые позднее вошли в «Новую модель Вселенной». Суворин сочетал блестящие таланты редактора с неуравновешенным характером. Однако у него было хорошее чутье на то, что будет продаваться, а что нет, и его издания работ Вивекананды, с яркими фиолетовыми обложками и желтыми буквами, стали очень популярны.

По словам Анны, сам Успенский работал над двумя книгами: своим романом, который тогда назывался «Кинемадрама не для кинематографа», и сборником рассказов «Разговоры с дьяволом: оккультные истории». Оригинальное название «Ивана Осокина» демонстрирует сторону Успенского, малоизвестную его поздним читателям: чувство юмора. Оно еще больше проявляется в его оккультных историях, одна из которых, «Изобретатель», включает очень смешное и остроумное описание черной мессы в Париже конца века, который Успенский хорошо знал. Это тоже сторона Успенского, с которой редко удастся познакомиться.

К этому времени стремление Успенского найти учителя достигло критической точки. Друг, эмигрировавший в Австралию, предложил поехать вместе с ним, но Успенский знал, что не найдет там того, что ищет. Возможно, он нашел бы путь у йогов в Индии, и, несомненно, его разговоры с Анной касались этой его одержимости. Наконец она предложила сделать то, на что он уже решил.

Успенский получил комиссию от трех русских газет на поездку в Индию и записки о путешествии. Он был убежден, что большая часть ценных знаний до сих пор остается на Востоке; наверняка там их было больше, чем в Европе. Он признавал, что на эту точку зрения отчасти повлиял элемент романтизма; в его мыслях Индия и чудо совпадали [9]. Он не сомневался, что школы существуют, но в какой форме или виде — в этом он не был уверен. Иногда он думал, что сможет связаться со школами на *другом плане*, как-то изменив свое сознание. Но если так, то ему никуда не надо было ехать. В других ситуациях он верил рассказам о разнообразных школах йоги, предполагавшим, что где-то до сих пор сохраняются

остатки древней традиции; можно было отыскать неразорванную эзотерическую цепочку наследия, которая уходила далеко к строителям Нотр-Дама, пирамид, Сфинкса. Пространство и время исчезнут при встрече с источником мудрости. Чудесное откроется ему.

На практике Успенскому пришлось разочароваться в этих романтических представлениях. Однако путешествие прошло не совсем даром. Во-первых, в каждом порту, в котором Успенский оказывался, он наблюдал странные явления. На каждом этапе пути: в Лондоне, Париже, Генуе, Каире, Коломбо, Галле, Мадрасе, Бенаресе и Калькутте — он встречался с людьми, которые разделяли его интерес к идеям, побудившим его отправиться в дорогу. Они как будто говорили на том же языке, и Успенский немедленно ощущал связь между собой и этими новыми знакомыми. В «*Tertium Organum*» он писал о «новой расе», для которой космическое сознание является отдаленной возможностью. Теперь, в тысячах миль от дома, он встречался с людьми, которые составляли если не расу, то необычное сообщество, новую категорию человека, мотивирующуюся ценностями, сильно отличающимися от обычных материалистических целей и задач. В себе он видел некое связующее звено, соединяющее их отдельные цели в неформальное единство. Некоторые из этих контактов, такие как знакомства с А. Р. Оражем и Дж. Р. С. Мидом, позднее окажутся бесценными.

В путешествии ему довелось испытать немало глубоких переживаний. Стоя перед Собором Парижской Богоматери, Успенский был убежден, что параллельно с известной историей человечества, которую он называл «историей преступлений», шла другая история, написанная эзотерическими учителями, которые построили собор. Этим деянием они покорили время, передав в массивном камне здания сокровенные знания прошлого. На Цейлоне, стоя перед статуей Будды с сапфировыми глазами, Успенский осознал, что находится в присутствии чуда. Лицо Будды было живым, и глаза *видели его* — то есть видели все, что крылось в глубинах его души. Под взглядом Будды все мелкое, тревожное и ненужное поднималось в нем на поверхность. Он *понимал* его так, как не могло ни одно человеческое сознание, и тем самым рассеивал мрак, который лежал, словно ил, на дне его души. Успенский, слишком хорошо осознававший «деревянный мир», слишком склонный к пассивности и вялости [10], теперь оказался полон таинственного, «чудесного» покоя. А сидя однажды лунной ночью перед Тадж-Махалом, он почувствовал, что повседневная реальность, в которой мы живем, как-то растворилась, и ее место заняла другая, которую мы редко видим, но которая, тем не менее, более реальна и правдива, чем мир, принимаемый нами как должное.

У Успенского нередко случалось впечатление «чудесного», но все это было не то, ради чего он отправился на поиски. Школы, учитель, определенный путь к сверхсознанию — это от него ускользало. Он знакомился



с интересными людьми, такими как Шри Ауробиндо, который тогда начал обретать славу в Пондишерри. Были ученики Рамакришны, приятные люди, которые ему нравились, но их пути поклонения и несколько сентиментальная мораль ничего ему не давали. Были йоги, которые знали, как вызывать у себя необычные состояния сознания, но почему-то не могли передать свои знания другим. Были также многие «чудеса» откровенно сомнительного рода: факиры, которые спокойно лежали на гвоздях, святые люди, которым являлись видения, и шарлатаны всех пород, которые пользовались доверчивостью европейских путешественников, полных легенд о волшебном Востоке. Из всего, что ему попадалось, только рассказы об определенном типе школы, с которой ему не удалось связаться, были хоть сколько-то похожи на возможность достижения цели. Но даже у этих школ имелись недостатки. Для того чтобы в них поступить, нужно было отказаться *от всего сразу*, что значило, что Успенскому пришлось бы забыть о своем прошлом, о работе, о жизни и оставаться в Индии неопределенное время. Этого он сделать не мог. То, что он слышал об этих школах, производило впечатление, но в конце концов он чувствовал, что «у человека есть право до определенного уровня знать, куда он идет», — чувство, которое не раз будет проявляться и причинит ему немало беспокойства.

«Достигали ли йоги каких-нибудь реальных результатов? — спрашивает Лесли Уайт, протагонист «Доброго черта», одной из оккультных историй Успенского, у индийского святого человека. — Или все это лишь сказки путешественников об Индии?»

Я хочу знать, действительны ли все те чудеса, о которых я читал в книгах про йогу, — провидение, второе видение, чтение мыслей, передача мыслей, знание будущего и тому подобное. Я часто просыпаюсь по ночам и думаю, может ли быть правдой, что где-то есть люди, которые добились чего-то чудесного? Я знаю, что все отдал бы, чтобы стать таким человеком. Но я должен быть уверен, что он добьется успеха. Ты должен меня понять. Я больше не могу верить словам. Слишком часто словами нас обманывали, и я не могу больше обманывать себя, и не хочу. Скажи же мне, есть ли люди, которые чего-то добились, и чего они добились, и могу ли я получить то же, и как? [11]

Успенский не нашел то, что искал. Покидая Индию, в третий раз посещая Коломбо, он гадал, какой станет третья фаза его поисков. Встретит ли он снова человека, который предлагал познакомить его с некоторыми йогическими практиками? Вернется ли он в Россию? Или ему придется отправиться еще дальше — в Бирму, Сиам, Японию и, может быть, Америку? Но когда его корабль пришел в порт, все эти мысли были забыты. Мир очевидных нелепиц и историй преступлений решил вмешаться в его планы. На дворе был август 1914 года, и в мире, как обнаружил Успенский, шла война.

## Глава 6

---

# Несравненный господин Г.

Успенский вернулся в Россию в ноябре 1914 года, разочарованный бесплодными поисками школы. Будучи международным журналистом, он не мог не знать, что приближается война. Однако подобно многим другим, он пытался избежать реальности. Теперь это было невозможно. «Поднялась вся грязь со дна жизни» [1], — говорил он, когда безмятежность, которую он обрел под сапфировым взглядом Будды, сменилась дикой риторикой войны. Культура варварства восторжествовала, и хрупкие нити между ним и носителями нового сознания, которые он собрал по всему земному шару, разорвались. Все договоренности отменились, повсюду воцарился хаос.

«Зачем я вообще ездил в Индию? — спросил он однажды Анну, когда они снова стали ежедневно встречаться в „Филиппове“. — Я не нашел там ничего, о чем не читал бы в книгах или не слышал в сплетнях... Ничего нового, ничего» [2]. Наверное, его разочарование было велико, и среди путаницы и безумия войны оно казалось вдвойне болезненным. Вот они, антиценности варварства, пропагандируемые газетами и политиками, питающие голые страсти ненависти, национализма и жестокости. А единственный путь из истории преступлений, единственный путь побега от безумия казался ему закрытым. Существовал ли он вообще? Успенский должен был задаваться этим вопросом. Может, таковой путь был иллюзией, как и все прочее, встречающееся ему в жизни? Может, он просто поверил в ложь, как все остальные? В другую ложь, конечно, но все равно — в истории, мифы, фантазии?

Обратиться к цинизму было несложно. Но слишком велика была убежденность Успенского в том, что единственный путь из «лабиринта противоречий, в котором мы живем», — это некая «совершенно новая дорога, не похожая ни на что известное или использовавшееся ранее». «За тонкой пленкой ложной реальности» находилась «другая реальность» — там было, как они с Анной говорили друг другу снова и снова, чудесное [3].

По крайней мере, неудача с поисками в Индии позволила ему точнее определиться со своими требованиями. Все, что было в его мыслях о школах «фантастического», теперь рассеялось. Идеи о «нефизическом

контакте» — возможность связаться со школами древности или на некоем другом плане — покинули его. Он отрицал все подобные мечты и фантазии как признаки слабости и полагал их «главными препятствиями на возможном пути к чудесному» [4]. Если он и собирался найти школу, она должна была быть реальной, материальной, надежной, и ее учителя, какими бы познаниями они не обладали, должны быть из плоти и крови, как учителя любой обычной школы.

На практике обыденность обстановки, в которой Успенский со временем найдет школу, окажется одной из самых странных и необычных ее черт.

Однако ему не удалось полностью избежать нормальной человеческой реакции на разбитые мечты. Поздней зимой 1915 года, среди «катастрофических условий жизни, в которых нам приходилось жить и работать» [5], Успенский читал публичные лекции о своих путешествиях в Александровском зале петербургской Городской думы. Они были весьма популярны: на каждую лекцию приходило более тысячи человек, среди которых встречались и представители русского авангарда. Разговоры служили двум целям: отделить Успенского от все еще распространенной идеи, что ключ к решению духовной дилеммы Запада можно найти, отправившись на Восток, и разорвать его связи с Теософическим обществом. Судя по всем свидетельствам, он выполнил эти задачи. В отзыве на лекции Успенского ведущий русский теософский журнал сообщал:

Три лекции П. Д. Успенского собрали большую аудиторию, но вызвали замешательство. Лектор обещал говорить об Индии. На самом деле он говорил только о своем разочаровании в поисках чудесного и о своем понимании оккультизма в сравнении с тем, как его понимает теософия и Теософическое общество. Он возмущенно говорил, что теософы выбирают этику и философию вместо оккультизма для приложения своих усилий, и что этика и философия не нужны обществу и никак не связаны с оккультизмом... Он также обвинил Теософическое общество в высокомерии и сектантстве [6].

Успенский ощущал неудовлетворенность Индией не только из-за безуспешного поиска школ. Охотясь за материалами для своей колонки в газете, он попытался проверить доказательства одного из известных, хотя и не таких назидательных чудес, которыми славился мистический Восток. Но и здесь он пришел в тупик. Например, он так и не смог найти ни следа легендарного фокуса с веревкой, когда факир кидает в воздух веревку, по которой взбирается мальчик. Ему не только не удалось найти факира, знающего этот фокус, но и хотя бы одного путешественника, который наблюдал бы его лично: все, кого он расспрашивал, слышали о нем от других. Даже рассказы образованных индусов, с которыми он разговаривал, не вызывали доверия: не потому, что они хотели обмануть его, но потому,

что не хотели разочаровать еще одного европейца, ищущего индийскую магию. То, что явление, не основанное на факте, вызывает веру у множества разумных в остальном людей, подсказало Успенскому, что люди склонны принимать ложь, потому что делать это проще, чем искать истину. Однако Успенский постоянно подвергал себя кислотной бане эксперимента и наблюдения. Его решение искать учителя, который сможет привести его к чуду, опиралось, по его же признанию, на желание избежать того, что он считал «любительскими попытками работы над собой» [7]. Как объявлял Лесли Уайт: «Я не могу больше себя обманывать и не хочу». Хотя Успенский верил в чудо, но жаждал фактов.

Неудивительно, что в Москве в декабре-январе 1914–1915 годов Успенский с интересом прочитал любопытное объявление в газете. Занимаясь редакторской работой для журнала, на который он работал во время поездки в Индию, Успенский заметил объявление о балете под названием «Битва магов». Уже одно название должно было привлечь его внимание. Еще больше интриговало то, что автором назывался «некий индус», и представление обещало изображать полную картину того, что Успенский не смог найти за время своего путешествия. Действие происходило в Индии и включало чудеса факиров, священные танцы и многое другое. Только что обнаруживший «правду» об Индии, Успенский скептически отнесся к обещаниям объявления. Но ирония совпадения его, должно быть, позабавила. Признавая, что индусские балеты в Москве довольно редки, он решил включить объявление в следующий выпуск газеты, добавив примечание, что балет продемонстрирует все то, что в Индии не найти, хотя именно за этим путешественники туда и отправляются.

Петербургские лекции Успенского оказались достаточно успешны, чтобы он смог повторить выступление в Москве. В Индии, как рассказывал он своей аудитории, чудесное ищут не там, где его следует искать. Известные пути бесполезны. Чудесное проходит мимо, и мы его не замечаем. Чудесное, появляясь среди обычного человечества, всегда носит маску, и лишь немногим удастся заглянуть под нее.

Возникает вопрос, не говорил ли Успенский о себе. Потому что, по воле судьбы, ему предстояла возможность применить теорию на практике.

Во время лекции в Москве к Успенскому подошли двое — музыкант Владимир Поул и скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров. Они рассказали ему об оккультной группе, к которой принадлежали и которую, как ни странно, возглавлял «некий индус» — на самом деле кавказский грек — отвечавший за сценарий балета «Битва магов», на объявление о котором Успенский наткнулся несколько месяцев назад.

Они говорили о работе, которой занималась группа, и о целях грека Г. Успенскому все это казалось тяжелым, спутанным и исключительно сомнительным материалом. Будучи известным журналистом, крайне

успешным лектором и автором популярной и влиятельной книги — второе издание которой вот-вот должно было выйти — Успенский все это уже слышал. Он тактично слушал, но, несомненно, искал вежливый способ уйти от разговора. К тому времени Успенскому хватало самогипноза, присущего всем подобным оккультным группам. Он с сожалением думал о том, что люди «изобретают чудеса для себя и изобретают именно то, что от них ожидается» [8].

Все это было сплавом «суеверий, самоубеждения и ошибок мышления», и Успенский, только что вернувшийся из долгого и безуспешного путешествия, не хотел в этом участвовать. Однако Меркуров настаивал, и более чем вероятно, что больше из желания избавиться от его уговоров, чем из реального интереса Успенский наконец сломался и согласился встретиться с таинственным господином Г.

Несомненно, это было самое судьбоносное решение в его жизни.

«Георгий Иванович Гурджиев родился... и на этом все претензии на точность прекращаются» [9]. Так Джеймс Уэбб начинает подробнейшую биографию человека, с которым предстояло встретиться Успенскому. Что становится кошмаром биографа, то оказывается благословением для того, кто хочет представить себя загадкой. Как и у многих гуру, мистических учителей и оккультных мастеров, прошлое Гурджиева окутано тайной. До 1912 или 1913 года все, что мы о нем знаем, исходит от него самого, и даже самые преданные последователи вынуждены были признать, что все, что рассказывал о себе Гурджиев, открыто множеству интерпретаций.

Наши источники материалов о ранних годах жизни Гурджиева — это его автобиография, «Встречи с замечательными людьми», незаконченная «Жизнь реальна только, когда „Я есть“», и ранняя попытка, которая должна быть известна, помимо прочего, как одно из самых странных изданий, когда-либо увидевших свет, — «Вестник грядущего добра».

Трудно собрать картину ранних лет Успенского, но трудность вызывает обычное воздействие времени и разрозненность материалов; трудолюбивый исследователь, вооружившись терпением и знанием русского, может перерывать московские и петербургские архивы периодики и, скорее всего, найдет немало интересных материалов о днях, когда Успенский работал журналистом. О Гурджиеве того же сказать нельзя. Он изобретал себя снова и снова столько раз, оставлял так много ложных следов и поощрял столько мифов и ошибочных представлений о том, кто он такой на самом деле, что для того, чтобы узнать истину о его прошлом, понадобится целая жизнь. И вполне вероятно, что все это предприятие заставит даже самого старательного исследователя гадать, не было ли это запланировано. Гурджиев — человек, которого трудно понять. Кажется, что нет пути, чтобы разобраться в нем, как можно разобраться с Успенским или другими мистическими фигурами золотого века западного оккультизма, такими как

мадам Блаватская и Алистер Кроули. Кроули и Блаватская любили создавать мифы о себе, но они оставались сказками и невероятными заявлениями, часто явно шуточными. Про Гурджиева такие мифы тоже есть, но добавляется нечто еще: ощущение, что он хотел и получал абсолютный контроль над своей индивидуальностью. Как он однажды рассказал впечатлительному ученику К. С. Ноту, «признак усовершенствованного человека... должен быть в том, что по отношению ко всему происходящему вне его он способен... играть в совершенстве роль, соответствующую данной ситуации; но в то же время никогда не сливаться и не соглашаться с ней». Гурджиев много и трудно работал над «усовершенствованием» себя, и нам остается только гадать, когда же именно началось разделение между его внутренним и внешним мирами, которое он считал таким важным. И если только мы не станем, как Уильям Патрик Паттерсон, принимать каждое слово Гурджиева как святую мудрость и видеть в нем посланника свыше со всеми религиозными ассоциациями, которые предполагает такая вера, то нам тоже остается спрашивать: почему? Почему Гурджиев так старательно заметал следы? Почему ему было так важно достичь состояния, в котором ничто из «внешнего» мира не касалось его внутри? И что это говорит нам о нем?

Однако история Гурджиева такова.

У нас есть три варианта года рождения Гурджиева: 1866, 1872 и 1877; это делает его на двенадцать, четыре или всего на один год старше Успенского. Поскольку Гурджиев самостоятельно уничтожил все свои личные бумаги и документы, в том числе свидетельство о рождении и паспорт накануне поездки в Америку в 1930 году, нет твердых доказательств того, что какая-то из этих дат точна. Часто предпочтение отдают 1877 году, так как эта дата стояла в паспорте Гурджиева. Однако свидетельства позволяют предположить, что Гурджиев мог подделать дату в паспорте, так что хотя официальное признание 1877 года придает ему вес, все равно нет гарантий, что дата точна. День его рождения, принятый биографами, — 28 декабря, хотя последователи Четвертого пути отмечают его 9 января, с поправкой на старый русский календарь.

Неясность года рождения Гурджиева делает не менее сомнительной его национальность. В зависимости от того, какой год мы принимаем, Гурджиев был либо турком, либо русским, потому что место его рождения на Кавказе либо называлось Гумру и находилось под властью Турции до 1877 года, либо Александрополь, с этого года территория России. Более понятна национальность его родителей: его отец был греком, а мать армянкой. В 1878 году, через год (или больше) после его рождения, семья Гурджиева переехала в соседний город Карс. В 1877 году его захватили русские, и бо́льшую часть турецкого населения перебили. Когда город стал принадлежать России, начался большой приток русских, а уцелевшие

турки уехали. Колин Уилсон подчеркивает, что Гурджиев вырос в многонациональном обществе, в обществе, которое вынужденно оказалось мультикультурным. Хотя юный Успенский пережил личные утраты, но он жил в мире, стабильном с этнической и культурной, если не политической, точки зрения. Гурджиев вырос в мире, где границ почти не было, как и западного чувства порядка. Непредсказуемость окружающей обстановки приучила его думать на ходу — урок, который много лет спустя он попытается преподать своим ученикам.

Отец Гурджиева был плотником, но настоящей его любовью были стихи и истории, и Гурджиев слушал, как отец по памяти читает один из эпосов прошлого. Он был сказителем, и Гурджиев поразился, когда прочитал в журнале, что археологи недавно нашли древние таблицы с фрагментами эпоса о Гильгамеше; это была одна из традиционных историй, которую отец Гурджиева знал наизусть и часто читал. Его научил эпосу о Гильгамеше другой сказитель, который выучился у еще одного, и так далее, поколение за поколением. Такое представление о реальности древней изустной традиции, жившей столетиями, сыграет важную роль в собственном учении Гурджиева.

В раннем возрасте Гурджиев проявил интерес к оккультному. Уже в юности он наблюдал разные странные явления: столоверчение, предсказания судьбы, исцеление верой, даже вампиризм. Смерть сестры привела его к вопросам о жизни после смерти. Когда ему было около одиннадцати лет (если принимать за год рождения 1877), он стал свидетелем поразительного зрелища. Услышанные крики привели его к группе детей. Он увидел маленького мальчика-езида, который стоял посреди нарисованного на земле круга. Езиды — это религиозная секта, которую ошибочно считали дьяволопоклонниками. Они были подвержены необъяснимому феномену: помещенные внутрь круга, они не могли из него выйти. Мальчик кричал, запертый в ловушку, а вокруг него смыкалось кольцо детей. Когда Гурджиев стер часть круга, мальчик сбежал. Заинтересованный, Гурджиев стал расспрашивать всех, что они знали об этом, но никто не мог объяснить явление. Годы спустя Гурджиев и сам провел эксперимент, нарисовав круг около езидской женщины. Она тоже не смогла из него выйти, а когда Гурджиев и другой мужчина наконец ее вытащили, впала в каталептическое состояние.

Книга «Встречи с замечательными людьми» полна и других, не менее необычных историй. Юный Гурджиев изучал каждую из них, пытаясь найти ответ на содержащуюся в ней загадку. Он прочитал все, что мог, и всех расспрашивал. Наконец он пришел к выводу, что, хотя людям кажется, что они понимают себя и мир, на самом деле им сильно не хватает знаний ни о первом, ни о втором. Приходя к тому же выводу, что и Успенский много лет спустя, Гурджиев осознал, что лень и недостаток

любопытства позволяют людям принять историю, которая выглядит самой простой и освобождает от поисков истины. Гурджиев учился на священника, а поскольку глава его школы настаивал на том, чтобы у учеников было медицинское образование, он также изучал медицину. Вскоре у него проявился замечательный талант к работе с техникой: он был прирожденным мастером починки. Значительную часть своих подростковых лет он провел, разбирая вещи на части и собирая снова. Часто он видел, как можно улучшить машину или инструмент, и вносил необходимые изменения. Как мы увидим, его последующая жизнь тоже сосредоточивалась вокруг починки «машин». Поскольку семья его была бедна, некоторое время он зарабатывал деньги как путешествующий ремонтник.

Религиозные вопросы, сверхъестественное и навыки механической работы образовывали ранние годы Гурджиева. К ним прибавилось завидное умение зарабатывать деньги и жизнерадостное равнодушие к связанным с этим формальностям. Подростком он работал на железнодорожную компанию, осматривая предполагавшийся маршрут между Тифлисом и Карсом. Он заранее знал, в каких городах предполагается делать станции, и обращался к старейшинам города с предложением за определенную цену сделать так, чтобы поезд в нем останавливался. Естественно, отцы города были довольны и наполняли карманы Гурджиева. В другой раз Гурджиев ловил воробьев, красил их в разные цвета и продавал доверчивым покупателям как редкий вид «американской канарейки», а потом быстро сбежал, прежде чем внезапный душ не смыл краску. В поздние годы его талант зарабатывания денег использовался в разных занятиях, от продажи ковров и исцеления наркоманов до управления кинозалами и ресторанами.

Гурджиев проводил долгие вечера вместе со своим другом, Саркисом Погосяном, обсуждая главные вопросы человеческого существования. Они посещали святые места и, читая, все больше убеждались в существовании тайного знания. Они также верили, что следы этой потерянной мудрости можно найти в реликвиях прошлого — вера, которую, как нам известно, Успенский почерпнул из философии. После того, как они заработали достаточно денег, чтобы отказаться от работы, — Погосян тоже работал на железной дороге, — они купили целую библиотеку древних армянских текстов, а затем переехали в старый город Ани. Там они построили хижину и погрузились в исследование и изучение древней армянской столицы.

Они обнаружили в подземном тоннеле монашескую келью. В ней хранились древние свитки с записями на староармянском. Они привезли их в Александрополь, надеясь расшифровать. Оказалось, что в свитках говорилось о древнем тайном обществе, Сармунского братства, и они вспомнили это название из одного из текстов в их библиотеке. Судя по всему, это братство расцвело примерно в 2500 году до нашей эры; свитки датировались примерно 600 годом нашей эры. Гурджиев и Погосян пришли



к выводу, что остатки Сармунского братства все еще можно найти в области в трех сотнях миль к югу от современного Мосула (Ирак). Убедив общество армянских патриотов профинансировать их экспедицию, они отправились в собственное путешествие за чудесным.

Удача была на их стороне. Армянский священник, у которого они поселились, упомянул имевшуюся у него карту. Он сказал, что русский князь хотел ее купить, но священник не стал продавать, позволил только сделать копию. Он показал карту Гурджиеву: оказалось, что это карта Египта «до песков». Естественно, Гурджиев пришел в восторг от открытия и в отсутствие священника сделал копию карты. Русский князь платил за это право, но как позднее Гурджиев скажет Успенскому, искателю знание иногда приходится красть.

Серия событий привела Гурджиева в Александрию (Погосян сошел с пути раньше). Из Египта он отправился в Иерусалим, где работал проводником туристов. Гурджиев не рассказал, нашел ли он какие-нибудь свидетельства существования Сармунского братства, или что случилось с картой Египта до песков. Но вернувшись в Египет, Гурджиев сидел под одной из пирамид, изучая карту. К нему подошел человек и, глядя сверху вниз, с чувством спросил, как он ее нашел. Оказалось, что это тот самый князь, который пытался купить карту у священника.

Так Гурджиев связался с группой Искателей истины, которую возглавлял русский князь. Они проехали по нескольким местам в Азии, порой недоступным европейцам, где обнаруживали сокровенное знание, о существовании которого Гурджиев подозревал уже много лет. Гурджиев рассказывает, что со временем нашел современное Сармунское братство и провел некоторое время в их монастырях в Гималаях и Туркестане. Именно там он узнал древние секреты человеческого существования и методы достижения высшего состояния сознания.

Это замечательная история, правдивость которой трудно проверить.

Рассказ Гурджиева о его ранних годах можно читать на разных уровнях: как метафору, аллегорию, чистую сказку, метафизическую выдумку, автобиографию или просто фантазию. Учитывая обстановку, в которой он появился в Москве, понятно, что он хотел представить себя как таинственную фигуру с рядом мистических приключений за спиной. За ним числились и другие достижения: в этот период он мог некоторое время быть тайным агентом, работавшим на русское правительство во время политической шахматной игры с Британией, так называемой Большой игры [10].

Также он некоторое время работал профессиональным гипнотизером и иллюзионистом — своего рода путешествующим магом, эквивалентом нынешних телевизионных экстрасенсов. Но Гурджиев, который выбрал Успенского и послал своих учеников заманивать его, был намерен представить себя исключительно как человека, который знает.

Вполне вероятно, что в Санкт-Петербурге в 1913 году он представлял-ся как некий «принц Озай» и познакомился с англичанином Полом Дьюксом, двадцатичетырехлетним путешественником и музыкантом. Друг Льва Львовича — что интересно, профессионального целителя и гипнотизера — Дьюкс, который позднее познакомится с Успенским, знал, что Львович встретился с принцем в то время, когда служил в армии в Центральной Азии. Львович сказал Дьюксу, что принц — человек, ни на кого не похожий. Познакомившись с ним, Дьюкс не мог не согласиться. В доме недалеко от Николаевского вокзала\* — и от квартиры Успенского — Дьюкса ввели в большую, роскошно обставленную комнату. Стены украшали восточные ковры, окна были закрыты богатыми занавесями, с потолка свисали чугунные лампы, украшенные цветным стеклом. Атмосфера была экзотической и странно напоминала комнату волшебника из романа Успенского. Дырка на носке Дьюкса заставила принца сделать замечание о благе вентиляции: «Хорошее дело — нет ничего лучше свежего воздуха». Не-что подобное мог бы сказать Гурджиев. Но более веским доказательством служат оккультные уроки, которые Дьюкс получил от принца. Бо-льшая часть касалась диеты, дыхания, секса и прочего стандартного набора мистических дисциплин. Принц сказал музыканту Дьюксу, что он — музыкальный инструмент, и говорил о важности «настройки». Это намекает и на то, как позднее Гурджиев использовал музыкальные термины (например, «октава»), и говорит о его склонности подходить к каждому студенту посредством знакомой ему темы [11].

Но прежде чем появиться в образе принца Озая — если он и Гурджиев действительно одно лицо — Гурджиев уже мелькал в оккультных кругах России. Биографы Гурджиева полагают, что в 1909 или 1910 году он был готов оставить свой след в мире, вопрос был один — где следует это сделать. Из Центральной Азии он мог отправиться в Константинополь, где у него были знакомые, он знал язык, и где, как выяснил Успенский во время своего первого путешествия на Восток, до сих пор существовала живая духовная традиция. Вместо этого он выбрал Россию. Некоторые комментаторы предполагают, что выбор вызван тем, что Россия представляла более сложную задачу. Может быть. Но Москва и Санкт-Петербург были самыми европейскими городами России, и Гурджиев наверняка планировал со временем принести свою работу в Европу. Также верно и то, что, как мы уже видели, в России в то время процветал оккультный рынок, и посвященные самых разных учений наполняли крупные города. Гурджиев уже проверил себя в спиритических и теософских кругах таких городов, как Ташкент. Подобно Успенскому, Гурджиев мог сказать мало хорошего о

---

\* Ныне — Московский вокзал.

своих мистических конкурентах, хотя очевидно, что он немало позаимствовал из их работ. Знания, которые Гурджиев предложил Успенскому, несомненно, были внушительными, а в той форме, в которой их преподносил Гурджиев, — уникальными. Но они не были абсолютно оригинальными.

В Ташкенте Гурджиев как оккультный учитель имел значительный успех. Он рассказывает, что за шесть месяцев «не только вступил в контакт со множеством этих людей (оккультистов), но даже был принят как известный эксперт и проводник в так называемых феноменах запредельного в очень большом кругу».

Несомненно, Гурджиев, с его глубоким желанием добраться до дна жизни, обнаружил, что среди этих кругов было много простых искателей сенсаций и скушающих дилетантов, жаждущих развлечений. Он говорил об оккультной истерии того времени как о психозе, просто еще одном проявлении лени, свойственной людям. Он также подтвердил это на практике: частью его успеха, говорит он нам, было его «умение делать фокусы», что предполагает, что при необходимости он не гнушался ловкостью рук. Целью его внедрения в эти круги было приобретение группы серьезных учеников, на которых он смог бы проверить знания, полученные во время поисков. Как он сам признается, ему нужны были подопытные крысы.

В Ташкенте было недостаточно людей подходящего типа, а его эксперименты требовали работы с большим разнообразием. Поэтому он переехал в Россию, закрыв группы и немалые деловые предприятия, которыми в то время занимался и ликвидация которых принесла ему миллион рублей. Сначала он поехал в Санкт-Петербург, где, нарядившись в подходящие восточные одежды, выходил в мир, возможно, как принц Озай. Затем, по причинам, которые лучше известны ему самому, он переехал в Москву. Здесь Гурджиев тоже искал тип — новых подопытных крыс — но также и чего-то еще. В отличие от мадам Блаватской или очень успешного Рудольфа Штейнера, Гурджиев, по-видимому, не хотел являть себя большому миру; на это указывает его склонность к маскараду [12]. Но человеку, который хочет оставить свой след в мире — а это явно входило в планы Гурджиева, — нужно хорошо подать себя.

Кто был лучшим кандидатом на позицию специалиста по связям с общественностью Гурджиева, чем уважаемый, исключительно талантливый писатель, журналист и лектор?

Соглашаясь на встречу, Успенский понятия не имел о том, кто такой Г. Чего нельзя сказать о Гурджиеве. Он прекрасно знал, кто такой Успенский, и вполне вероятно, что он разместил объявление об «индусском балете» в надежде, что оно привлечет внимание Успенского. Наверняка он отправил Поула и Меркурова на лекции Успенского с конкретной целью — заманить его на встречу. Гурджиев обращал особое внимание на работы Успенского, читая его книги и следя за статьями о пережитом на

таинственном Востоке. В газетах много писали о путешествии Успенского, и, как он вскоре скажет ему лично, Гурджиев даже дал своим ученикам задание прочитать книги Успенского, чтобы определить, кто он такой. Так, по словам Гурджиева, они заранее будут знать, что нашел Успенский, когда поехал в Индию. Успенский не говорит, что думали по этому поводу ученики Гурджиева; он сам считал, что ничего не нашел, и потому, возможно, не задал вопроса. О путешествиях на Восток Гурджиев мало что мог сказать. «Туда хорошо ездить отдыхать, на каникулы, — говорил он Успенскому. — Но не стоит отправляться туда за тем, что ты ищешь. Все можно найти здесь» [13].

Под «здесь» подразумевалась Россия и лично Гурджиев.

«Это не экзотический город, — сказал Успенский Анне. — Но здесь должен быть кто-нибудь из тех, кого я ищу» [14].

Анна писала свои заметки через шестьдесят лет, и понятно, что она могла расположить фрагменты головоломки так, чтобы они сошлись лучше, чем в то время. Но апокрифическое или нет, замечание Успенского скоро окажется правдивым.

## Глава 7

---

# Встреча с замечательным человеком

Успенский верил, что чудесное можно найти в самом простом и обычном. Даже в маленьком московском кафе:

Мы вошли в небольшое кафе на шумной, хотя и не центральной улице. Я увидел человека восточного типа, уже немолодого, с черными усами и пронзительными глазами; более всего он удивил меня тем, что производил впечатление переодетого человека, совершенно не соответствующего этому месту и его атмосфере. Я все еще был полон впечатлений Востока; и этот человек с лицом индийского раджи или арабского шейха, которого я сразу же представил себе в белом бурнусе или в тюрбане с золотым шитьем, сидел здесь, в этом крохотном кафе, где встречались мелкие дельцы и агенты-комиссионеры. В черном пальто с бархатным воротником и черном же котелке, он производил странное, неожиданное и почти пугающее впечатление плохо переодетого человека, вид которого смущает вас, потому что вы понимаете, что он — не тот, за кого себя выдает, а между тем вам приходится общаться с ним и вести себя так, как если бы вы этого не замечали [1].

К этому времени Гурджиев отказался от экзотической роли принца Озая и вел будничное существование мелкого предпринимателя. Однако под котелком оставалось что-то от принца. Потертый маскарадный костюм не вполне скрывал секрет и намекал на таинственную романтику и приключения куда больше, чем любая очевидная демонстрация. Гурджиев *знал* Успенского, знал, что он путешествовал на Восток и что он разочарован. Более чем вероятно, что он также знал, что если бы попытался выдать себя за принца Озая или еще кого-нибудь, то отпугнул бы Успенского. Но знал он также и то, что Успенский все еще ищет, и что даже небольшой намек на чудесное будет куда эффективнее, чем любой стандартный антураж и маскарадные наряды.

Успенский отмечал, что Гурджиев неправильно говорил по-русски. Анна Бутковская-Хьюит писала, что по-русски он говорил свободно.

В любом случае, сильный кавказский акцент Гурджиева казался совершенно неуместным для того разговора, который они вели. А о чем они говорили? Об Индии, об эзотерике, о школах. Гурджиев рассказывал о своих путешествиях, упоминая места, которые Успенский хотел посетить, но не смог. Позднее, когда Успенский расспрашивал его о новых подробностях путешествий, Гурджиев уклонялся от ответа. Затем Успенский спросил Гурджиева, что тот знает о наркотиках. Очевидно, он все еще думал о своих экспериментах, и, возможно, из-за них оставалось чувство вины. Наркотики хороши для изучения себя, сказал Гурджиев, для того, чтобы «заглянуть вперед», заранее узнать про возможности. И только для этого. Он сказал Успенскому, что когда человек убежден, что то, о чем он знает теоретически, *действительно существует*, то может сознательно работать для обретения этого. Успенского, несомненно, стимулировала эта мысль, потому что именно это он и хотел сделать.

Затем Гурджиев пригласил Успенского познакомиться с его учениками.

По дороге на встречу Гурджиев говорил о великих потерях, которые пережил из-за войны, об учениках, оборудовании и деньгах. Он упомянул о том, как дорого стоит его работа, и о просторных апартаментах, которые снимал, чтобы проводить занятия. Эта работа, по его словам, заинтересовала нескольких известных людей Москвы — писателей, художников, профессоров. Однако когда Успенский, который всех знал, спросил, кого именно, Гурджиев умолк.

К своему удивлению, Успенский обнаружил, что «дорогая» квартира Гурджиева — это на самом деле дешевые комнаты без мебели, предоставляемые муниципальным школьным учительницам. На встрече присутствовало несколько учеников Гурджиева, и то, что две женщины действительно были учительницами, подтвердило подозрения Успенского. Он гадал, почему Гурджиев так очевидно лгал ему про апартаменты? Это не его квартира, и такие места выдаются бесплатно или практически ничего не стоят. Зачем нужна была эта неловкая история? Он говорит, что в тот момент ему трудно было смотреть на Гурджиева.

Когда Успенский спрашивал учеников Гурджиева об их работе, они отвечали странными, неразборчивыми терминами, и он мало что мог в них понять. Один предположил, что, возможно, ему будет проще, если он прочитает историю, которую написал один из учеников Гурджиева, в тот момент не присутствовавший. Успенский согласился, и один из них начал читать вслух документ, известный как «Проблески истины».

У Успенского явно обострилось ощущение deja vu, потому что уже в самом начале истории появилось то же объявление, на которое Успенский наткнулся в связи с индуистским балетом «Битва магов». Оно даже появлялось в той же газете, где его видел Успенский, «Голос Москвы». Другие аспекты истории заставляли предполагать, что, как и объявление

о балете, история могла быть написана специально для него. «Странные события, непонятные для обыденного взгляда, вели меня по жизни», — заявляет ее рассказчик. В каждом «внешнем результате» его интересует только «сокровенная причина» — реплика прямо из «Tertium Organum». Рассказчик изучает оккультизм, как и Успенский, и в нем иногда видит «гармоничную философскую систему», как и Успенский. И, как и Успенскому, рассказчику удается порой увидеть бескрайние горизонты, которые неизбежно скрываются из вида. Он искал истину, но его попытки оказались бесплодными. Он глубоко разбирается в философии оккультизма, но видит только контуры «величественного строения». Он знает, что книги никогда не принесут ему реальность, которую он ищет [2].

Рассказчик ищет других, которые могут «знать», но оказывается разочарован. В своих поисках истины он посещает Индию, Египет и другие страны. Затем он слышит от друга о таинственном балете «Битва магов» и о его не менее таинственном авторе, Г. И. Гурджиеве, известном в Москве ориенталисте. (Конечно, до этого вечера Успенский ничего о нем не слышал.) Он решает встретиться с Гурджиевым и упоминает об этом другому приятелю, который довольно прохладно относится к этой идее. Со временем друг признается, что знает Гурджиева и может организовать встречу, хотя это будет трудно. Он говорит о дорогом деревенском доме Гурджиева, убежище, о котором не знает никто, кроме него самого, а теперь еще и рассказчика, намекая на секреты и инициации.

Когда рассказчик впервые встречается с Гурджиевым, кажется, что тот все еще находится в фазе принца Озая. Он представляет собой человека с восточным цветом кожи, и особенно привлекают внимание его глаза, «не столько сами по себе, сколько то, как он смотрел на меня — не как на встреченного впервые, а так, словно он знал меня давно и хорошо» [3]. Гурджиев сидит на низкой оттоманке у стены, по-восточному скрестив ноги, и курит кальян. Атмосфера в комнате «непривычна для европейца». Каждый дюйм покрыт коврами, даже стены. Яркие окрашенные старинные шелковые шали затягивают потолок, а из середины свисает светильник под стеклянным абажуром в форме огромного цветка лотоса. Стены украшают музыкальные инструменты, резные трубки и коллекция старинного оружия — кинжалы и ятаганы. Пол усыпан большими подушками. В одном углу стоит икона Святого Георгия Победоносца, отделанная драгоценными камнями, а рядом с ней в шкафу находятся вырезанные из слоновой кости статуэтки Христа, Будды, Моисея и Магомета. Кофейник и греющая лампа стоят на маленьком столике черного дерева, и воздух наполнен «изысканным ароматом», который приятно сочетается с запахом табака.

Рассказчик отмечает, что, осмотрев комнату, он взглянул на Гурджиева, который как будто немедленно оценил его, взял его в ладонь и взвесил — видимо, предполагалось, что то же ощущение должно возникнуть у Успенского.

После вступительного обмена приветствиями Гурджиев предлагает не терять времени зря и спрашивает рассказчика, чего тот на самом деле хочет. Рассказчик тоже отмечает, что Гурджиев плохо говорит по-русски. Однако в ходе разговора эта неловкость проходит, и к концу встречи, во время большей части которой друг переводчика выступает в роли толкователя, словарь и подача материала Гурджиевым заметно улучшаются. Отталкиваясь от герметической аксиомы «что внизу, то и вверх», Гурджиев отмечает, что говорил так в начале разговора, потому что знает, что рассказчик изучает оккультизм. Гурджиев, как Пол Дьюкс, подбирал интонацию под аудиторию.

Вся история слишком длинна, чтобы вдаваться в ее подробности. Гурджиев излагает ранние формулировки нескольких аспектов своего учения, которые Успенский позднее разовьет в четкую логичную систему — Закон Трех, Закон Семи и мысль о том, что все во Вселенной материально, включая идеи. Он говорит о разных видах пищи, необходимых человеку, о потребности в новом языке и новом понимании, об идее объективного искусства, которое избегает субъективности искусства времен Гурджиева. В связи с этим последним замечанием Гурджиев упоминает скульптора, спутника его детских лет, который теперь стал в Москве знаменитым художником, — того самого Меркурова, которого он отправил заманить Успенского. Он также сообщает, что Меркуров стал участвовать в его деятельности после того, как Гурджиев попросил некоего П., Владимира Пола, его «заинтересовать» [4].

Поскольку в «Проблесках истины» около тридцати страниц, Успенский проявил замечательное терпение, выслушав их целиком. Как он отмечает, рассказ не обладал литературной ценностью. Он был написан неумело и порой запутанно, однако все равно произвел на Успенского впечатление. Он также обнаружил, что историю написал не отсутствующий ученик Гурджиева, как ему сказали вначале, а двое из присутствующих. И как будто этого было недостаточно, чтобы запутаться, со временем ему сообщили, что идею истории подал Гурджиев. Возможно, ее написал сам Гурджиев, но стиль, хотя и неловкий, отличается от стиля его книг.

Во время чтения Гурджиев сидел на диване по-восточному, курил и пил кофе. Успенский снова увидел его в свете своих поисков: он предпочел бы познакомиться с ним не в этой унылой комнате, а в Каире, на Цейлоне или в Индии. На него произвела впечатление кошачья грация Гурджиева, отличавшая его от остальных. Судя по всему, Гурджиев был впечатляющей фигурой.

Когда Гурджиев спросил, что он думает об услышанной истории, Успенский постарался ответить тактично. Он сказал, что история интересная, но отметил, что ее цель не вполне ясна. Ученики Гурджиева стали возражать, но, когда Успенский стал расспрашивать подробнее об их



системе, они неуверенно заговорили о «работе над собой». Возможно, Успенский улыбнулся; именно любительских попыток работы над собой он и хотел избежать. Ученики Гурджиева казались ему искусственными, словно они играли роли. Он также отметил про себя, что они не могли сравниться с учителем. Они были приятными и приличными людьми, но не того типа, который он ожидал встретить на пути к чудесному.

Гурджиев спросил Успенского, не думает ли тот, что «Проблески истины» можно опубликовать в газете. Это было бы хорошим способом познакомить публику с его идеями. Успенский ответил, что в том виде, в котором есть, никакая газета рассказ не примет.

Возможно, Гурджиева расстроили эти новости. Он хотел публиковать-ся и мог видеть в Успенском возможность это сделать. С другой стороны, он мог и не расстроиться, потому что недостатки истории были средством намекнуть Успенскому, что он способен написать намного лучше. В любом случае настоящая цель чтения была достигнута. В конце встречи, уже когда Успенский собирался уходить, в его голове возникла мысль, что он *должен немедленно* попросить Гурджиева о новой встрече. В свете дальнейших событий возникает вопрос, *чья именно* это была мысль. В любом случае, Успенский предложил новую встречу, и Гурджиев ответил, что будет завтра в том же кафе в то же время.

Выйдя от Гурджиева вместе с одним из учеников, Успенский сначала хотел сделать замечание о странном поведении Гурджиева и долгом скучном чтении. Но что-то его остановило. Его охватило странное возбуждение, он испытывал желание засмеяться или запеть. Он отмечал, что чувство было такое, словно его выпустили из заключения. Он испытывал нечто подобное раньше, когда открытие оккультной литературы вызвало у него ощущения, как у приговоренного, получившего шанс на побег. Остаток своего пребывания в Москве Успенский встречался с Гурджиевым каждый день, в одно и то же время, в одном и том же шумном кафе. Он пытался заставить Гурджиева больше рассказать о своих путешествиях, но тот не стремился делиться подробностями. Хотя эта сдержанность и разочаровывала Успенского, но она не шла ни в какое сравнение с тем, о чем Гурджиев был готов говорить. Гурджиев много знал обо всем, и его ответы на вопросы Успенского позволяли считать, что порождаются какой-то *системой*, стройным организованным знанием, которое Гурджиев не озвучивал полностью, но на котором, тем не менее, основывались его все более поразительные рассказы. Также Гурджиев говорил о некоторых практических аспектах своей работы. Например, от его студентов требовалась плата, тысяча рублей в год — весьма значительная сумма. Когда Успенский заметил, что для многих это слишком дорого, Гурджиев сказал, что тем, кому трудно заплатить такую сумму, будет не менее трудно заниматься его работой, и что люди не ценят то, за что не платят.

Его собственное время было слишком ценным, чтобы тратить его на тех, кому оно не пойдет на пользу. Успенский принял это, но Гурджиев продолжал убеждать его, и Успенскому показалось странным, что Гурджиев так старается убедить его в том, в чем убеждать нет необходимости. Успенский знал, что на исследования, которыми он занимается, нужны деньги, и уже тогда к нему в голову закралась мысль, что если он будет больше участвовать в деятельности Гурджиева, то, скорее всего, сумеет помочь найти необходимые средства. Более того, он мог стать для Гурджиева лучшим учеником, чем остальные.

Без единого слова со стороны Гурджиева Успенский уже вписывал себя в историю. Он чувствовал, что Гурджиев принял его в качестве одного из учеников — конечно, он не говорил этого прямо, но его намерения были очевидны. Успенский явно был доволен, но возникла одна проблема: ему нужно было возвращаться в Петербург, чтобы подготовить к публикации несколько книг. Гурджиев сообщил, что часто бывает в Петербурге и общит Успенскому, когда окажется там в следующий раз.

Однако был и другой важный аспект. Успенский был прежде всего писателем и должен был сохранять полную свободу выбора в вопросе того, о чем будет писать. В двух других случаях у него была возможность присоединиться к подобным группам, но он отказался; если бы он к ним присоединился, то ему пришлось бы держать все изученное в секрете. Успенский знал, что рано или поздно в его разговорах с Гурджиевым возникнут темы, о которых он сам думал, над которыми работал независимо от него, — идеи времени, высшего пространства и других измерений. Он был уверен, что идеи такого рода должны играть роль в работе Гурджиева.

На все это Гурджиев просто кивнул.

«Так вот, — продолжил Успенский, — если мы будем беседовать по секрету, то я не должен знать, о чем могу, а о чем не могу писать».

Гурджиев согласился, но добавил, что слишком много разговоров — это лишнее. Некоторые вещи, по его словам, остаются только для учеников. Однако он согласился на условие, что Успенский может писать о том, что понимает в полной мере.

Успенский спросил, есть ли еще какие-то условия.

Гурджиев ответил, что их нет, и добавил, что на самом деле никаких условий быть не может, потому что эта работа начинается с того, что «человека *нет*». Человек, какой он есть, рассказывал Гурджиев все более измученному Успенскому, не способен заключать соглашения, решать что-то о своем будущем, держать обещания и выполнять обязательства. «Сегодня он один, а завтра совсем другой» [5]. Для того чтобы держать обещания и выполнять обязательства, человек должен сначала познать себя, и он должен *быть*. «А человек, подобный всем другим людям, крайне далек

от этого», — заметил Гурджиев [6]. Причина этого, по его словам, — то, что все люди — *машины*.

«Не доводилось ли вам задумываться о том, что все люди — это *машины*?» — спросил он [7].

Знакомый с современными течениями психологической мысли, Успенский ответил, что да, с научной точки зрения люди — просто машины. Но как он сам доказывал в своих работах, эта точка зрения оставляет за кадром самые важные аспекты человеческого существования — искусство, поэзию, философию, все феномены четвертого измерения. Он сказал, что это нельзя адекватно объяснить исключительно механической точкой зрения на человека.

Гурджиев был с ним не согласен. «Эти занятия, — сказал он шокированному Успенскому, — такие же механические, как все остальное. Люди — машины, а от машин не стоит ожидать ничего, кроме механических действий» [8].

Успенского это не вполне убедило. Все это время он двигался к тому, чтобы открыть какое-нибудь средство сопротивления тому, что казалось ему все большей механизацией человеческой жизни. В «*Tertium Organum*», итоге его размышлений, множеством способов доказывалось, что любовь, поэзия, идеи — все то, от чего таинственный Гурджиев просто отмахнулся, — это могущественные орудия в его философском арсенале. Теперь ему говорили, что они такие же механические, как карманные часы.

Поразмыслив об этом, Успенский спросил, есть ли люди, которые не являются машинами.

«Может быть, и есть, — ответил Гурджиев. — Ты их не знаешь. Я хочу, чтобы ты понял вот что: все люди, которых ты видишь, все люди, которых знаешь, все люди, которых *узнаешь в будущем*, — это машины, простые машины, которые работают только благодаря внешнему воздействию» [9].

Это была сильная мысль. Однако Успенский все равно не был убежден, и ему было странно, что Гурджиев так на этом настаивает. Сказанное им, с одной стороны, было очевидно: достаточно было провести какое-то время в большом современном городе, например в Лондоне, как сделал Успенский на обратном пути с Востока, чтобы увидеть, что жизнь в таких местах становится все более и более механической. Ясно, что таков путь будущего. В то же время Успенский всегда с подозрением относился к таким всеобъемлющим метафорам; они упускали из вида *различия*, которые, как он знал, были самым важным в жизни. Именно из-за того, что научная точка зрения стирала эти различия, он боролся против нее. Почему Гурджиев настаивал на идее, которая была бы продуктивной, если не делать ее абсолютной?

Не все, что услышал Успенский от Гурджиева в ходе этих первых встреч, его устраивало. Отказ Гурджиева обсуждать его путешествия раз-

дражал, особенно человека, который сам много странствовал. Говоря о «Битве магов», Гурджиев заметил, что, поскольку в постановке использовалось несколько «священных танцев», у выступающих будет возможность «изучить себя». Идея выглядела интересной; но Успенский заметил, что в объявлении о выступлении говорилось, что в нем участвуют некоторые «известные» танцоры. Вряд ли они станут танцевать, чтобы «изучить себя». Гурджиев объяснил, что вопрос еще не решен, и человек, ответственный за размещение объявления, не обладал полной информацией. Все может сложиться совсем иначе. Это выглядело как торопливая попытка обойти несостыковки, которые заметил Успенский. В любом случае, «Битву магов» вскоре отложили и не вспоминали о ней еще пять лет.

Еще более тревожными были замечания Гурджиева о спутниках, сопровождавших его в годы путешествий по Востоку, других Искателей истины. Гурджиев объяснял, что у каждой школы есть специальность, которую изучают ее последователи: живопись, музыка, танцы, астрономия. «Общих» школ нет, и для того, чтобы изучить все, понадобилось бы несколько жизней.

Как же учился Гурджиев?

«Я был не один», — сказал он. Каждый в его группе был в чем-то специалистом, и каждый изучал собственную дисциплину. Позднее они объединяли свои знания и делились тем, что нашли.

А что же его спутники, спросил Успенский, что с ними случилось?

«Одни умерли, другие работают, третьи стали отшельниками».

«Отшельничество» — это слово из словаря монахов — вызвало у Успенского беспокойство. Он также чувствовал, что Гурджиев снова «играет», намеренно говорит то, что должно его шокировать. Эта «игра» со временем приведет ко многим конфликтам между ними. Гурджиев шокировал Успенского и другими способами. Он говорил, что война, которая была у всех на уме, вызвана не экономическими или политическими причинами, а определенными космическими условиями. Влияние планет заставляет несколько миллионов машин убивать друг друга. Планеты — это живые существа, и когда они проходят слишком близко друг к другу, возникает напряжение в космическом порядке. На Земле это приводит к войнам, резне, кровопролитию. Когда Успенский спросил, можно ли как-то этому помешать, Гурджиев ответил отрицательно. Человек-машина ничего не может сделать. Человек как он есть *ничего не делает*. Он не может *делать*. Все делается с ним. С человеком как он есть *все случается*. Он не думает, не чувствует, не желает. Вместо этого *думается, чувствуется, желается* за него.

Гурджиев начинал повторяться. О чем бы Успенский не начинал разговор, тот рано или поздно сводился к одному и тому же: человеческие существа, как они есть — не более чем машины. Любая дискуссия — об

искусстве, психологии или способности человека действовать — приходила к одному и тому же. Успенский этого не говорит, но наверняка он задавался этим вопросом: а как же я? Я тоже не более чем машина?

Гурджиев, как ни странно, не стал говорить в лоб. Но его замечания были в тему.

«Возьмите для примера себя: вы бы уже знали многое, если бы *умели правильно читать*. Если бы вы *понимали* все, что прочитали за свою жизнь, то уже знали бы, что ищете. Если бы вы понимали все, что написали в своей книге, я бы пришел, склонился перед вами и просил вас меня учить. Но *вы не понимаете* ни того, что читаете, ни того, что пишете» [10].

Что по этому поводу думал уважаемый писатель, журналист, лектор и переводчик, остается неизвестным. Он по собственному опыту знал, что язык — неподходящий инструмент для освоения реальности вещей, так что, возможно, оскорбительные замечания Гурджиева не слишком его задели. Но трудно поверить, что Успенский не воспринимал этот радикальный комментарий Гурджиева, как и многие ему подобные, с большим скептицизмом. На это намекают замечания Успенского в ходе их последнего разговора перед его отъездом в Санкт-Петербург. Хотя во многом из сказанного Гурджиевым звучали новые, стимулирующие идеи, главным, как знал Успенский, оставались «факты». Только увидев реальный, подлинный факт, он поверит, что идет по правильному пути. И под «фактами» он, конечно, подразумевал чудо.

Я полагаю, Гурджиев улыбнулся. «*Факты будут*», — пообещал он. Но будет и многое другое.

## Глава 8

---

# Найденное чудо

Успенский вернулся в Санкт-Петербург, полный возбуждения после разговоров с Гурджиевым. Казалось, что перед ним лежала «новая или забытая дорога», которая выведет его из ложного мира противоречий. Путь к чудесному казался понятным, и, возможно, он уже сделал первые шаги по нему. Если так, то время было самое подходящее. Санкт-Петербург тем летом был странным, с напряженной атмосферой, полной ожидания катастрофы. Война добралась до русской земли, и пробуждались суицидальные тенденции, дремлющие в русской душе. Все знали, что скоро что-то случится, и Успенский боялся, что гроза разразится прежде, чем он закончит работу. Когда тревога становилась слишком мучительной, он мыслями обращался к Москве, и его успокаивала идея, что он может все бросить и вернуться к Гурджиеву. Более чем вероятно, что эта мысль часто приходила ему в голову, когда работа затягивалась из-за забастовок типографий и других нарушений нормального хода повседневной жизни.

Только осенью он снова получил вести от Гурджиева. Гурджиев приехал в Петербург и позвонил Успенскому. Они встретились и поговорили, и, отправляясь обратно в Москву, Гурджиев сказал Успенскому, что скоро вернется. Вскоре после этого он действительно вернулся, и они встретились и побеседовали снова. Успенский упомянул, что знает других людей, которых наверняка заинтересовали бы идеи Гурджиева, и Гурджиев сказал, что это хорошо, так как он собирается начать в Петербурге такую же группу, как в Москве.

Одним из первых людей, с которыми Успенский заговорил о Гурджиеве, была Анна.

Однажды утром Анна, ждавшая его в кафе «Филиппов», удивилась тому, что обычно пунктуальный Успенский опаздывает. Когда он наконец появился, то находился в необычном эмоциональном состоянии. Без приветствия, не успев даже сесть, он торопливо объяснил, почему задержался.

«Думаю, мы наконец нашли то, что искали! Я должен тебе все рассказать. Я нашел чудо!» [1].

Успенский упомянул встречу с Меркуровым и Полом и, напомнив ей о странном человеке, с которым познакомился благодаря им, объяснил заинтригованной Анне, что этот человек здесь, в Санкт-Петербурге, и ждет

их в другом кафе сети «Филиппов», через дорогу. Его знания, по словам Успенского, выходят за пределы чистой теории. Он настоящий учитель, и Успенский уже многому у него научился. Например, он уже понимал его основную идею — что люди не могут *делать* — потому что в некотором смысле они не *существуют*.

«Я имею в виду, — продолжал восторженный Успенский, — что у человека не одно „Я“, а много... У человека может быть двадцать два „Я“... Он пассивен, не *делает* ничего сам... все в нем *делается* механически... Но я не должен пытаться сам рассказывать тебе все это здесь... Он через дорогу и ждет нас прямо сейчас!» [2].

Желая встретиться с чудом, Анна согласилась. В другом кафе «Филиппов» она увидела человека, который превратил обычно сдержанного и уверенного в себе Успенского в заикающегося мальчишку.

Она видела, что у этого человека есть греческая кровь, о чем говорили его тонкие живые черты. Его овальную голову венчала высокая астраханская шапка, кожа была оливковой, и он носил черные усы. Но самое большое впечатление на Анну произвели его глаза. Они словно удерживали ее, смотрящую на чудо на другом конце зала. И когда она подошла к столику в дальнем углу, где он сидел в одиночестве, то знала, что Петр Демьянович прав. Подобно многим другим, встречавшимся с Гурджиевым, она ощутила, что его глаза, такие же черные, как усы, «смотрят прямо сквозь нее» [3]. Спокойный, расслабленный, с тихой речью и экономными движениями, он излучал ощущение приятности, и вскоре она поняла, что ей нравится просто сидеть рядом с ним. Было заметно, что русский для него не родной язык, но он говорил на нем с необычной свободой и строил фразы правильно и красноречиво. Ей показалось, что он составлял предложения медленно, как будто они предназначались специально для этой встречи. Сидя рядом с Гурджиевым и слушая, как он говорит своим «ленивым тоном», Анна, как и Успенский, вскоре почувствовала, что «наконец встретилась с гуру» [4].

Она сказала Гурджиеву, что с радостью ждала встречи с ним.

«Но ты меня не знаешь, — ответил Гурджиев. — Может быть, я принесу тебе зло. Твои слова — всего лишь пустая вежливость» [5].

Успенский немедленно выступил на защиту Анны. Нет, объяснил он. Анна, конечно, молода, но она такой же серьезный искатель, как и он.

«Та жизнь, которую я сейчас веду, — сказала она гуру, — кажется мне очень поверхностной, и я не нахожу в ней удовлетворения».

Гурджиев посмотрел на нее и с ноткой благосклонности в голосе спросил: «Это настолько невыносимо?»

«Да! — ответила Анна и повторила его слово: — *Невыносимо!*»

Тогда Гурджиев сказал: «Лучше, чем я думал» [6].

В течение всего оставшегося пребывания Гурджиева в Петербурге Анна и Успенский ежедневно встречались с ним в «Филиппове». Вскоре

к ним присоединились другие искатели чудесного. Гурджиев стал регулярно совершать долгое путешествие из Москвы в Петербург, и все больше людей посещали беседы с ним. Успенский организовывал группы и возможность для Гурджиева выступать в домах разных знакомых. Порой посидеть у ног Гурджиева приходило до сорока человек. Методы работы с группами у Гурджиева были необычны, и организованный, любящий порядок Успенский часто выбивался из сил, пытаясь собрать людей в последний момент. Например, Гурджиев мог сказать, что наутро уезжает в Москву, но на следующий день сообщал, что останется до вечера. День проходил за беседами в кафе. Затем, прямо перед поездом, Гурджиев решал остаться подольше и предлагал Успенскому провести встречу. Успенский торопливо звонил всем, но к этому времени у них появлялись другие планы, и если они хотели послушать Гурджиева, то должны были отменять свои встречи и торопиться туда, где он находился. Это, как и предпочтении шумных кафе, и плата в тысячу рублей, было еще одним примером создания трудностей для того, чтобы люди ценили то, что он им дает.

Среди многих, кто приходил на встречи или слушал Гурджиева в «Филиппове», образовалась небольшая группа, ядро серьезных искателей. Анна называла их «шестеро». Они никогда не упускали возможности поговорить с чудом, а когда его не было, то собирались вместе, чтобы обсудить его идеи. Как можно предположить, группа эта была необычной. Чарковский, инженер за пятьдесят, обладал сравнимыми с Успенским познаниями в оккультной и мистической литературе. Между этими двумя летали эзотерические искры, когда они пытались обойти друг друга в сокровенном знании, споря о Таро, теософии и других мистических философиях. Доктор Стернвал, также за пятьдесят, был успешным врачом, интересовавшимся гипнозом; его жена, намного младше его, не разделяла его увлечения Гурджиевым. Ему нравилось жить хорошо, но манеры у него были деловыми, малоэмоциональными и рациональными. Самым молодым членом группы был железнодорожный инженер Захаров. Подобно Успенскому, он был подкован в математике, но у Захарова не было таланта выразить себя в словах, и его внутренний мир оставался для остальных тайной. Николасу Р., пациенту доктора Стернвала, было уже под семьдесят. Очень эмоциональный, с белыми волосами и длинной патриархальной бородой, он был склонен к нервозности и постоянно перебирал руками. Только в присутствии Гурджиева он немного успокаивался.

В своих группах в Ташкенте, Москве и Санкт-Петербурге Гурджиев собирал самые разные типы людей, избранных «морских свинок», готовых на эксперименты. На каждого он производил самый разный эффект. Для Анны Гурджиев был могущественной и мужественной фигурой, своего рода духовным отцом, который предлагал ей шанс прикоснуться к чуду. Для Успенского он был тем, кто *знает*. Самое сильное воздействие Гур-



джиев оказывал на флегматичного доктора Стернвала. Однажды, во время собрания группы в Финляндии, в деревенском доме одного из богатых пациентов доктора, Стернвал объявил изумленным шестерым, что для него «Георгий Иванович — это сам Христос!». Гурджиев быстро осек доктора, но в других случаях он не стеснялся принимать мантию религиозной фигуры [7]. Однако такие выходы смущали бы человека, стремившегося переманить на свою сторону щепетильного Успенского.

Неясно, что сам Успенский думал о шестерых. Ему казалось, что во время собраний многие люди слышат нечто совсем иное, чем сказанное Гурджиевым. Некоторые уделяли внимание несущественному, а важное по большей части от них ускользало. Из всей группы записи оставили только Анна и Успенский, и хотя записи Анны представляют собой ценность как документ того времени, они не демонстрируют особой интеллектуальной стройности. (Конечно, следует принимать во внимание то, что она писала их в возрасте девяноста лет.) Однако было бы странно для человека со способностями Успенского не чувствовать, что он чем-то отличается от других. И именно это отличие он стремился продемонстрировать Гурджиеву. Когда Успенский согласился организовывать петербургские группы, то поставил два условия: Успенский станет лично определять хороших кандидатов, и при этом сам он будет стоять отдельно от группы. Он всегда стремился не зависеть от групп, духовно или буквально: об этом говорило решение покинуть Теософическое общество, даже когда ему предложили высокий статус. Гурджиев с насмешкой все это отверг. Для него все достижения Успенского мало что значили, если только он не мог использовать их в собственных целях. К этому времени Успенский уже должен был это понимать. Но обещание «фактов» в сочетании с харизмой Гурджиева и идеями, которые он уже получил, оказалось слишком привлекательным. Нельзя упускать из вида и то, что «настоящий мужчина» Гурджиев должен был казаться романтическому интеллектуалу Успенскому своего рода отцовской фигурой.

А как шестеро воспринимали Успенского? Об этом мы знаем только от Анны, и на каком-то этапе общения группы их роман подошел к концу. Почему это произошло, и как Успенский образовал союз с более внушительной Софьей Григорьевной, неясно. Но трудно не подозревать в описании Анной Успенского некоторой доли злости. Во всех описаниях он выглядит многословным, абстрактно мыслящим всезнайкой, которого Гурджиев прозвал «Доводит-мысль-до-конца» из-за навязчивой потребности собрать все нити разговора вместе. Как и многие другие заявления Анны, это нужно воспринимать с долей скептицизма. Но очевидно, что если Успенский гордился своим интеллектом и независимостью, то Гурджиев, стремясь продемонстрировать ему, что он такая же машина, как все остальные, стал бы постоянно по ним бить. Что он и делал.

Для Анны Успенский был весь во «внешних проявлениях». «За его квазинаучными фразами не было настоящего значения или глубокого смысла». Он делал шоу из всех знаний, которые так трудолюбиво собирал. «Имена лидеров, стран, философов, героев, мистических книг лились в его речи беспрестанно, как характерная лавина». Анна замечает, что, когда Успенский некоторое время говорил, Гурджиев смотрел на него с улыбкой. Можно представить, как он говорит: «Доводит-мысль-до-конца может продолжать еще долго». Однако что-то в рассказах Анны наводит на мысль, что это было нечто большее, чем простое стремление к точности. «У меня тоже очень хорошая память, и я могла цитировать все имена из книг, которые любил обсуждать Успенский», — убеждает она нас. Но «несмотря на всю его эрудицию... Успенский, как и все мы, все равно не обладал ключом» к «человеческой машине», который был у Гурджиева. Однако очевидно, что без Успенского она никогда бы этот ключ не нашла. Почему она хотела убедить нас, что он был не лучше ее, если только у нее не было подозрений, что на самом деле он действительно лучше?

Однако при всей своей демонстративной эрудиции Доводит-мысль-до-конца был движущей силой петербургской группы. Он задавал больше всего вопросов, поддерживал разговор и, скорее всего, говорил больше остальных, потому что ему было что сказать. Он организовывал лекции и встречи, знакомил новых и «лучше подготовленных» людей с идеями и выступал как крайне эффективный и поддерживаемый сильной мотивацией специалист по связям с общественностью. Он даже приложил все усилия, чтобы улестить Гурджиева, когда учитель выскочил со встречи, возмущенный тупостью своих учеников. По словам Анны, Успенский догнал Гурджиева на улице и умолял его не отказываться от своей паствы. Кокетство сработало, и на следующий день в «Филиппове» присмирившие Анна и Успенский ждали своего учителя в надежде, что он их простит.

По рассказам Анны, Гурджиев мог давить, сердить и диктаторствовать, но в то же время вести себя по-отцовски, таинственно и провоцирующее. Однако Борис Муравьев отмечает: «Можно без преувеличения сказать, что без Успенского карьера Гурджиева на Западе не вышла бы за пределы бесконечных разговоров в кафе» [8].

Пока же разговоры с Гурджиевым познакомили Успенского и других с новым и совершенно необычным взглядом на себя и мир. Обсуждения начинались со стандартной оккультной или мистической темы — астральное тело, бессмертие, реинкарнация. Хорошо подкованный в этих концепциях Гурджиев придавал им характерный поворот, который направлял разговор в сторону его работы. Такие оккультные мыслители, как Рудольф Штейнер, учили, что все люди обладают астральным телом, а Гурджиев утверждал, что мы должны его заработать. Бессмертие? Но о ком мы говорим? О человеке-машине, который ничего не может сделать? Как он может

надеяться стать бессмертным? Реинкарнация? Но что будет возрождаться? Может ли у машины быть душа? Если вы этого желаете, то должны работать, должны понимать свою машину и бороться с ней. У человека есть возможности, превосходящие все, что он может вообразить, но для того, чтобы их использовать, требуется огромное количество работы, боли и страданий. «Вот стоят позади вас многие годы неправильной и глупой жизни, потакания всякой слабости, закрывания глаз на собственные ошибки, стремления избежать всех неприятных истин, постоянной лжи самим себе, самооправданий, обвинения других и тому подобного» [9].

Эта доктрина не вселяла радости, однако Гурджиев как-то умудрялся в ней убеждать. Вырванная из контекста, она выглядит как старомодные огонь и сера. В контексте она означала нечто большее. Мир, который Гурджиев постепенно открывал Успенскому и остальным, был странной научно-фантастической Вселенной живых планет и странных сложных законов. Закон Семи, например, отвечал за непродолжение мира, за то, почему процесс, который начинается в одном направлении, может в итоге двигаться в направлении совершенно другом, к совершенно другим целям, и все равно считать, что движется к исходным. Закон Трех гласил, что для всех явлений нужно присутствие трех сил, а не двух, как считает традиционная наука. Оба закона связаны с обширной космической картиной, которую Гурджиев называл Лучом Творения, своего рода «лестницей бытия», тянущейся из непознаваемого Абсолюта до самого низкого уровня, расположенного на Луне. На диаграмме, которой Успенский позднее проиллюстрирует эту идею, Луч Творения напоминает ранние космологические схемы, отражавшие представление о Вселенной так называемых «эманационистов», в котором разные миры или уровни существования излучались центральным невоплощенным источником. Такие идеи встречаются в гностических, герметических и каббалистических идеологиях, и с ними всеми были знакомы и Гурджиев, и Успенский. Каждый уровень на этой огромной октаве ограничен рядом законов, необходимыми и непреодолимыми условиями его существования. Находящийся на Земле человек ограничен сорока восемью законами, всего на один уровень выше, чем на самом низком и самом ограниченном — на Луне, управляемой девятью шестью. Цель работы состояла в том, чтобы освободить человека от ограничений одного набора законов и поместить его в условия более высокого, менее ограниченного уровня. Никто не может быть свободен в абсолютном смысле, как говорил Гурджиев своим изумленным ученикам, но мы можем выбирать, какому набору законов подчиняться.

Но сделать это нелегко. Человек находится в шатком положении. Земля расположена в очень плохом месте Вселенной. Человек — это машина. Он в тюрьме. Он не может действовать. Он заключен в ловушку иллюзии, будто обладает именно тем, в стремление к чему на самом деле должен

вкладывать все свои силы: свободой воли, знаниями и сознанием. Главное — сознанием. Человек не обладает сознанием. Он не пробужден. Он на самом деле спит.

Эту ситуацию, как рассказывал Гурджиев своим ученикам, создала сама природа. Успенский уже размышлял о преобладании культуры варварства в современном мире, и до его встречи с Гурджиевым он считал, что варварству могут противостоять ценности высшего уровня. Гурджиев разоблачил его ошибку: все то, что Успенский считал более высоким, на самом деле всего лишь более сложная форма механичности. Вся человеческая деятельность контролируется необходимостью общественного порядка. Человеческие существа, как и вся органическая жизнь, на самом деле не более чем своего рода тонкая пленка, которая покрывает Землю, необходимая изоляция для передачи некоторых космических энергий, условие для неизбежного Луча Творения. Иллюзии, которыми живут люди, их идеи об «эволюции», «прогрессе» и «цивилизации» — это сон, гипнотические чары, поддерживаемые космическим порядком, чтобы наилучшим образом обработать эти энергии. Люди на самом деле — «пища для Луны», своего рода космическое удобрение, единственная цель которого — отдавать свои жизненные силы, чтобы Луч Творения продолжал расти. Их жизни, желания, надежды, мечты и идеалы сами по себе абсолютно ничего не значат.

Для человека, который считал, что жизнь — это ловушка, такие идеи были надежным подтверждением правоты. Конечно, Успенский уже отказался от обычных идей эволюции, прогресса и цивилизации, но отрицание их Гурджиевым было еще более абсолютным. Не было ни эволюции, ни прогресса, ни цивилизации, даже того редкого элитного вида, на который возлагал свои надежды Успенский. *«Нет никакого прогресса, — говорил ему Гурджиев. — Все остается таким же, каким было тысячи лет назад».* Человек — такой же, каким природа его сделала с самого начала. Цивилизация и культура ничего не значат. Насилие, рабство и красивые слова — вот реальность человеческой жизни. Успенский чувствовал то же самое, но Гурджиев исключительно активно настаивал на этой мысли. Вероятно, его слова произвели на Успенского глубокое впечатление. Однажды он увидел два больших грузовика со зловещим грузом: огромными ворохами новых деревянных костылей — знак подготовки к конечностям, которые еще не оторваны, результат «прогресса» «цивилизованных» наций, сцепившихся в абсурдной, но смертоносной войне. Эта картина, еще одна из «очевидных нелепиц», лучше, чем любые слова Гурджиева, донесла до него серьезность ситуации.

## Глава 9

---

# Ты себя не помнишь

Космология Гурджиева была новой и поразительной, а его психологические идеи — тем более. Трудно было, по крайней мере, поначалу, наблюдать и проверять такие идеи, как Закон Семи или Луч Творения. Но то, что Гурджиев рассказывал своим ученикам об их собственном разуме, их идентичности, их «Я», они могли испытать сами. Основной его темой была идея, что люди сделаны из двух частей, которые Гурджиев называл «личностью» и «сущностью» [1]. Сущность — это то, что является для человека *собственным*, сердцевина его «Я», данная при рождении, — его природные вкусы, предпочтения, радости и страхи. Вокруг нее появлялись со временем своего рода наросты: личность, которая состояла из всего, что человек приобретал от других в ходе образования, подражания, повторения или просто привычек. Большую часть времени личность состояла из лжи, фантазий и плохих привычек, и Гурджиев ставил своей целью пробиться через эти слои к сущности под ними. Сделать это было трудно, и приходилось немало пострадать. Как Гурджиев собирался это делать, видно из упражнения, которое он давал шестерым: их просили рассказать о самом плохом поступке, который они совершили. Анна вспоминает, как трудно это далось доктору Стернвалу. Всегда корректный, сдержанный, работающий врачом, то есть обладающий авторитетом и контролем, Стернвал теперь должен был показать себя в унижительном свете. Практически сразу Анна и остальные решили: что бы доктор им не рассказал, правдой это не будет. Он говорил абстрактно и безлично и рассказывал о событиях настолько отстраненно, что было ясно — он что-то скрывает. Стернвал какое-то время поерзал, а потом, получив от Гурджиева пронзительный взгляд, остановился. Поворачивая нож, Гурджиев заметил: «В следующий раз вы, доктор, будете искренни и вспомните эту ситуацию точно» [2].

Успенский не рассказывает, как он справился с этим испытанием, хотя упоминает, что с задачей поведать историю своей жизни все шестеро совершенно не справились. Такие тактики «групповой психотерапии» хорошо знакомы сейчас, в эру телевизионных ток-шоу и «смешного унижения», но для сдержанного аристократичного Успенского этот опыт должен был быть невыносим.

Тем не менее, Успенский сумел в полной мере ощутить свою сущность, когда даже после нескольких попыток Гурджиев не смог заставить его преодолеть нелюбовь к молоку [3]. Другое требование работы тоже могло показаться Успенскому сложным. Гурджиев убеждал их всех в необходимости не выражать отрицательные эмоции, что не равно тому, чтобы их не испытывать. Для человека, осознающего недостатки «деревянного мира», «истории преступлений» и «культуры варварства», не говорить об этих и десятках других мелких раздражителей, заражающих повседневную жизнь, должно было быть сложно. Разговор, подчеркивал Гурджиев, — это одно из самых механических действий, и, по рассказам Анны, он мог не раз направлять такие комментарии в сторону Доводит-мысль-до-конца.

Гурджиев умел убеждать, и когда он просил их понаблюдать за собой, увидеть свою механичность, убедить себя, что они спят, им приходилось признавать его правоту. Но как вырваться из тюрьмы? Как проснуться? Возможно ли не быть машиной?

Есть три традиционных пути достижения истинного сознания, рассказывал Гурджиев. Есть факир: физическими страданиями он заставляет свое тело подчиняться. Есть монах: религиозным поклонением он заставляет свои чувства следовать вере. И есть йог: прилежной учебой он заставляет свой разум понимать. Однако какими бы эффективными эти пути не были, они неполны. Разум и чувства факира остаются недоразвитыми, как и тело и разум монаха, как чувства и тело йога. Все три также страдают от недостатка, с которым столкнулся Успенский в ходе своих путешествий: необходимости пожертвовать своей текущей жизнью и посвятить себя пути целиком и полностью. Только немногие могли это сделать или захотеть сделать.

Мы действительно оказались бы в отчаянном положении, утверждал Гурджиев, если бы не было еще одного пути, мало кому известного и редко признаваемого. Это был Четвертый путь, также иногда называемый путем хитреца.

Хитрец, как говорил Гурджиев, знает секрет, который не знают факир, монах и йог. Откуда он узнал этот секрет — неизвестно. Может быть, нашел в старых книгах. Может быть, кто-то с ним поделился. Может быть, он его купил. Может быть, даже украл. Неважно. Хитрец обладает *знанием*, и благодаря ему он может достичь всего куда меньшей болью и гораздо быстрее, чем факир, монах или йог — возможно, просто выпив таблетку.

Четвертый путь отличается и в других аспектах. Во-первых, это единственный путь, который позволяет человеку оставаться в миру, в своей повседневной жизни. Нет необходимости все бросать и вступать в монастырь или уходить в пещеры Тибета. Непосредственные обстоятельства жизни человека обеспечивают наилучшую среду для следования Четвертому пути. В этом смысле этот путь самый «удобный».

Однако есть ловушка.

Для того, чтобы следовать Четвертому пути, нужно найти группу. Ничего нельзя добиться в одиночку, убеждал Гурджиев. Работая в одиночку, человек с самым ясным интеллектом, мотивацией и знаниями все равно оказывается жертвой лжи и иллюзий. Работая в одиночку, он не может уйти от механичности, от хватки того, что Гурджиев называл его «ложной личностью». Работа в одиночку — это на самом деле всего лишь другая форма сна.

Крайне независимому Успенскому, наверное, было трудно принять эту мысль. Однако он уже пришел к заключению, что в одиночку не продвигается в работе: именно поэтому он и занялся поисками школы. Теперь, найдя возможность учиться в школе, он знал, что должен согласиться на ее условия. Несмотря на всю его нелюбовь к группам, похоже, невозможно было не стать частью одной из них.

Более того. Для того чтобы группа работала эффективно, в ней нужен был учитель. В отличие от учеников, учитель — это человек, который *проснулся*. Он бежал из тюрьмы, преодолел свою механичность и может вывести других из ловушки. Но для того, чтобы освободиться, ученики должны отказаться от собственной воли, которая в любом случае оказывается иллюзорной, и полностью отдаться на волю учителя. Первый шаг — безоговорочно признать их абсолютное ничтожество; пока они этого не сделают, они будут считать, что имеют право на собственные идеи, собственные суждения, собственные взгляды на то, как должна проходить их работа над собой, а в этом случае сделать для них ничего нельзя. «Когда человек начинает работать над собой, — говорил Гурджиев, — он должен отказаться от собственных решений». Он больше не должен думать за себя. Это трудно для человека, который не осознал, что, подчиняясь другому, он ничего не теряет, потому что в реальности ему нечего терять. Сначала нужно понять, что он как таковой *не существует* и потому не должен бояться подчинять себя воле другого. Сознание собственной ничтожности, как внушал им Гурджиев, — это первый шаг на Четвертом пути.

Признание собственной ничтожности должно было быть сложным требованием. Успенский, который еще до Гурджиева сам был строжайшим критиком собственных недостатков, с большой вероятностью проглотил это с трудом. Однако разве ученики уже не попробовали это ощущение? Разве Анна не говорила Гурджиеву, что ее жизнь невыносима? Именно это чувство разочарования Гурджиев и искал в потенциальных иницилируемых. Когда Захаров привел к Гурджиеву композитора Томаса де Гартмана, еще одного искателя, Гурджиев спросил, почему тот просил о встрече. Был ли он недоволен своей жизнью? Это общее правило относилось ко всем, кто вступал на Четвертый путь: что-то где-то должно быть «неправильно», чего-то должно *не хватать*, и без этого жизнь становилась, как у Анны, невыносима.

Это отражалось в задачах человека, в причинах, почему он вступал на Четвертый путь, в цели, на которую он направлял все свои усилия. Успенский, что характерно, сказал Гурджиеву, что его цель — знать будущее. Человек, по его словам, должен знать, сколько ему остается времени. Не знать этого унижительно. Какой смысл начинать работу, если не представляешь, удастся ее завершить или нет?

Ответ Гурджиева был не менее характерным: узнать будущее просто. Оно будет в точности таким же, как прошлое, если сегодня человек не поработает над собой.

Возможно, для того, чтобы уравновесить настойчивое убеждение в их ничтожности, Гурджиев продемонстрировал Успенскому, как ведет себя сознающий человек. Вероятно, его демонстрация производила впечатление. Гурджиев был человеком, который все знал и все мог. Он рассказывал Успенскому о своей жизни, повествуя об Искателях истины и о своих путешествиях. Гурджиев снова не вдавался в подробности и уклончиво говорил о том, какие именно монастыри и тайные святилища посещал, и Успенский скоро заметил, что многое в рассказе Гурджиева было противоречивым и весьма сомнительным. Позднее он говорил собственным ученикам, что спрашивал об источниках учения по десять раз на дню, и каждый раз Гурджиев давал ему иной ответ. Успенский принял это, по крайней мере, временно: к Гурджиеву не применялись обычные стандарты правды. С ним ничего нельзя было принимать как должное, ни в чем нельзя было быть уверенным. То, что сегодня подтверждалось, завтра могло отрицаться. Однако он был исключительно способным человеком, умевшим играть самые разные роли. Например, существовал Гурджиев — торговец коврами. Увидев, что в Санкт-Петербурге спрос на экзотические ковры выше, чем в Москве, Гурджиев всегда приезжал со связкой ковров, которые, в зависимости от истории, он либо собрал в ходе своих путешествий, либо просто купил в Москве. В любом случае, он умел выбить за них лучшую цену, и Успенский видел, что Гурджиев не брезгует тем, чтобы использовать познания в человеческой психологии в свою пользу. Был Гурджиев — гурман и бонвиван. Гурджиев часто собирал своих петербургских учеников и угощал их роскошным ужином, покупая много еды и вина, хотя, по словам Успенского, сам Гурджиев к ним почти не прикасался. Позднее обеды или ужины с Гурджиевым стали легендарными, и ключевым их ингредиентом являлся «тост за дураков», под который пили крепкую водку. Успенский отмечал, что во время таких пиршеств у Гурджиева была возможность понаблюдать за своими учениками в другой обстановке, а напоить человека — известный с давних пор метод открыть его истинное «Я».

Гурджиев также обладал любопытной способностью создавать необычные психологические эффекты, отчасти в результате своей «игры».



Успенский наблюдал игру Гурджиева при первой же встрече. Эту черту замечали практически все, кто с ним сталкивался. Когда Томас де Гартман наконец добился встречи с Гурджиевым, она проходила, как и с Успенским, в очередном грязноватом кафе, возможно, еще худшем, чем то, которое пришлось посещать Успенскому. По крайней мере, по описанию Гурджиева в нем было «больше шлюх» [4]. Де Гартман также отмечает, что однажды Гурджиев велел Успенскому организовать беседу в «гостинной модной леди», но Успенский обнаружил, что на самом деле она проходила в публичной школе [5]. Эти и другие неожиданные выходы составляли репертуар «безумного гуру». Подобно удару по голове, которым дзенские монахи отвечали на «глубокие» вопросы, тактики Гурджиева направлялись на то, чтобы шокировать учеников и тем самым перевести их на новый уровень осознания. Они часто срабатывали, но, возможно, так же часто и не срабатывали. По крайней мере для Успенского, известного писателя и журналиста, который ставил свою репутацию на кон, выступая в качестве заместителя Гурджиева, такие игры порой были чрезмерными.

Однако он не мог отрицать познаний Гурджиева. И очень скоро Успенский обнаружил, что Гурджиев задал ему «совершенно новую задачу, с которой наука и философия до сих пор еще не сталкивались» [6]. «Ни один из вас не замечал, — говорил Гурджиев, — что *вы не помните себя*» [7]. Ни один из них, продолжал он, не чувствовал «Я» во всем, что они делали. Они не чувствовали себя, не осознавали себя — вариация на тему того, что они не существовали. Самовоспоминание было единственным средством преодолеть это отсутствие. Только в ходе самовоспоминания они могли постепенно развить постоянное чувство присутствия, «бытия здесь». И Гурджиев поощрял их пытаться помнить себя.

Успенский над этим работал. И вскоре он обнаружил, что хотя самовоспоминание — это странная новая идея, ощущения, которые вызывали его попытки помнить, были странно знакомы. Он обнаружил, что попытки помнить себя — испытывать четкое ощущение, что это *он* идет, это *он* делает, — останавливали его мысли. Сосредоточиваясь на ощущении «Я», он обнаруживал, что мало что может делать кроме этого. Такое ощущение было знакомо ему по ранним попыткам заняться некоторыми практиками йоги, описанными Эдвардом Карпентером в «От Адамова пика до Элефанты». Единственное отличие заключалось в том, что в самовоспоминании сознание разделялось: внимание распределялось между попытками остановить мысли и осознанием того, что ты это делаешь. Такое «двойное сознание» должно было быть знакомо Успенскому по его экспериментам с состоянием полусна.

Попытки самовоспоминания вызывали у Успенского «очень интересное состояние со странно знакомым привкусом» [8]. Он осознавал, что такие состояния возникают довольно часто, но мы их не понимаем.

Они возникают, например, в моменты кризиса, когда человеку приходится мыслить ясно; он видит и слышит себя объективно, «снаружи». Они также возникают во время путешествий, когда человек оказывается в новой или неожиданной обстановке, и внезапно возникает чувство: «Что? Я — и *здесь?*» Также Успенскому было очевидно, что его живые ранние воспоминания были на самом деле памятью о самовоспоминании. Наши обычные воспоминания — это абстрактные факты: я там был, я это делал и так далее. Живые воспоминания, которые приносит самовоспоминание, вовсе не абстрактны, они полны подробностей и жизни — это воспоминания того рода, которые использовал современник Успенского Пруст для своего огромного романа. Главной нелепицей жизни для Успенского было то, что мы так много забываем; для него самовоспоминание было большим открытием.

Во время попыток самовоспоминания Успенский испытывал переживания, очень похожие на результаты экспериментов с наркотиками. Блуждая по улицам Петербурга, он «чувствовал» дома и обнаруживал, что они «вполне живые». Он также оказывался в комических ситуациях. Успенский обнаружил, что на относительно тихих улочках его попытки обычно успешны. Решив проверить себя, он свернул на более людную улицу и вскоре начал ощущать «странное эмоциональное состояние внутреннего покоя и уверенности, которое вызывается большими усилиями такого рода» [9]. Он помнил, что поблизости находится знакомая табачная лавка, и, все еще помня себя, решил купить сигарет.

Два часа спустя он *проснулся* в другой части города. Он сидел в повозке *извозчика* и направлялся к своему типографу. У него было сильнейшее ощущение, что он только что проснулся. Между покупкой сигарет и «пробуждением» он выполнил ряд задач: сходил к себе в квартиру, поговорил с типографом, написал письма, решил не ходить в другое место и нанял извозчика — все это в состоянии «сна». Именно во время поездки на извозчике его охватило странное беспокойство. Затем он внезапно вспомнил, что забыл помнить себя.

Вот один из тех фактов, которые обещал Успенскому Гурджиев. Он говорил, что центральное состояние человеческого бытия — это сон, и до сих пор это было не более чем выразительной метафорой. Но теперь Успенский сам это видел. Гурджиев позднее разовьет мысль, рассказывая Успенскому и остальным, что в человеке есть четыре возможных состояния сознания, в противоположность двум, признаваемым традиционной наукой. Есть сон в его обыденном смысле, состояние, которое Успенский рассматривал во время экспериментов с полусном. Есть то, что называется бодрствованием, и что, как показал Гурджиев, на самом деле является другой формой сна. Есть это странное новое состояние самовоспоминания, краткие мгновения которого Успенский и другие начинали ощущать.

И есть то, что Гурджиев называл «объективным сознанием», вариация космического сознания, которую Успенский уже ощутил во время экспериментов с веселящим газом. Мистики многократно описывали это редкое состояние, но о третьем состоянии, самовоспоминании, информации было мало. Однако это состояние было ключом для всех остальных. Без него человек ничего не мог добиться и проводил бы всю свою жизнь в снах и иллюзиях. Годами Успенский искал метод, дисциплину, которая поможет ему и другим стать сверхчеловеком. Казалось, что теперь он нашел то, что искал.

## Глава 10

---

### «Я» и Успенский

Хотя Успенский уже был убежден, что Гурджиев как-то получил тайное знание, его работа с самовоспоминанием стала первым конкретным доказательством того, что Гурджиев действительно мог выполнить свое обещание и дать ему «факты». Он должен бы быть счастлив. Но это доказательство только усилило пессимизм, которым сопровождалось его вступление в этот странный новый мир. Если, как демонстрировали его попытки, он не помнил себя, то остальное учение Гурджиева становилось еще более убедительным. Лекции по космологии продолжались, и Успенского особенно завораживала странная система внутренней химии, своего рода современная алхимия, в которой использовались вещества, именуемые Гурджиев «Водородом», «Углеродом», «Азотом» и «Кислородом», но которые как будто не имели никакого отношения к обычным химическим веществам, называвшимся аналогично. Гурджиев говорил о впечатлениях как форме питания, вместе с пищей и воздухом. Он объяснял, как приложение усилий для обретения сознания *меняет* наши впечатления, и как это изменение вызывает шок, который позволяет нам превратить грубые вещества в тонкие материалы. Со временем, после долгой работы, эти тонкие материалы накапливаются, и с их помощью можно привлечь еще более тонкие вещества, из которых получить энергию для самотрансформации.

Для Успенского все это было логично. Он уже испытывал изменение в своих впечатлениях, когда, попытавшись помнить себя, ходил по улицам Петербурга и чувствовал, что дома живые. Конечно, его яркие детские воспоминания отражали моменты, в которых его впечатления были особенно сильны. Таблица Водородов, которую предлагал Гурджиев, напомнила ему о впечатлениях, полученных под действием веселящего газа. Тогда он увидел, что Вселенная — это, в сущности, выражение основополагающих математических законов. Водороды Гурджиева, его Луч Творения, Закон Октав и многое другое как будто это подтверждали. Откуда бы она ни взялась, система Гурджиева обладала внутренней логикой и стройностью, которые постоянно производили на Успенского впечатление.

Однако в дальнейшем шестеро и другие посетители квартиры Успенского — где проводились многие беседы с Гурджиевым — все больше осознавали, какие препятствия стоят перед ними. Пробуждение приноси-

ло много наград, но самый первый шаг к обретению сознания требовал огромной жертвы. Им, в сущности, приходилось пожертвовать собой, отказать от мысли, что они обладают какой-то способностью думать, выбирать, действовать, желать или решать за себя. «Пробудиться, — говорил им Гурджиев, — значит осознать свою полную и абсолютную механичность и свою полную и абсолютную беспомощность» [1]. Годы спустя в Париже Гурджиев внушал своим ученикам, что они *merde de la merde*, дерьмовое дерьмо. В Санкт-Петербурге он использовал не такой грубый язык, но намерение было тем же. Гурджиев вбивал эту мысль в головы с практически одержимой настойчивостью. Необходимо было проникнуться убежденностью в своей абсолютной ничтожности, говорил он, потому что только так можно победить страх перед тем, чтобы полностью передать себя чужой воле. Необходимо передать власть над собой другому, потому что, разрушая все иллюзии, ложь и фальсификации, среди которых человек до сих пор жил, — Гурджиев называл их буферами, — он оказывается совершенно беспомощным и бессильным. Это состояние полной дезориентации, и худшее, что может случиться с человеком, — он поверит в свою силу действовать, думать или решать. Он должен освободиться от этих иллюзий. Он должен, в сущности, превратить себя в двух людей, вызвать своего рода добровольную шизофрению, в которой он будет «Я», своим настоящим «Я», и *другим*, который на самом деле не является им, а представляет собой автомат, состоящий из его механических привычек и поведения. Успенский, например, должен был стать «Я» и «Успенским».

В этом случае «Я» было слабым, безвольным, пассивным и полностью находилось в хватке механического, спящего, забывчивого «Успенского». Он должен освободиться от «Успенского», но поскольку он слаб и бессилён, то не может — если ему не поможет другой человек. Этот другой человек, учитель, бодрствует и может отличить Успенского, который «Успенский», от его настоящего «Я». Сам Успенский никогда не поймет разницу — по крайней мере, до тех пор, пока не избавится от своей ложной личности и иллюзий о воле и остальных фантастических силах, которыми он якобы обладает. «Это очень серьезный этап в работе, — внушал им Гурджиев. — Человек, который в этот момент теряет направление, потом больше никогда его не найдет» [2].

Если Успенскому казалось, что все это скрытая пропаганда, адресованная непосредственно ему, он не ошибался. Хотя из шестерых он по-прежнему был самым опытным, у него же было самое сильное сопротивление. Анна, с ее ощущением, что жизнь невыносима, скорее всего, приветствовала возможность избавиться от ноши ответственности за себя. Доктор Стернвал, для которого Гурджиев был равен Христу, наверное, чувствовал примерно то же самое. Многие искавшие учителя делали это именно по таким причинам. Но не Успенский. От учителя он хотел знаний, а не свободы от себя. Он уже испытал чувство такой свободы в своей

любви к знаниям и в их поисках. Именно этого Гурджиев в Успенском и не видел. И даже если видел, наверное, это мало изменило бы ситуацию. Гурджиев был не способен поддерживать отношения ни с кем, если только не властвовал над ними так или иначе. Возможно, он считал, что это властвование идет им во благо. Но оно мешало ему принять то, что у людей может быть реальное чувство собственной ценности. В любом случае, у Гурджиева, по-видимому, была потребность стимулировать в других чувство собственной ничтожности. «Если человек не приводит сам себя в ужас, он ничего о себе не знает» [3]. Гурджиев делал все, что мог, чтобы привести Успенского в ужас от самого себя.

Во-первых, он старался произвести на Успенского впечатление, что его уважение к себе как писателю ничего не стоит. «Можно думать тысячи лет, — говорил он ему, — можно написать целые библиотеки книг, создавать миллионы теорий, и все это делать во сне, без возможности пробуждения» [4]. На самом деле все эти книги и теории только помогают усыплять других людей. Все эти «знания» бесполезны, от них нужно избавляться. Для того чтобы расставить точки над «i», Гурджиев прочитал лекцию о разных космосах, которые составляют Вселенную. Он рассказывал группе, что всего их семь, от Протокосмоса, космоса Абсолюта, до Микрокосмоса, под которым обычно подразумевался человек, но в системе Гурджиева это был атом. Успенский знал практически все космологические теории, существовавшие в то время, и странная перемена его удивила. Его поразило то, что семь космосов Гурджиева практически идентичны системе, которую он развивал сам и обсуждал с Гурджиевым. Это было, по его словам, не просто «совпадение деталей», а «абсолютная идентичность» [5]. Успенский никогда не слышал о семи космосах раньше, но его «период измерений» в точности с ними совпадал.

Когда он упомянул об этом Гурджиеву, учитель просто пожал плечами. Затем он стал больше говорить о космосах, цитируя длинные отрывки из работ Успенского без ссылки на источник. Когда Успенского попросили высказать свою точку зрения, он безупречно изложил собственные теории измерений. Словно для того, чтобы подкинуть ученику конфетку, Гурджиев заметил, что в сказанном им есть здравая мысль, но ее нужно развивать. Наверное, трудно было принять такое от человека, который только что занимался плагиатом; если кто и развивал эти идеи, то это был Успенский. Эта ситуация сильно его задела. Главное — он обнаружил, что не может писать.

Гурджиев продолжал убеждать их всех в трудности их положения. Для того чтобы сделать его очевидным, он рассказал басню, восточную сказку о маге и его овцах. Маг хотел сделать так, чтобы овцы не убежали, но не хотел тратить на это деньги. Овцы знали, что магу нужны их мясо и шкуры, и пользовались любой возможностью, чтобы убежать. Магу пришла в голову блестящая идея: он загипнотизировал овец, сказал им, что любит

их и не причинит им вреда, а для того, чтобы они не пытались убежать, убедил, что они вообще не овцы. Он сказал, что они — львы, орлы, люди, даже маги. Так они были счастливы и не думали о побеге. Тем временем маг по необходимости убивал их по одной и ел.

Это, как говорил Гурджиев своей пастве, «очень хорошая иллюстрация положения человека», загипнотизированного окружающими его силами.

Учитывая его замечания о теософах, можно представить, что об этом думал Успенский. Одно странно: никто не спросил, не был ли сам Гурджиев магом из этой истории. Он как будто на это намекал. Говоря об опасностях черной магии, Гурджиев сказал, что черный маг — это тот, кто заволакивает своих учеников, играя на их слабостях. Черный маг использует людей «для некоторых, даже благих, целей, *без их знания и понимания*, либо вызывая в них веру и влюбленность, либо воздействуя на них страхом» [6]. Черный маг был одним из центральных персонажей «балета» Гурджиева (который к тому времени еще не был поставлен). И трудно не видеть элементы влюбленности в том, как его ученики описывают замечательные силы Гурджиева, его способность *делать*, его глаза, которые «смотрели прямо сквозь тебя». Также трудно не видеть определенную долю страха во всем, что Гурджиев рассказывал им об опасностях сна: он по-своему «внушал им страх перед Господом», когда убеждал, что им нужно прийти в ужас от самих себя, прежде чем они начнут над собой работать. Будет ли слишком смело предполагать, что Гурджиев предупреждал их о том, что представляет он сам? Говоря об отношениях между учителем и учеником, Гурджиев ясно дал понять, что «ученик никогда не видит уровня учителя» [7]. И у учителя есть цель, о которой «те, кто начинает работать... не имеют ни малейшего представления, и которую никогда не получится им объяснить» [8].

Цель Гурджиева всегда оставалась тайной. «Конечно, у меня есть собственная цель, — сказал он Успенскому. — Но вы должны позволить мне молчать о ней» [9]. Однако во время лекции о Четвертом пути Гурджиев заметил, что «никто не может взойти на более высокую ступень, пока не поместит другого человека на свое место» [10]. Готовили ли Успенского на это место? Если так, то для того, чтобы продолжать собственное развитие, Гурджиеву нужно было привести Успенского в состояние, которое послужит его целям. Говоря о «трех направлениях работы», Гурджиев сказал группе, что они могут быть полезны для работы и могут быть полезны для себя, но также могут быть полезны *для него*. В чем полезны? Несомненно, Гурджиев больше контролировал свои силы и самого себя, а также лучше понимал человеческую психологию в ходе работы с группой. Гурджиев говорил им, что хотя учитель необходим ученику, ученик также необходим учителю. Сам Успенский позднее обнаружил, что в ходе преподавания системы другим он открывал для себя «новые возможности» [11], новое понимание и восприятие. Но возможно, в случае Успенского под

«полезностью» подразумевалось что-то еще. Возможно, Успенский мог быть полезен Гурджиеву тем, что занял бы его место.

А если бы Успенский решил этого не делать? В лекциях Гурджиева того времени уделялось много внимания судьбе тех, кто приступал к работе, а затем оставлял ее. Борьба с ложным «Я» — с «Успенским» в данном случае — была самой важной частью работы. Роль учителя в ней состояла в том, чтобы ставить определенные барьеры, которые ученику нужно было преодолеть. Сначала они невелики, но со временем от него требуется все больше. Наконец наступает момент, когда он больше не может вернуться к жизни, ко сну, но еще не пробудился. Перед ним ставится сложный барьер, и он не может его преодолеть. Тогда он способен «обратиться против работы, учителя и других членов группы» [12]. Он может раскаться и признать вину за собой, но потом передумывает и снова обращается против учителя. «Ничто, — говорил им Гурджиев, — не показывает человека лучше, чем его отношение к работе и учителю *после того, как он их оставил*» [13]. Иногда его могут заставить сделать это намеренно; он может оказаться в таком положении, что *обязан* уйти по веской причине. После этого смотрят, как он будет реагировать. Обычно в таких случаях ушедший обращается против работы. Когда ученик спросил Гурджиева, что происходит с такими людьми, тот ответил: «Ничего». Нет нужды в том, чтобы что-нибудь происходило. Они сами себе служат наказанием. Как говорили отцы-инквизиторы в давние времена, «нет спасения вне лона Церкви».

Насколько Успенский впитывал это учение, неизвестно. Однако его все больше разочаровывали собственные достижения. В чем-то он изменился. Когда он вспоминал о своей первой встрече с Гурджиевым, то понимал, насколько глупыми были его вопросы, как мало он понимал и как мало мог понять то, что ему открывалось. Теперь при встречах с московской группой Гурджиева они не казались ему искусственными или фальшивыми. Напротив, он ждал встреч и возможности обмениваться с ними идеями и открытиями. Как ни странно, именно он вместе с остальными казался теперь искусственным и фальшивым его друзьям. Гурджиев поставил им задачу говорить с друзьями о работе, и все они удивились результату: никто из их друзей не понимал, что они в ней находили. Даже Волынский, которого Успенский высоко ценил, не мог найти ничего важного в самовоспоминании. Большинству из них идеи системы казались в чем-то отвратительными. И они также обнаружили, что их друзья, занимающиеся работой, *изменились*. Они стали не такими интересными, им не хватало спонтанности, они больше не думали самостоятельно, они повторяли все, что слышали от Гурджиева. Они становились эдакими *машинами*. Успенский посчитал это признаком того, что он и остальные перестали «лгать». Он также ощущал, как слабеет уверенность в себе, которую он испытывал при первой встрече с Гурджиевым. Отчасти это компенсировалось чувством удовлетво-



ренности собой, которое он разделял с шестерыми, когда они посещали встречи новых учеников. Слыша те же наивные вопросы и видя то же непонимание, они убеждались, что как минимум с этого этапа уже сдвинулись.

Но Успенский не был удовлетворен. Он хотел больше «фактов». Несмотря на все его усилия, он не мог помнить себя больше нескольких минут за раз. Как и при экспериментах с веселящим газом, он чувствовал, что достиг чего-то, а потом достижение испарялось. Оставался только сон. Усилия, прикладываемые к другим задачам, тоже были тщетными. Он больше не понимал, что они делают или что хочет Гурджиев.

Как обычно, его разочарование выразилось в раздражении, и, конечно, Гурджиев это заметил.

Позднее, когда двое сидели в ресторане, Гурджиев спросил, что не так. Успенский почти обиженно объяснил. Он чувствовал, что никуда не движется. Он больше не понимал, куда они двигаются, а сам Гурджиев никогда не отвечал на вопросы.

Гурджиев просил его проявить терпение, но Успенский только ворчал. Тогда Гурджиев предложил ответить на любой вопрос, который он хочет задать.

Успенский спросил о вечном повторении. Гурджиев объяснил, что, как и в случае «периода измерений», идеи Успенского о повторении, хотя и близки к истине, не были *полной* истиной. Однако он был к ней близок, и если бы он понимал причины, по которым Гурджиев не говорит об этом больше, то оказался бы еще ближе. Но главное — зачем знать, существует ли повторение или нет, если человек не меняется сейчас, в этой жизни?

Успенский задавал больше вопросов, и Гурджиев продолжал. Он напомнил Успенскому, что «возможности для *всего* существуют лишь ограниченное время», — послание, которое, возможно, было адресовано именно ему.

Сказанное Гурджиевым произвело на Успенского впечатление, и его раздражение незаметно рассеялось. О многом из рассказанного Гурджиевым он и сам уже догадывался, и то, что Гурджиев признавал его идеи, очень ободряло. Он начал видеть очертания обширной метафизической системы.

Затем он посмотрел на Гурджиева. Тот улыбался.

«Видишь, как легко тебя *обратить*», — сказал ему учитель. Может быть, нет никакого повторения? Обедать с мрачным Успенским было неинтересно, поэтому Гурджиев решил его подбодрить. Успенский хотел ответов? Я ему дам ответы. Несомненно, он спросит о повторении, это его хобби. Теперь у Успенского есть ответ, и он развеселился.

Успенский не мог поверить, что Гурджиев просто выдумал то, что сейчас ему рассказал. Он снова играл. Позднее Успенский почувствовал, что был прав, потому что Гурджиев включил идею повторения в свои лекции. Однако даже тогда он использовал повторение, чтобы подчеркнуть потерянные возможности людей, которые приходили к работе — а затем *покидали ее*.

## Глава 11

---

### Чудо

К августу 1916 года прошло больше года со дня знакомства Успенского и Гурджиева, и Успенский был готов к новым «фактам». Если он еще не принял мысль о собственной ничтожности, то, по крайней мере, сильно к ней приблизился. Вечное повторение было хобби. Его идеи о четвертом измерении ничего не стоили. Он спал. Очевидно было его увлечение системой, но что-то в нем все еще сопротивлялось тому, чтобы полностью поддаться ей. Гурджиев, судя по всему, был намерен сломать Успенского, и возможно, что замечательные переживания, которые ему предстояли, были направлены именно на это.

Подгоняемый ощущением, что времени осталось мало, Успенский добавил собственные упражнения к строгому режиму Гурджиева. Его собственное чувство неудачи в сочетании с растущей мрачностью по поводу войны подталкивало его к действию. Он начал серию интенсивных постов, целью которых было встряхнуть его организм. Одновременно с ними он практиковал некоторые дыхательные техники, которые уже довольно успешно использовал раньше, чтобы сосредоточить внимание. Одной из них, «молитве ума», форме внутреннего повторения, он позднее будет учить своих учеников.

В сочетании с беседами и встречами с Гурджиевым эти практики подерживали Успенского в состоянии необычного напряжения, которое, видимо, было необходимо для чудесного.

Группа снова собралась в Финляндии, в доме мадам Максимович, в том самом месте, где доктор Стернвал говорил о Гурджиеве как о Христе. Успенский находился в очень нервном состоянии, у него кружилась голова, и он с трудом держался на ногах из-за постов и медитаций. В тот вечер Гурджиев говорил о неспособности его учеников рассказать историю своей жизни. Успенский говорит, что он был резким и саркастичным, провоцировал их, дразня за слабость и трусость. Затем Гурджиев рассказал всей группе то, что Успенский поведал ему про доктора Стернвала по секрету. Для Успенского этот момент был унизителен: он всегда критиковал других за сплетни. Однако именно в тот момент Гурджиев действительно переступил границы, и из этой ситуации очевидно, насколько он не понимал Успенского. Успенский доверял Гурджиеву; такт и умение

хранить тайны были для него важными ценностями. Его преданность работе не подвергалась сомнению. Его не нужно было проверять, и в любом случае Успенский уже обладал значительной долей внутренней свободы, на достижение которой была направлена работа. Гурджиев все это проигнорировал. Он доводил Успенского до края, создавая обстоятельства, в которых тот наконец поддается или вынужден будет оставить работу.

Что чувствовал Успенский в тот момент, неясно; его замечание, что это был «неприятный» опыт, — явное преуменьшение. В сочетании с и так крайне нестабильным состоянием можно предположить, что в тот момент он был крайне подвержен влиянию.

Позднее в тот же вечер Гурджиев позвал Успенского, Стернвала и Захарова присоединиться к нему в отдельной комнате. Он начал показывать им позы, позиции и жесты. Все это мог бы сделать обычный гимнаст; даже Успенский, который не претендовал на атлетизм, легко мог их повторить. Гурджиев что-то объяснил и перешел к трудностям, которые они испытывали, рассказывая историю своих жизней.

Именно тогда, рассказывает Успенский, произошло чудо.

Он говорит, что Гурджиев его не гипнотизировал и не давал никаких наркотиков — по крайней мере, добавляет он, никакими известными ему методами.

Чудо началось с того, что Успенский *услышал мысли Гурджиева*. Сидя на деревянном полу, Гурджиев начал говорить об их «главном качестве», центральной характеристике личности, вокруг которой вращались все обманы и иллюзии. Им невозможно было рассказать правду, говорил он, и Успенского это беспокоило. Затем среди слов, которые говорил Гурджиев, Успенский услышал *другие* слова, предназначенные для него одного. Они не произносились: они были мыслями Гурджиева. Успенский «поймал» одно из этих слов и ответил на него вслух. Гурджиев кивнул и сделал паузу. Затем Успенский «услышал» другую мысль. На этот раз вопрос. Снова он ответил вслух.

Гурджиев повернулся к другим и спросил, почему Успенский заговорил.

Последовало больше вопросов, сложнее предыдущих, и пока Успенский отвечал на них, доктор Стернвал и Захаров в изумлении наблюдали. Это продолжалось около получаса. Наконец Гурджиев дал Успенскому определенные задания, которые тот должен был выполнить или оставить работу.

Успенский ответил, что сделает все, что просит Гурджиев. Он был полностью предан делу.

Гурджиев сказал нечто, что произвело на Успенского сильное впечатление, и он ушел в лес, весь охваченный необычными мыслями и чувствами. Он блуждал там часами, сражаясь с тем, что сказал ему Гурджиев. Он решил, что Гурджиев прав: то, что он считал в себе непоколебимым, на самом деле не существует. Но было и что-то еще, новая сила, о которой он раньше не

знал. Он знал, что Гурджиев просто отмахнется от нее, но для него она была несомненна. Можно предположить, что об этом он Гурджиеву не говорил.

Некоторое время спустя он вернулся в дом и, думая, что остальная часть группы легла спать, тоже отправился в постель. Вскоре он почувствовал странное беспокойство. У него ускорился пульс, и он снова услышал голос Гурджиева у себя в груди. На этот раз он отвечал не вслух, а мысленно. Успенский попытался найти какой-нибудь способ подтвердить, что происходящее ему не снится. В конце концов, он и раньше слышал голоса — во время экспериментов со сновидениями и веселящим газом. Очевидно, что он был предрасположен к этому феномену и, как он сам признает, в то время находился в крайне нестабильном состоянии. «Пародирование», которое так поражало его в сновидениях, могло «функционировать в состоянии бодрствования, когда человек погружается в себя или отделяет себя от непосредственного влияния жизни» [1]. Вероятно, посты и медитация, колкости Гурджиева и то, что они находились в изолированном деревенском доме, соответствовало этим условиям.

Успенский признает, что это могло быть сном наяву. Он не смог найти ничего, что доказало бы, что он действительно «разговаривает» с Гурджиевым. Но ощущение было сильным.

Затем что-то, что сказал Гурджиев, напугало Успенского. Его как будто парализовало, он начал дрожать и, несмотря на приложенные огромные усилия, не смог ответить [2]. Он попросил Гурджиева подождать. Но Гурджиев сказал, что устал, и велел ему спать.

На следующее утро чудо продолжалось. Когда Успенский увидел Гурджиева и еще нескольких человек из группы, Гурджиев попросил одного из них спросить у Успенского, что произошло прошлой ночью. Его легкомысленная манера не понравилась Успенскому, и он ушел. Даже чудо как будто не сочли заслуживающим внимания. Но затем он снова услышал внутри голос Гурджиева, велевший ему остановиться. Гурджиев попросил его сесть. Успенский вернулся и сел, но не хотел разговаривать. Его охватила необычайная ясность мысли, и он решил сосредоточиться на некоторых сложных аспектах системы. Он сосредоточился на проблеме, касающейся Луча Творения. Но затем Гурджиев повернулся к нему и сказал: «Брось это».

«До этого еще далеко», — сказал он и посоветовал Успенскому сосредоточиться на своей личной работе.

Очевидно, Гурджиев прочитал его мысли.

В следующие три дня Успенский находился в необычном состоянии. Его охватывали сильные эмоции, и вскоре они стали невыносимыми.

Он спросил Гурджиева, как можно избавиться от этой ноши, но Гурджиев поинтересовался, хочет ли он «уснуть». Когда Успенский ответил отрицательно, Гурджиев сказал, что теперь он наконец достиг состояния, ради которого работал. Он пробудился.

Успенский не был уверен, что это так. Он понимал, что кажется другим странным. Его слова часто не имели отношения к реальности, и позднее ему оказалось трудно вспомнить большую часть сказанного.

Гурджиев отправился в Москву, и, проводив его, Успенский сел на поезд в Санкт-Петербург. Во время поездки он «видел» Гурджиева в своем купе и снова побеседовал с ним. А по возвращении в Санкт-Петербург Успенский несколько недель оставался в странном состоянии, в котором видел «спящих людей». Идя по Троицкой улице, он увидел, как ему навстречу идет «спящий» человек. Успенский рассказывал, что видел, как сны двигаются по его лицу подобно облакам. Успенский считал, что если будет достаточно долго на него смотреть, то, наверное, даже увидит, что ему снится. Мимо прошли другие спящие люди, и Успенский осознал, что если делает попытку помнить себя, то ощущения усиливаются. И он обнаружил, что перестает видеть спящих людей из-за того, что засыпает сам.

Успенский не знал, что именно произошло в то время, но был убежден, что видит то, что никогда не видел раньше. Казалось, что он собрал факты. Он был также убежден, что тип переживаний, которые он испытал, явления «высшего порядка», как он их называл, можно изучать и исследовать *только* в том необычном эмоциональном состоянии, в котором он находился. Вот почему все попытки изучать сверхъестественное, используя обычные научные методы, обязательно проваливаются — эти условия исключают то самое состояние, которое необходимо для возникновения явлений [3]. Успенский также получил ряд откровений о самом себе. После чуда он чувствовал, как его яростная независимость и индивидуализм слабеют, и он начал ощущать большее единство с другими — результат сильнейших эмоций, которые он испытал. Он также осознавал, что есть эзотерический принцип против использования насилия «для достижения любой ценой». Жестокие методы даже ради высочайших целей будут, как он видел, приносить отрицательные результаты.

Когда в мире гремела война, это открытие оказалось более чем своевременным. Однако оно могло быть также замаскированной критикой методов его учителя.

Одна из первых тем, на которую заговорил Гурджиев, когда вернулся в Санкт-Петербург, была его идея главного качества (или главного недостатка). В некоторых, по его словам, это главное качество настолько тесно переплеталось со всем остальным, что им приходилось считать *самих себя* своим главным качеством. Это относилось к «Успенскому», то есть, по сути, означало, что Успенскому нужно избавиться от «Успенского» — совершить своего рода самоубийство [4]. Гурджиев говорил о необходимости «умереть», чтобы возродиться: это стало результатом полного признания человеческого ничтожества. Также Гурджиев добавлял, что невозможно ошибиться в определении главного качества, любое несогласие по

этому поводу говорит лишь о том, что он прав, — тем самым объявляя эту идею не подлежащей критике. Одно из преимуществ уничтожения своего главного качества, говорил Гурджиев, заключалось в том, что после этого человек обретает способность производить на людей любое впечатление, какое захочет, — талант, которым он явно обладал сам.

Вскоре после этого Гурджиев объявил, что настало время всем решать, что они хотят делать. Работа должна была сменить направление, и с этих пор он будет требовать абсолютной преданности делу. Он был готов продолжать работать только с теми, кто мог помочь ему достичь его цели — которой никто до сих пор не знал — а это, конечно, означало только тех, кто твердо решил проснуться. Два человека из группы ушли. Выглядело это так, словно они загадочным образом передумали. В частности, они объявляли, что сам Гурджиев изменился, и что они больше не могут ему доверять. Это отношение удивило Успенского, но вскоре он сам ближе с ним познакомился.

Успенский поехал навестить Гурджиева в Москву. Маленькие апартаменты на Большой Дмитровке были покрыты восточными коврами. Эта обстановка была знакома принцу Озаю, и, окруженный ею, Успенский ощутил странную атмосферу. В тишине, которую поддерживали Гурджиев и его ученики, по его словам, никто не мог *лгать*. Любой новичок, попав в это святилище, вскоре ощущал давление покоя и начинал говорить. И почти немедленно становилось ясно, что он лжет. Успенский даже пригласил познакомиться с Гурджиевым старого друга, журналиста, что привело к неожиданным результатам. Гурджиев накрыл для гостя прекрасный стол. Друг Успенского сел рядом с учителем и, несколько мгновений потерпев в тишине, начал говорить. Он говорил без остановки в течение всего обеда, без единого слова от остальных. Несколько часов спустя он поблагодарил Гурджиева за замечательную «беседу» и ушел. Успенский расстроился за друга. Гурджиев выставил его дураком. Но снова казалось, что его вера в нашу механичность оправдана.

У самого Успенского состоялся интересный разговор с Гурджиевым. Гурджиев спросил Успенского, что, по его мнению, самое важное из всего, что он узнал с начала работы. Успенский ответил, что это, очевидно, чудо. Если он мог вызывать это состояние по своей воле, то и остальные могли ему последовать. Конечно, он знал, что чудо зависит от странного эмоционального состояния, в которое он погрузился. Но он чувствовал, что далек от того, чтобы его достичь, и спросил Гурджиева, как это можно сделать.

Это состояние, сказал Гурджиев, может прийти само, случайно. Или же *он* мог его вызвать. Но если Успенский хотел вызвать его самостоятельно, нужно было одно: жертва. А самой трудной жертвой, которую можно принести, было страдание человека.

Что об этом думал Успенский — неизвестно.

## Глава 12

---

# Ноев ковчег

Гурджиев вернулся в Санкт-Петербург, и лекции продолжились. К этому времени Успенский переехал в новую квартиру на Троицкой улице, все еще поблизости от Невского проспекта. Здесь новых рекрутов обучали основам системы Гурджиева. Когда в конце 1916 года приехал Томас де Гартман, он увидел Успенского одетым в солдатскую униформу. Успенского призвали в армию в качестве сапера, но демобилизовали из-за плохого зрения, о котором свидетельствовало пенсне. Де Гартман нашел Успенского «простым, вежливым, приятным и интеллигентным» [1]. Очевидно, он производил сильное впечатление. Еще больше де Гартмана впечатлила легкость, с которой Успенский излагал сложную космологию Гурджиева. Перед отъездом Успенский подарил де Гартману экземпляр «Проблесков истины».

Вернувшись домой, де Гартман показал рукопись жене. Ольгу де Гартман поразило прочитанное, и она выразила сильное желание встретиться с Гурджиевым.

В феврале 1917 года это желание реализовалось. В ходе своего последнего визита в Санкт-Петербург Гурджиев проводил беседу в квартире Успенского. В восемь тридцать тем вечером 9 февраля Ольга и Томас де Гартман были среди членов группы, сидевшей перед диваном в маленькой гостиной Успенского. Всего было около пятнадцати человек. Доктор Стернвал предложил задавать вопросы и напомнил всем о теме предыдущего собрания: что мешает саморазвитию?

Внезапно в комнату вошел человек «восточной внешности», «как черная пантера» [2]. Он сел на диван, скрестив ноги, и спросил, о чем говорит группа. Стернвал стал зачитывать список препятствий «на пути», и Гурджиев остановил его на пункте «любовь». Затем он начал импровизированную лекцию о разных типах любви — тема, которую А. Р. Ораж позже разовьет в знаменитое эссе. Ольга волновалась, что стремление Томаса найти учителя разделит их — он уже экспериментировал с несколькими — и слова Гурджиева ее обнадежили. Как часто бывало, она чувствовала, что он говорит «только для нее». Даже не глядя на него, она чувствовала на себе его взгляд. Позднее в тот же вечер, во время балльных танцев, гости выглядели «как марионетки», и, подобно Успенскому, она

чувствовала, что «что-то ударило [ее] в грудь» [3]. При следующей встрече с Гурджиевым, прежде чем она успела что-нибудь сказать, он спросил, что она чувствовала, когда ушла домой в тот первый вечер. Она рассказала ему про марионеток, и он обрадовался.

Вскоре после этого де Гартману, которого мобилизовали, как и Успенского, нужно было отправляться на фронт. Дни петербургской группы подходили к концу. В следующий раз де Гартманы увидят Гурджиева в Ессентуках, в нескольких сотнях миль, среди Кавказских гор южной России.

Санкт-Петербург был тогда на грани падения. Гурджиев должен был чувствовать это, как и все остальные, и возможно, именно поэтому он требовал от своих учеников большей преданности работе. Времени было мало. Возможности для всего, в том числе и для работы, были ограничены. Эмиссары Внутреннего круга, эзотерической сердцевины человечества, которые, как считал Успенский, управляли судьбой цивилизации, позволили этому знанию попасть к некоторым людям. После этого все было в их руках. Не было никаких гарантий: возможности могли исчезнуть так же быстро, как появлялись. Примерно в то же время Успенский и остальная группа стали говорить о Ноевом ковчеге, который для них являлся аллегорией эзотерического знания. Успенский соглашался, но думал, что у всего этого должно быть более непосредственное применение. К ним приближался потоп, и имя ему было — революция.

Повсюду шли забастовки. Не было поездов, газет, электричества. Война пошла плохо. Скверно снаряженные войска вырезались миллионами, а стратегией царя было отправлять на замену новые. Многие считали, что царица, немка по происхождению, хотела, чтобы выиграла ее родная страна. К концу 1916 года Распутин убил князь Феликс Юсупов. Распутин оставил жуткое предсказание, что, если его убьет представитель аристократии, монархия падет. Так и случилось. К марту в Санкт-Петербурге начались восстания, многие войска бунтовали; одна группа даже угрожала де Гартману, который был офицером. Как замечает Успенский, приближались большие события. Он думал, что ничто не демонстрировало истинность учения Гурджиева лучше, чем приближавшиеся необычайные дни. Теперь ему было очевидно, что *все случилось, и никто это не контролировал*. По крайней мере до тех пор, пока царь не отрекся от престола, а Керенский не арестовал царскую семью и не объявил о создании Временного правительства. Но и это было временными мерами. В апреле прибыл Ленин, и всего через несколько месяцев после этого большевики начали предпринимать попытки прийти к власти.

Успенский знал, что близится катастрофа и что ничего нельзя сделать, чтобы ее предотвратить. Он любил Санкт-Петербург как никогда в тот год, в последнюю зиму города. Но время его возможностей — по крайней мере, в отношении работы — заканчивалось.



К концу последнего визита Гурджиева Успенский и остальные наблюдали поразительное зрелище. Когда они прощались с учителем на Николаевской улице, он выглядел Гурджиевым, которого они всегда знали. Но когда прозвенел звонок и он сел в карету, человек, которого они видели в ее окне, *изменился*. Это был не тот человек, который только что с ними прощался. Успенский видел перед собой персону совсем другого уровня: он мог бы быть принцем или крупным государственным чиновником. Он как будто излучал странную новую силу, и, как позднее выяснил Успенский, ее ощутил спутник Гурджиева, который оказался известным журналистом. В своей колонке несколько дней спустя он описал поездку в обществе странного восточного господина, который поразил его исключительным спокойствием и уверенностью в себе. Господин игнорировал толпы, втискивавшиеся в карету, и журналист был уверен, что он должен быть миллионером. Это было актерство Гурджиева во всем его блеске.

Проводив его, Успенский задумался о последних двух годах, проведенных с Гурджиевым. Он осознал, что не смог выполнить поставленные перед собой задачи. Ни одна из книг не была готова, и он не занимался организацией зарубежных изданий, хотя теперь был совершенно уверен, что ему придется уехать. В последние два года он посвящал все свое время работе Гурджиева и, как сейчас видел, совершенно игнорировал собственные дела.

Теперь он мало что мог с этим поделать. Ситуация день ото дня выглядела все мрачнее. Затем свершилось: разразилась великая кровавая революция. Людей убивали направо и налево, но, по наблюдениям пессимиста Успенского, все равно все говорили о рождении прекрасного нового мира. Более чем вероятно, вспоминая свои размышления об «индийской магии», Успенский видел, что те, кто возлагал надежды на революцию, как многие представители российского авангарда, не могли или не хотели увидеть, что происходит на самом деле. Это требовало слишком многих усилий и лишало утешительных иллюзий [4]. Сестру Успенского убила монархия, так что он не питал любви к правящей династии, хотя и признавал странное восхищение Николаем II. Возможно, он чувствовал в нем еще одного мягкого романтика. Он отказывался принимать ложь, в которую все верили. Он знал, что освобождение, о котором говорили газеты, — это «освобождение от возможности есть, пить, работать, ходить, пользоваться трамваями, читать книги, покупать газеты» [5]. На самом деле, как верил Успенский, это означало конец русской истории, и это осознание сильно на него повлияло. Он так и не восстановился после этой утраты. Без царя все — вся бюрократическая машина — должно было рухнуть, как будто Николай II служил буфером, сдерживающим все противоречия.

Успенский собрал группу и изложил им факты. Им нужно было уезжать за границу. Остаться в России не имело смысла. Согласились не

все. Больше всего сомнений вызвало то, что они ничего не слышали от Гурджиева. Из Москвы пришло всего одно письмо, и из него было ясно, что он куда-то уехал, но никто не знал, куда. Поэтому все ждали.

Наконец пришла открытка. Она опоздала на месяц, видимо, затерявшись в массовых беспорядках. Гурджиев ехал в Александрополь, и рекомендовал Успенскому продолжать вести группы до его возвращения к Пасхе.

Успенскому было очевидно, что Гурджиев написал открытку до революции, и что на его планы вернуться к Пасхе нельзя положиться. Ему оставалось только ждать, осознавая, что с каждым днем возможностей становится все меньше. Пасха прошла, Гурджиев не приехал. Затем он сообщил телеграммой, что появится в мае. Успенский воспользовался этим временем для того, чтобы более глубоко задуматься о космосах.

В июне пришла другая телеграмма. Гурджиев был в Александрополе и велел приезжать.

Через два дня Успенский уехал из Санкт-Петербурга.

Поезд Успенского прибыл в Тифлис через пять дней. Путешествие, обычно занимавшее три дня, затянулось из-за беспорядков. Успенский приехал ночью, и, поскольку в городе был комендантский час, ему пришлось оставаться на вокзале. Там он наблюдал новые свидетельства безумия. Станцию заполняли солдаты, многие были пьяны, и всю ночь они проводили «собрания». Это были суды несправедливые, в ходе которых трех человек застрелили: одного — за кражу трех рублей, другого — потому что его спутали с первым, а третьего — за то, что спутали со вторым. Глядя на окровавленные тела, лежащие на платформе, Успенский размышлял о том, что это только начало. День спустя он сел на поезд в Александрополь. Приехав на следующий день туда, он нашел Гурджиева, который делал генератор для своего брата.

Успенский познакомился с семьей Гурджиева. Для человека, который лишился своей, это должно было быть весьма глубоким переживанием. Особенное впечатление произвели на Успенского отношения Гурджиева с отцом. Старику было за восемьдесят, но он все еще ясно мыслил, и Гурджиев проводил с ним много часов, внимательно слушая. Позднее уважение к родителям стало для Гурджиева необходимой частью пути пробуждения.

Успенский обнаружил и кое-что еще: фотографию Гурджиева, по которой без сомнений определялась его прежняя профессия. На ней кудрявый Гурджиев (в то время он почти облысел), одетый в черный сюртук, смотрел прямо в камеру своим выразительным взглядом. Так он выглядел в те годы, когда работал гипнотизером. Почему-то Успенский решил умалчивать о своем открытии и держал эти сведения при себе.

Гурджиев не соглашался с Успенским по поводу состояния дел в России. Он думал, что все успокоится, и они скоро снова смогут там рабо-

тать. Это либо было пренебрежение к тревогам Успенского, либо свидетельство нехватки политической проницательности у Гурджиева, что позднее отметит другой ученик, Дж. Г. Беннет. Успенский стремился убедить Гурджиева уехать за границу. Он говорит, что уже уехал бы сам, но не хотел покидать Гурджиева. Но Гурджиев ждал. Более чем вероятно, что он сам не знал, как поступить. Успенский остужал свое нетерпение, любясь пейзажами. Особенно большое впечатление на него произвел вид горы Арарат, где выкинуло на сушу библейский Ноев ковчег. В Успенском пробудился писатель-путешественник, и он снял отдельную квартиру в Александрополе. Наконец, через две недели, Гурджиев объявил, что они едут обратно в Санкт-Петербург. Но в Тифлисе разговор с генералом, который посещал петербургскую группу, заставил Гурджиева передумать. На другой станции Успенский стал расспрашивать Гурджиева о его планах. Что он собирался делать? Он знал, что «человек имеет право знать, куда направляется». В любом случае, было очевидно, что в этом безумии они ничего не могут сделать.

Гурджиев снова не согласился. Только сейчас, утверждал он, они и могут что-нибудь сделать. Он сказал, что через пять лет Успенскому это станет очевидно. Позднее Успенский писал, что даже через *пятнадцать* лет ему не стало понятнее, о чем тогда говорил Гурджиев.

На другой станции Успенский спросил Гурджиева, как можно укрепить чувство «Я». Гурджиев ответил, что чувство «Я» должно быть результатом всех его усилий, и предположил, что уже тогда Успенский должен чувствовать свое «Я» иначе.

Успенский был вынужден признать, что это не так. Это открытие пришло к нему позже. Через три дня после отъезда из Тифлиса Гурджиев велел Успенскому возвращаться в Санкт-Петербург в одиночку, а сам отправился в Кисловодск. Успенский должен был остановиться сперва в Москве и в обоих городах рассказать группам, что Гурджиев начинает новую работу. Все желающие должны приехать к нему.

По дороге в Москву Успенский признал, что его планы на отъезд за границу отменяются. А когда он прибыл, газеты наполнились сообщениями о стрельбе. На этот раз стреляли большевики. Пришло их время. Обещая прекратить войну, они приобрели поддержку народа, хотя Успенский знал, что они скажут и сделают что угодно ради власти. Культура варварства процветала.

В Москве и Санкт-Петербурге он передал сообщение Гурджиева. Меньше двух недель спустя он снова был на Кавказе. Остальные последовали за ним, в том числе и де Гартманы, и к августу 1917 года дюжина апостолов собралась в Ессентуках.

## Глава 13

---

# Сверхусилия

Ессентуки, расположенный в долине реки Подкумок в двух тысячах километрах к югу от Санкт-Петербурга, до 1917 года даже не считался городом. Основанный в 1798 году, он стал крепостью в 1830-м, а то, что увидели прибывшие ученики Гурджиева, было построено на остатках старой казацкой деревни. Минеральные источники и освежающий воздух создали городку репутацию оздоровительного курорта, но команда Гурджиева приехала сюда не ради заботы о здоровье. Они приехали работать.

Помимо Успенского среди приехавших были его жена Софья Григорьевна и ее дочь от предыдущего брака; «жена» Гурджиева, Юлия Островская [1]; Анна Бутковская; Захаров; доктор Стернвал с женой (прибывшей, вероятно, вынужденно); Чарковский; пациент Стернвала Николас; и де Гартманы. Анна к тому времени познакомилась со своим будущим мужем, чьей женой станет к концу года. Она скоро вернется в Санкт-Петербург, но снова будет работать с Гурджиевым во Франции. (Как ни странно, в первый же день в Ессентуках группа встретила театрального режиссера Евреинова, с которым у Анны был роман, шокировавший Успенского. На некоторое время Евреинов тоже стал частью свиты Гурджиева.)

Томас и Ольга де Гартманы стали ценной находкой для Гурджиева. Оба были представителями русской артистической аристократии. Ольга была известной оперной певицей, а балет Томаса «Розовый цветок» ставил Дягилев, с участием Нижинского и Карасавиной. То, что Гурджиев прикладывал все усилия, чтобы развеять страхи Ольги по поводу того, что она может потерять Томаса из-за работы, предполагает, что, как и в случае с Успенским, он стремился удержать их при себе. Для того чтобы сделать свои идеи известными, лучший способ — заинтересовать ими известных людей. Гурджиев всегда искал интеллигентных красноречивых последователей, которые выступали бы в качестве его глашатаев. Хотя Успенский согласился на условия, которые телепатически сообщил ему Гурджиев, учитель наверняка хотел найти запасных игроков. Возможно, он видел в де Гартмане второго заместителя, который пригодился бы на случай, если Успенский не справится.

В течение следующих нескольких недель Гурджиев установил новый, интенсивный график, задавая ритм и атмосферу, которые воспроизведет

несколько лет спустя во Франции. Успенский и половина группы жили с Гурджиевым в маленьком доме на окраине деревни. Они выполняли всю работу по дому самостоятельно — непростая задача для интеллигенции среднего класса, которая, вероятно, раньше ни разу не бралась за метлу [2]. Гурджиев не давал им много спать — в обыденном смысле — и часто брал на себя готовку, демонстрируя еще одну из своих замечательных способностей. Блюда, по словам Успенского, были прекрасными, и каждый день они ужинали в стиле какой-нибудь новой страны — Гурджиев хорошо знал тибетскую, персидскую и другие кухни. В другое время они ели мало, что, наверное, легко давалось Успенскому, привычному к постам. На самом деле в течение всей жизни Успенский, несмотря на очевидное удовольствие от еды, ел мало. Как-то он сказал Морису Николлу, что ему хватает одной трапезы в день, и что он всю жизнь прожил на закусках.

Гурджиев быстро продвигался, и по мере того, как он разворачивал перед ними всю работу, к ней добавлялись разнообразные физические упражнения. Среди них были дыхательные техники, периоды молчания и метод расслабления, который заинтересовал Успенского. Он начинался с расслабления мышц лица и включал «ощущение» разных частей тела, которое Гурджиев называл «круговым ощущением» [3]. Много из этого Успенский уже обнаружил самостоятельно, в ходе собственной работы с дыхательными техниками. Во время экспериментов с веселящим газом он чувствовал пульс одновременно во всем теле. Он знал, что это признак того, что он вот-вот войдет в «иное» состояние сознания. Некоторые из техник релаксации обладали целительным действием: человек исцелялся от невралгии, и практически все чувствовали, что лучше спят — несомненно, приятное открытие, учитывая, как мало сна им позволял учитель.

Другой новой идеей было упражнение «Стоп», которое Гурджиев будет эффектно использовать в будущем для завершения публичных выступлений со своими «движениями», которые представил тогда же. (В первый день в Ессентуках, после чая, де Гартманы были весьма удивлены, когда Гурджиев скомандовал «Марш!», и вся группа сразу же начала бегать по комнате; позднее они видели, как чета Успенских пытается выполнить военные развороты.) В этом упражнении учитель в произвольно выбранный момент кричал «Стоп!», и все должны были замереть именно в том положении, в котором находились. Хотя это было опасно — Гурджиев рассказывал, как один из Искателей истины так чуть не утонул — но необходимо для изучения движущего центра — той части машины, которая управляла выученными движениями. Репертуар позиций и поз человека ограничен, и «Стоп» должно было ловить ученика между ними. Неудобная поза позволяла человеку более ясно увидеть себя. В какой-то степени это была вариация ранних замечаний Гурджиева о ролях и о том, как мы оказываемся в незнакомой ситуации и не можем найти свое

«место» — одну из многих персон, которых создаем, чтобы общаться с миром, — и тогда видим, какие мы на самом деле. Гурджиев создавал как можно больше непривычных ситуаций, и его ученики редко находились в комфортном положении.

Растущий темп был связан с другим упражнением — сверхусилиями. Ранее Гурджиев рассказывал об аккумуляторах, своего рода запасах энергии, которыми мы редко пользуемся, за исключением особых обстоятельств, в которых к ним можно обратиться. Аккумуляторы содержат огромное количество энергии, и, прикоснувшись к ним, человек может вершить чудеса. Для того чтобы к ним обратиться, нужно приложить огромные усилия. Сначала требуется истощить обычные запасы энергии. Однако когда один ученик спросил, не опасно ли прикладывать такие усилия, Гурджиев отмахнулся от этой идеи. Он сказал, что еще опаснее их не прикладывать. Намного проще умереть от лени.

Так Эссендуки стали местом сверхусилий. Они могли принимать разные формы — например, выполнение задания за половину обычного времени. Идея заключалась в том, чтобы сделать *больше*, чем необходимо для выполнения конкретной задачи, например, для мытья посуды. Более жесткий вариант — пройти еще две мили после того, как прошел пешком двадцать пять. И как во всех остальных задачах, ученик не мог полагаться на собственное суждение, потому что он ленив и наверняка будет себе потакать. Только учитель решал, что будет для него сверхусилием. Он не проявлял жалости к ученику. Гурджиев находил для этого много возможностей.

Во-первых, в дополнение к домашней работе, он давал им сложные физические упражнения. Сидя на земле с согнутыми коленями и соединенными между ног ладонями, Успенский должен был поднимать одну ногу и считать до десяти, говоря «Ом». Затем он считал до девяти, до восьми и так далее, все это время «ощущая» свой глаз, ухо, большой палец или еще какую-нибудь часть тела. Мало того, что физическое упражнение было сложным, но Успенскому приходилось еще помнить последовательность движений, «Ом», частей тела, которые он ощущал, и так далее. Когда он осваивал это, добавлялись дыхательные упражнения. Пока Успенский сражался с собой, Гурджиев мимоходом замечал, что в своих путешествиях встречал людей, которые работали над этими комбинациями целыми днями.

Гурджиев не давал им расслабиться, заставляя работать вдвое больше и в то же время поститься. Ошибкой будет, говорил он, беречь энергию во время поста: напротив, нужно работать еще больше. Гурджиев применял эту теорию на практике, никогда не оставлял их в покое, заставлял маршировать на месте, стоять с вытянутыми руками (наказание за невнимательность на лекциях) или бегать в сильную жару. У них было мало шан-

сов умереть от лени. Были и другие упражнения. Когда приехали де Гартманы, то увидели необычную картину. После чая Гурджиев скомандовал Захарову: «Место». Оказалось, что это угол комнаты, где Захаров встал на колени. Когда Ольга, не в силах сдержать любопытство, спросила, что он там делает, он сердито рявкнул: «Какое тебе дело!» [4]. Захаров слишком мягок и внимателен, сказал Гурджиев, и ему нужно научиться жесткости. Когда Гурджиев заметил, что Томас пьет чай с сахаром, то велел прекратить. Наверное, тогда же он пытался заставить Успенского пить молоко.

В другой раз он потребовал от всех отказаться от своего имущества. Затем он разработал серию движений для рук и ног. Они образовывали буквы алфавита, и Гурджиев приказал вести все общение, даже наедине, пользуясь только этими движениями. Де Гартманы не могли поговорить нормально, даже шепотом в своей комнате; они думали, что этим подведут учителя. Каждый день Гурджиев выдвигал новые требования и отдавал новые приказы; затем он сидел и наблюдал за реакциями группы. Иногда он казался любящим ласковым отцом, «самым дорогим человеком на земле» [5]. Или же он оказывался суровым учителем. Ольга рассказывает, какую гордость испытывала она и остальные, когда находили правильный ответ на один из внезапных вопросов Гурджиева. Неправильный ответ вызывал его недовольство. Однако даже его реакции были непредсказуемы. Когда один ученик был явно расстроен тем, что не сумел ответить правильно, Гурджиев смягчил удар, отведя его вечером в кафе. Он хорошо управлялся с кнутом и пряником, и неудивительно, что в поздние годы Успенский испытывал «странные чувства» каждый раз, когда вспоминал этот период.

Успенский участвовал во всех занятиях, но у него были и собственные планы. Пока де Гартманы и другие явно рассматривали Гурджиева как отцовскую фигуру и желали его одобрения, он помнил о своей изначальной цели: достичь того «иногo» состояния, в которое входил под действием веселящего газа. Помня об этом, он принялся сам прикладывать сверхусилия. Оставаясь один в своей комнате, он стал бегать на месте, одновременно используя дыхательные техники. Он делал это некоторое время, но вскоре понял, что придется сдаться и дышать нормально. Обливаясь потом, с кружащейся головой, он чувствовал, что вот-вот упадет, но держался. Он уже собирался остановиться, как вдруг почувствовал, что в нем что-то хрустнуло. Внезапно его дыхание выровнялось и потекло без усилий, и он испытал необычайно приятные ощущения. Он закрыл глаза, и чувство силы и обновленной энергии выросло. Волны «радостной дрожи» прокатились по нему; он знал, что это чувство предшествовало «открытию внутреннего сознания».

К сожалению, в этот момент в комнату кто-то вошел, и все прекратилось. Однако было очевидно, что Успенский способен сам себе задавать

сверхусилия. Но когда он заговорил об этом опыте с Гурджиевым, учитель, как можно было ожидать, отмахнулся от него как от простой случайности. Успенский, который умел сам пользоваться своими аккумуляторами, не нуждался в учителе, который делал бы это за него.

Затем, пока все как будто двигалось навстречу какому-то финалу, Гурджиев выдернул ковер у всех из-под ног, внезапно объявив, что вся работа прекращается и группа распускается. Остальные могли делать что хотят, а он вместе с Захаровым отправляется на побережье Черного моря. Гурджиев не объяснил причины своего решения, помимо неких внутренних трений в группе. Учитывая совместное проживание и необычные обстоятельства, трения были неизбежными, и в любом случае Гурджиев в них процветал. Поэтому, возможно, его объявление было еще одним способом всех шокировать. Или же у него закончились идеи — трудно не подозревать, что значительная часть задач, которые Гурджиев давал группе в эти шесть недель, придумывались на месте; он снова экспериментировал со своими «подопытными крысами». Гурджиев утверждал, что научился движениям и упражнению «Стоп» во время пребывания в монастыре Сармуни, но тогда возникает вопрос: почему он не использовал их в работе раньше?

Абсурдность прекращения работы именно тогда, когда она достигала нового уровня, несомненно, шокировала Успенского. Большая часть группы не верила, что Гурджиев серьезен. Это была очередная игра. Но к тому времени Успенскому хватило. Какой смысл происходящего? И был ли он? Если нет, то нет и причин оставаться с Гурджиевым. Как бы ему не хотелось этого избежать, Успенский вынужден был признать, что его вера в Гурджиева рассеивается. Все это время он игнорировал свои сомнения, но больше уже не мог. Он пришел к решению: есть Гурджиев, а есть работа. Он больше не чувствовал уверенности в Гурджиеве — или, точнее, сомнения, которые он раньше игнорировал, больше игнорировать не получалось. Но он не испытывал сомнений в работе. Поэтому он отделил одно от другого. Эта граница продержится до конца его жизни.

Успенский последовал за Гурджиевым в Туапсе, а затем отправился в Санкт-Петербург, где собирался забрать кое-что из своего имущества, в основном библиотеку. Конечно, ее уже не было; забрали ее конфискаторы или мародеры — неизвестно. В городе царил голод и полная разруха. Успенский сумел сбежать только с минимумом необходимого. Он оставался в Санкт-Петербурге дольше, чем планировал, и уехал 15 октября, всего за неделю до большевицкой революции. Он говорил, что оставаться там было невозможно. Что-то «отвратительное и липкое приближалось» [6]. «Болезненное напряжение» ощущалось во всем; каждый день распространялись новые слухи, все более и более абсурдные. Торжествовала «диктатура криминального элемента» [7], и Успенский ненавидел это время до конца жизни.



В Туапсе было еще относительно спокойно, и Успенский обнаружил, что Гурджиев переехал на побережье и снял дом километрах в двадцати пяти от Сочи, с видом на море. Место окружали розы, и из него открывался вид на снежные горы вдаль. Несмотря на идиллическую обстановку, Успенский увидел, что атмосфера в группе напряженная, совсем не такая, как в Ессентуках. Между Гурджиевым и соседями разразилась абсурдная ссора, что сказывалось на Захарове. Когда Успенский уезжал, Захаров был полон энтузиазма (тренинги настойчивости, вероятно, помогли) и просил Успенского возвращаться поскорее. Теперь Успенский обнаружил, что Захаров собирается ехать в Санкт-Петербург. Это казалось безумием. Когда Успенский спросил у Стернвала, что произошло, доктор ответил, что Гурджиев разочаровался в Захарове и сказал, что тому лучше уехать.

Со временем Успенский выяснил, что во время ссоры с соседями Захаров сказал что-то, что рассердило Гурджиева, и с тех пор Гурджиев демонстрировал, что Захаров должен оставить его.

Успенский считал верхом идиотизма посылать кого-то в Санкт-Петербург. Там Захаров встретится с голодом, мятежами, мародерством и еще чем похуже. Успенский не оставил бы там и собаку, о чем он заявил. Но вот Гурджиев отправляет одного из самых верных своих учеников в эту геенну. Успенский убеждал Захарова попытаться помириться с Гурджиевым, и тот сдался. Но Гурджиев ответил, что, если Захаров решил ехать, пусть едет.

Были и другие изменения. Во-первых, в стране разразилась гражданская война; во-вторых, де Гартманы и Захаров очень хорошо узнали, что Гурджиев имел в виду под сверхусилиями. Он пригласил их сопровождать его в «экспедицию в Персию». Это означало долгий и тяжелый пеший поход через зоны военных действий, по горам. Группа шла от побережья много дней, причем на Ольге де Гартман была обувь с высокими каблуками. Гурджиев задавал быстрый темп. Когда после многих часов трудной ходьбы они, наконец, добрались до таверны, вместо того, чтобы дать им отдохнуть, Гурджиев решил, что ночь слишком хороша, чтобы тратить ее на сон, поэтому надо продолжать путь. Со временем, после многих дней тяжелого пути с плохим снаряжением, почти без отдыха и еды, они оказались в деревне недалеко от Туапсе, практически пройдя круг. В результате этого Томас слег с тифом. Возможно, из-за этого же Захаров решил, что Гурджиева с него довольно [8].

После того, как к ним присоединился Успенский, Гурджиев перевозил группу с места на место месяцами, пытаясь не оказаться в ловушке между Красной и Белой армиями. Наконец, они снова оказались в Ессентуках. Оттуда в феврале 1918 года Гурджиев разослал письма с подписью Успенского, приглашая остальных членов московской и петербургской групп присоединиться к ним. Явилось сорок человек, в том числе Захаров.

Гурджиев нашел дом и установил очередной строгий режим. Никому не позволялось выходить за территорию, были назначены дежурные. Началась работа «самого разного рода».

Гурджиев использовал музыку, танцы дервишей и дыхательные техники, как и раньше, а также ввел серию упражнений с «психическими феноменами». По сути, это означало обучение тому, как имитировать паранормальные способности — чтение мыслей, прорицание и работу медиума. Гурджиев объяснял, что изучение «трюков» является частью обучения в школе. Но ведь Гурджиев уже сделал карьеру как странствующий маг и, возможно, научился этим трюкам в другом месте. В то время денег было мало — большевики все конфисковали — и Гурджиев пытался выкручиваться, отправляя де Гартмана и остальных в окрестные деревни продавать шелк, который он берег как раз на такой случай. Когда Гурджиев велел де Гартману идти в один из городов, тот отказался, объяснив, что у него там много друзей, и ему будет крайне неловко, если его увидят продающим шелк. Гурджиев настаивал. Даже лучше: ты можешь продать его друзьям и в то же время научиться не «идентифицироваться». Шелк был тогда редкостью, и де Гартман оказался успешным продавцом.

Гурджиев решил, что «колония», как Успенский это называл, должна получить имя. Успенский предложил «Общество борьбы со сном». Гурджиев счел его слишком очевидным, но я подозреваю, что Успенский хотел сострить. Наконец они остановились на «Международном товариществе реализации в работе», в духе пролетарской моды того времени. Установили новые строгие требования. Все члены группы должны были порвать всякие связи друг с другом. Каждый час в сутках посвящался определенному упражнению. Успенского, доктора и ученика по фамилии Петров объявили полными членами товарищества; де Гартман скоро тоже получил это звание. Начались публичные лекции. Успенский провел первую из них, а затем прочитал еще несколько по воскресеньям. Но едва только товарищество начало зарабатывать уважение и репутацию, Гурджиев снова принялся «играть». На этот раз он разместил объявления о том, что «доктор Черный», вымышленный шарлатан из сатирических газет, тоже будет читать лекции. Успенский начинал думать, что выходки Гурджиева неконтролируемы и становятся автоматическими — другое слово для механического.

Гурджиев решил, что пора отправляться в новую экспедицию, и проявил сноровку, получив разрешение и все снаряжение от новых советских властей. На самом деле они хотели бежать из Ессентуков. Гурджиев, наконец, понял, что для продолжения работы им надо покинуть Россию. Но он сумел убедить большевиков, что отправляет научную экспедицию на поиски археологических древностей и, что важнее, золота. Успенский заметил, что для отмывания золота нужен спирт, и его им тоже предо-

ставили, хотя и в небольшом количестве. У них было все необходимое для путешествия, и Гурджиев отправился пересекать опасный и полный бандитов Кавказ вместе с четырнадцатью верными последователями. Но Успенский с ними не пошел. Дочь мадам Успенской ожидала ребенка, и у Успенского были более важные обязанности.

В любом случае, к тому времени «личная позиция» [9] Успенского в группе изменилась. В течение последнего года чувство крепло, и теперь он знал, что *должен уйти*. Он не сомневался в идеях, был убежден в их ценности и значении. Но он все больше чувствовал, что для него, как и для многих других членов группы, больше невозможно работать с Гурджиевым. Он не говорит точно, почему. Однако в своем описании решения уйти он замечает, что ошибочно приписывал Гурджиеву многие качества, и что если бы он оставался с ним теперь, то больше не шел бы в том направлении, которое изначально и привело его к Гурджиеву. Его октава [10], следуя Закону Семи, исказилась бы и свернула с курса. Не только он чувствовал подобное; у остальной части небольшой группы были свои сомнения.

Методы Гурджиева просто ему не подходили. Успенскому хватило «игры», и, учитывая его собственный опыт со сверхусилиями и аккумуляторами, он, скорее всего, чувствовал, что не настолько беспомощен, как ему поначалу казалось. В любом случае, после долгих раздумий и медитаций Успенский пришел к выводу, что путь Гурджиева, путь хитреца, ему не подходит.

Он переехал в отдельный дом и занялся тем, чего не делал два года, — начал писать. Среди немногих вещей, которые ему удалось спасти от «потопа», была рукопись «Мудрости богов».

## Глава 14

---

# Ссора

Успенский знал, что ему надо ехать за границу, но не хотел уезжать раньше Гурджиева. Показалось бы, что он бежит с корабля. Он хотел убедиться, что сделал все возможное, чтобы помочь Гурджиеву, прежде чем займется своими делами. Его заботливость дорого ему обошлась. Когда Гурджиев и его команда ушли в горы, Успенский остался позади; к тому времени было уже слишком поздно. История преступлений его нагнала. Он был в ловушке. Казаки напали на железнодорожную станцию, а большевики начали «реквизиции» — по сути, мародерство. Успенскому пришлось остаться в Ессентуках еще на год. Он чувствовал себя глупо: у него был шанс уехать, но он его упустил, чего хитрец никогда бы не сделал. Времена были трудные, но Успенский относился к ним философски: только двое в его семье заразились тифом, и чудесным образом никто не умер. Их не ограбили. Хотя было время голода и нужды, Успенский смог найти работу: сначала в качестве швейцара, потом — школьного учителя. В какой-то момент он сумел убедить местные советы позволить ему основать в Ессентуках Советскую публичную библиотеку из книг, которые «реквизировали» у их владельцев, без сомнения, в память о собственном потерянном собрании. Успенский проявил своеобразную сноровку и изобретательность, когда Белая армия «освободила» Ессентуки, и ему пришлось срочно срывать слово «Советская» с вывески.

Известия о Гурджиеве были малочисленные и разрозненные. Гурджиев, судя по всему, добрался по железной дороге до Майкопа, затем пешком до Сочи, заставив группу в очередной раз прилагать сверхусилия. Возможно, Успенский испытал некоторое удовлетворение, когда обнаружил, что в Сочи практически вся группа решила, что с них хватит. Только четверо остались с Гурджиевым и его женой — Стернвалы и де Гартманы. Захаров, Петров и остальные спрыгнули с корабля, как Успенский и предполагал. Гурджиев и его уменьшившаяся свита добрались до Тифлиса. Там благодаря де Гартманам он познакомится с художником Александром де Зальцманом (другом теософа Василия Кандинского, как и де Гартман), и работа приобретет новый характер. В Тифлисе Гурджиев сделает первую попытку основать организацию, в которой он в конце концов сделает себе имя, — Институт гармоничного развития человека.

Успенский тем временем попал из огня да в полымя. Только в июне 1919 года ему удалось выбраться из Ессентуков. Все еще пытаясь уехать за границу, как Гурджиев, он переезжал с места на место — Ростов, Екатеринодар\*, Новороссийск. В Ростове он с радостью обнаружил своего старого друга, журналиста Беххофера-Робертса, с которым, как нам известно, как-то разделял вечер за самогоном. Робертс видел, что Успенский живет в ужасных условиях, в продуваемой ледяной квартире без угля и почти без еды, и душа в теле держалась благодаря минимальному имуществу: поношенное пальто, несколько рубашек, пара ботинок, носки, одеяло, полотенце и бритвенные приборы. Учитывая ситуацию, Успенский считал, что ему крайне повезло, что у него есть хотя бы это. Вернувшись в Екатеринодар, Успенский наконец перестал переезжать, но место истощало его резервуар оптимизма. Все, что касалось революции, наполняло его глубоким физическим отвращением, и в Екатеринодаре эта внутренняя тошнота нашла внешнее выражение. Считавшийся тогда столицей России, Екатеринодар был для Успенского «самым богом забытым местом, какое можно вообразить». Построенный в век рационализма, согласно идеалам Просвещения, с улицами под прямыми углами, сейчас он заполнялся гниющими трупами животных, вонь от которых наполняла воздух.

Каким-то чудом Успенский смог отправить серию писем, описывающих революцию, к А. Р. Оражу, харизматическому редактору «Новой эпохи», с которым познакомился в Лондоне на обратном пути с Востока. Навыки журналистики сослужили Успенскому хорошую службу, и его книга «Письма из России 1919 года» — отрезвляющее чтение для любого, кто сочувствует советским экспериментам. Успенский рассказывал читателям «Новой эпохи», что «в то время мы пережили столько чудес, что мне искренне жаль всех, кого с нами не было, всех, кто жил по-старому, всех, кто не ведал о том, что узнали мы» [1]. Он и другие узнали истинное значение слов «революция» и «социалистическое государство»: они означали бандитизм, убийства, политическое давление, «диктатуру криминального элемента». Здесь, в этом грязном бездушном месте, у Успенского появилась идеальная возможность наблюдать столкновение культуры и варварства, стать свидетелем борьбы между индивидуумами и «большим двухмерным созданием», намеренным их поглотить, — государством. Он знал, что «вся жизнь отдельных людей — это борьба против этих огромных чудовищ... Нация — это создание, которое стоит на гораздо более низкой ступени развития, чем отдельные люди» [2]. Успенский помещал государство на уровень зоофитов — неразумных аморфных масс, единственной целью которых было пожирание друг друга. Тут Успенскому снова выпадала

---

\* Ныне Краснодар.

возможность увидеть Закон Семи (см. главу 8) в действии. Говоря о законе противоположных целей и результатов, он разбирает то, как идеалы братства и свободы, которые питали революцию, стали оправданием для убийства и тирании. Согласно этому закону, «все ведет к результатам, противоположным тому, что люди намеревались сделать и к чему стремились» [3]. Нельзя не задаться вопросом, рассматривал ли Успенский в этом свете свои отношения с Гурджиевым.

Ораж, угадав в посланиях Успенского просьбу («Лично я все еще жив только потому, что мои ботинки и брюки и другие предметы одежды... все еще не разваливаются на части») [4], связался со своим другом, майором Фрэнком Пиндаром, который служил у генерала Деникина, командующего Белой армией. Пиндар нанял Успенского писать сводки и щедро платил ему жалованье из собственного кармана.

В свободное от печати полевых отчетов время Успенский начал делать то, чем будет заниматься до конца жизни: читать лекции о работе. Он собрал горстку людей и начал проводить беседы, связывая идеи Гурджиева с философией и психологией. Гурджиев и сам ему написал, приглашая его приехать в Тифлис и поучаствовать в работе его института. К письму прилагался проспект. Высокопарным цветистым языком — который станет узнаваемым стилем Гурджиева — все еще не совсем бывший учитель Успенского объявлял, что «Институт гармоничного развития человека, основанный на системе Г. И. Г... принимает детей и взрослых обоих полов... Предметы изучения: гимнастика всех видов... упражнения для развития воли, памяти, внимания, слуха... и тому подобное». Более того, как говорилось в объявлении дальше, эта знаменитая система уже работает в Бомбее, Александрии, Кабуле, Нью-Йорке, Чикаго, Христиании, Стокгольме, Москве, Ессентуках и ряде других мест.

Как и следовало ожидать, Успенского не порадовала активность Гурджиева, пусть только в печати. Также ему не понравилось видеть свое имя, указанное в ряду других учителей-специалистов. Среди них был другой бывший член группы, который жил тогда в Новороссийске, и Успенский точно знал, что он не собирается ехать в Тифлис.

Успенский не испытывал особого энтузиазма по поводу института — возможно, вспоминая доктора Черного и другие негармоничные эпизоды. Приглашение Гурджиева приезжать и работать, несмотря на «прошлые трудности», было типичным, но Успенский держался. Уход от учителя дорого ему обошелся, и он не собирался легко отказываться от этого решения. И в любом случае, как демонстрировал проспект, хитрец вернулся к старым трюкам.

Сам Успенский столкнулся с новой проблемой. Случайно встретив старого петербургского друга, Успенский заговорил с ним о своем опыте общения с Гурджиевым, и друг задал ему очевидный вопрос. Принесла

ли его работа с Гурджиевым практические результаты? Успенский обдумал вопрос и ответил, что да, принесла, и самым главным среди них было новое чувство уверенности. Двумя годами ранее Гурджиев спрашивал, начал ли он уже ощущать свое «Я» иначе, и Успенскому пришлось ответить «нет». Теперь это изменилось. Уверенность в себе, которую он приобрел, была необычной; скорее это было признание неважности повседневного мелкого «Я», того узла желаний и жалоб, который, как он поспешил добавить, все еще существовал и, несомненно, будет существовать. Эта новая уверенность в себе была совершенно иной. Успенский чувствовал, что в нем есть что-то, большее «Я», которое справится с любой случайностью, любым препятствием. Возможно, он ощутил его начало во время чуда и мудро сдержался, не упомянул о нем Гурджиеву. Это новое чувство «Я» было не просто результатом обширного жизненного опыта, которым Успенский, несомненно, обладал. Это было нечто большее. Он считал, что это результат всей работы, которой он занимался в последние несколько лет. Имея это в виду, может быть проще понять, как он мог отречься от Гурджиева, но сохранять верность работе.

Такое «двойное мышление» он попытался передать Захарову и Петрову, с которыми встретился позже в Ростове, где также начал лекционные группы. Оба категорически негативно относились к Гурджиеву и его системе, и от Успенского потребовались определенные усилия, чтобы убедить их передумать. Захаров со временем согласился с его точкой зрения и попытался попасть в Тифлис, к Гурджиеву. Но судьба обернулась против него. Он заразился в пути оспой и умер в Новороссийске — вероятно, первый из множества несчастных случаев, произошедших в стремлении к работе.

Хотя ранние победы выглядели многообещающе, к концу 1919 года Белая армия Деникина отступила, и революция завершилась. Вместе с тысячами других беженцев Успенский и его семья добрались до Одессы, намереваясь попасть в Константинополь. Хотя самые наивные из них считали, что советский эксперимент провалится, жизнь как-то вернется к норме, а они снова смогут жить в России, у Успенского не было таких иллюзий. Для него большевизм был варварством — варварством, которое получало на Западе активную поддержку среди того самого слоя, который стремилось уничтожить, — среди интеллигенции. Санкт-Петербурга больше не было, и вместе с ним не было и России. «Ни в одно покинутое мной место нельзя было вернуться», — меланхолично рассуждал Успенский. Когда в конце января 1920 года Успенский приехал в Константинополь, он закрыл дверь в свое прошлое. Он больше никогда не увидит Россию и останется в изгнании, человеком без страны, до конца жизни. Если бы он остался, и его миновали голод, мародерство и беспорядочные убийства, его бы, несомненно, расстреляли или посадили, как других «бродячих собак».

При второй встрече с Константинополем город сильно изменился. Двенадцатью годами раньше Успенский ощущал здесь живую и активную духовную традицию. Теперь ее не было. Константинополь, который он увидел, сходя с корабля, уже поддавался западной серости. Разглядев с корабля минареты Стамбула и Галатскую башню, Успенский подумал в первую очередь о том, что снова увидит дервишей. Устроившись в лагере беженцев на острове Принкипо, Успенский вскоре отправился на поиски. Он нашел их, как и раньше, в ските в Пере, европейской части города, среди тех же могильных камней, платанов и зовущей музыки. Ему даже показалось, что он узнал некоторые лица. Но что-то изменилось. Не только сам Константинополь стал более шумным, но в то же время странно пустым, несмотря на заполонившие его огромные толпы. На этот раз, глядя на вращающихся дервишей, Успенский знал часть их секрета. Он узнал его, разумеется, от Гурджиева, который объяснял, что таинственный танец — это своего рода упражнение для разума, подобное упражнению «Ом», которое он задавал ученикам в Эссенуках. Теперь видеть дервишей и *знать* — должно быть, это был яркий момент, производивший сильное впечатление. Вполне вероятно, что Успенский был одним из последних, кто их видел; довольно скоро, с подъемом Кемаля Ататюрка, дервишей запретят вместе с астрологами, предсказателями и другими практиками.

Успенский начал читать лекции, как делал это в Эссенуках и Екатеринодаре. Это стало практически привычкой. Зарабатывая деньги на преподавании английского другим беженцам, а также математики детям, в свободное время Успенский начал собирать группу. Они встречались в Белом русском клубе в Пере, и Успенский помогал с организацией вместе со своим новым другом, академиком Борисом Муравьевым, еще одним обломком, вынесенным на Восток революционным потоком. Успенский привлекал многих: в городе, полном людей с разрушенными жизнями, его странная новая уверенность в сочетании с поразительной «системой», должно быть, производила сильное впечатление. Вскоре его аудитория разрослась настолько, что понадобилось новое место. Судьба была к нему благосклонна; на этом этапе его октавы, его собственной ветви Луча Творения, Успенский попал в полосу везения. Благодаря Михаилу Александровичу Львову, бывшему полковнику Имперской дворцовой гвардии, а теперь — нищему башмачнику, который жил под лестницей Белого русского клуба, — Успенский познакомился с Джоном Годолфином Беннетом, служащим Британской военной разведки, который интересовался другими измерениями. Спутница Беннета, миссис Бомонт [5], встретила Львова и, тронутая его бедой, предложила комнату в их квартире. Вскоре после этого Львов обратился к своей благодетельнице и попросил разрешения использовать ее незанятую гостиную раз в неделю для бесед, уверяя, что политические вопросы затрагиваться не будут. Она согласилась на это и



даже на условие, что поскольку встречи частные, ей не позволено будет слушать. Миссис Бомонт не знала русского, поэтому это вряд ли имело значение; но это ранний пример атмосферы секретности, которая с этих пор будет окружать работу Успенского.

Однажды днем Беннет вернулся с работы и услышал в гостиной какофонию. «Эти встречи звучат как ад крошечный», — сказал он. Заинтригованного Беннета представили Успенскому, и он спросил, что обсуждают на встрече. Успенский рассказал, что они говорили о трансформации человека [6]. Затем он объяснил, что разница между одним человеком и другим может быть больше, чем между овцой и кабачком. Беннет предсказуемо удивился. Успенский показал на диаграмму, на которой изображались разные типы людей, пронумерованные от одного до семи, — категоризация, которую он перенял у Гурджиева. Люди номер один, два и три были подвластны своим телам, чувствам или мыслям, объяснил он. Для того, чтобы достичь уровня человека номер четыре, нужно координировать свои качества. Беннета глубоко интересовал ряд религиозных и мистических вопросов, но это описание почему-то не вызвало у него интереса. Тем не менее, Беннет и Успенский стали друзьями, и Беннет и миссис Бомонт часто навещали Успенского и его семью в Принкипо.

Тем временем в Тифлисе институт Гурджиева в очередной раз не состоялся, и Гурджиев понял, что ему пора выбираться на Запад. Успенский некоторое время ничего от него не слышал, но у него было сильное ощущение, что когда-нибудь Гурджиев появится. Он был прав. В июне, через полгода после Успенского, прибыли Гурджиев и его свита, в которую теперь входили Александр и Жанна де Зальцман (учитель танцев школы Далькроза), а также майор Фрэнк Пиндар, потерянный после падения Белой армии.

Успенский не видел Гурджиева почти два года. Вероятно, возродилась старая симпатия, потому что он начал думать, что, несмотря ни на что, с ним можно работать снова. В любом случае это было неизбежно. Успенский не знал, что Беннет уже познакомился с де Гартманами и скоро встретится с самим Гурджиевым. Благодаря общему знакомому — князю Сабаэддину, мистическому искателю и другу Рудольфа Штейнера — Беннет встретился с человеком, у которого были «самые странные глаза, какие [он] видел» [7]. Миссис Бомонт тогда же познакомилась с Гурджиевым, и хотя разделяла мнение Беннета о его глазах, но также заметила кое-что еще. Гурджиев вызывал у нее ощущение дискомфорта, «как будто он знал о нас какой-то секрет, который мы предпочли бы держать в тайне» [8]. Позднее, из-за долгой связи Беннета с Успенским, миссис Бомонт будет весьма прохладно принята в работу.

На первой встрече Гурджиев действовал так же, как с Успенским, — он говорил с Беннетом об идеях, которые его завораживали: гипноз, пара-

нормальный опыт и его собственный проект, пятое измерение — на шаг выше от Успенского. Подобно Успенскому, Беннет чувствовал, что Гурджиев — человек, «который знает». «Никогда прежде я не испытывал такого чувства — что меня понимают лучше, чем я сам себя понимаю», — сказал он о беседе с Гурджиевым [9]. И когда дело дошло до пятого измерения, которое Беннет считал источником свободы, Гурджиев предсказуемо ответил, что хотя его размышления с большой вероятностью верны, но какую пользу принесет ему пятое измерение, если он остается рабом обычных трех? Он произвел на Беннета впечатление, и когда он пригласил его на представление священных танцев, которое проводил вечером следующего воскресенья, то был уверен, что Беннет придет.

Когда в тот вечер он вместе с миссис Бомонт вошел в студию, то, наверное, испытывал ощущение, что попал в какое-то тайное общество. Он не знал, что Гурджиев, Успенский и де Гартманы были знакомы, и, тем более, практиковали одну и ту же духовную дисциплину. Но вот все они оказались перед ним. Танцоры были одеты в белые развевающиеся костюмы, с поясами разных цветов. Все молчали и как будто не обращали внимания друг на друга. А затем в комнату вошел человек со странными глазами, одетый в черное. Внезапное появления Гурджиева притянуло к нему внимание. Танцоры выстроились в ряды и замерли совершенно неподвижно; их пояса, по впечатлению Беннета, образовывали спектр, визуальную «октаву». Де Гартман заиграл на пианино, и танцоры начали выполнять цикл странно эффектных движений, центральным среди которых была поза, которую называли «Инициацией Жрицы». Танец произвел на Беннета впечатление, но они с миссис Бомонт были совершенно не готовы к тому, что последовало за ним. В конце все танцоры выстроились в конце зала. Де Гартман сыграл несколько аккордов. Затем Гурджиев отдал приказ, и вся труппа подпрыгнула в воздух и побежала к зрителям. Через несколько секунд Гурджиев крикнул: «Стоп!» — и группа замерла. Некоторые не смогли противостоять инерции и спотыкались друг об друга, падая на пол. Аудитория ахнула. Этот фокус Гурджиев активно использовал несколько лет спустя в Париже и во время тура с выступлениями в Америке.

Беннет был поражен и хотел поговорить с Гурджиевым о представлении, но Гурджиев вместе с Успенским ушел сразу после окончания. К тому времени военная разведка предупредила Беннета, что Гурджиев может быть русским шпионом, но теперь это не имело значения. Важно было то, что Беннет наконец нашел учителя, которого искал. Как ни странно, Беннет не стал просить присоединиться к группе. Однако он снова встретился с Гурджиевым. С помощью Беннета Гурджиев надеялся получить визы, которые нужны были, чтобы попасть в Англию, но репутация Гурджиева как вероятного шпиона не позволила Беннету помочь. Успенскому повезет больше.

К этому времени Успенский передал свои группы Гурджиеву, который снова надеялся открыть свой институт или, как минимум, его константинопольский филиал. Они даже встречались и пытались работать над ба-летом Гурджиева — причиной их первой встречи и к этому времени метафорой растущего раскола между ними. Успенский с теплом вспоминает вечер, который они провели, сражаясь с переводом персидских песен, которые Гурджиев хотел включить в сценарий. В ту ночь Успенский видел в Гурджиеве художника и поэта. Плавая в потоке образов, символов, форм и метафор, Гурджиев велел изумленному Успенскому превратить поэму, занимающую при чтении четверть часа, в *одну* строку. Так продолжалось несколько часов. К утру они оба были измучены. «Это был настоящий Гурджиев», — позднее вспоминал Успенский. Но на следующий день, когда они должны были продолжать работу, Гурджиев отказался и не делал ничего, только рассказывал пошлые анекдоты, причем не очень хорошие, чем вызвал у Успенского отвращение. Его также встревожило то, что Гурджиев стал носить черное, стремился начинать споры и снова слишком много «играл».

Тем не менее, как и в Ессентуках, Успенский помогал Гурджиеву как мог, знакомил его с людьми — например, с Муравьевым — и даже перестал вести свои группы, чтобы они не конфликтовали с институтом. Гурджиев пригласил его читать лекции в своем «константинопольском филиале», и Успенский согласился; Гурджиев присутствовал и разъяснял менее понятные элементы. Гурджиев навещал Успенского в Принкипо, приносил деликатесы, и в целом росло ощущение вернувшейся близости. Но Успенский все равно осознавал сложности и знал, что любое понимание — временное явление. В то же время крепили отношения Гурджиева с мадам Успенской, которая, в отличие от мужа, оставалась преданной ученицей, что, несомненно, вызывало некоторую напряженность между Успенским и его женой. В центре сюжета «Битвы магов» лежит борьба между белым и черным магами за преданность ученицы-девственницы. Хотя Софья Григорьевна явно не была девственницей, но очевидно, что ее учитель и ее муж соревновались за ее внимание. Потеряв Успенского и значительную часть своей паствы, Гурджиев не мог позволить себе новые потери. В случае мадам Успенской вероятность потери была мала: создается ощущение, что она не разделяла взгляды своего мужа.

То, кому она по-настоящему верна, стало очевидно, когда Успенский получил новость, о которой мечтает любой писатель. Русский эмигрант Николай Бессарабов приехал в Америку с экземпляром «*Tertium Organum*». Книга произвела на него огромное впечатление — настолько сильное, что однажды он принес ее в дом Клода Брэгдона, писателя, архитектора и издателя. Сам Брэгдон уже опубликовал несколько книг о четвертом измерении и высшем пространстве, и поскольку он мог читать на русском,

Бессарабов убедил его, что он должен познакомиться с книгой Успенского. Брэгдона она также захватила, и он решил перевести и издать ее. К его удивлению, книга стала бестселлером, он продал больше экземпляров, чем смог напечатать (в конце концов, ему пришлось передать книгу Кнопфу). Успенский оказал влияние на таких крупных писателей, как Харт Крейн, и они присоединились к похвалам. Но ни Брэгдон, ни Бессарабов не знали, где найти Успенского, и жив ли он еще. Они нашли экземпляр «Новой эпохи» с «Письмами из России» Успенского и связались с Оражем, но к тому времени тот тоже не знал, где искать Успенского. Однако странная удача Успенского его еще не покинула. В Лондоне американский теософ из Буффало посетил Теософическое общество и спросил, нет ли у них экземпляра «*Tertium Organum*» на продажу. Его услышала русская женщина (возможно, Анна Бутковская-Хьюит, что позволяет предположить, что они с Успенским поддерживали связь) и объяснила, что она подруга Успенского. Она даже дала его адрес и объяснила, что Успенский живет в Константинополе и отчаянно хочет приехать в Англию. Теософ передал информацию Брэгдону, который быстро прислал Успенскому три экземпляра книги, а также чек на крупную сумму в качестве гонорара. Успенский был польщен, хотя в своем благодарственном письме Брэгдону он называет «*Tertium Organum*» своей «слабостью» [10].

Брэгдон не мог помочь Успенскому попасть в Англию. Но ангел Успенского работал сверхурочно. Вскоре после начала переписки с Успенским Брэгдон получил телеграмму от неожиданного читателя, леди Мэри Лилиан Ротмер, жены газетного барона и страстной, хотя и ветреной, ученицы разнообразных мистических направлений. Она прочитала «*Tertium Organum*», находилась под большим впечатлением и очень хотела познакомиться с издателем книги. Позднее она появилась, как и Бессарабов, в доме Брэгдона в Рочестере, Нью-Йорк. В результате Успенскому пришла телеграмма: «Под большим впечатлением от вашей книги „*Tertium Organum*“. Хочу встретиться с вами в Нью-Йорке или Лондоне. Оплачу все расходы».

Очевидно, Успенский нашел чудо. Его новообретенная почитательница даже приложила чек.

Визы в Константинополе хотели достать все, и сделать это было трудно. Даже Гурджиев, мастер справляться с любой ситуацией, зашел в тупик. Но у Успенского не было пятен на репутации, и хотя потребовалось некоторое время, ему снова повезло, потому что он знал именно того человека, который мог ему помочь, — Джона Беннета. Беннет уже сказал ему, что в леди Ротмер он практически нашел клад. Успенский надеялся на своих друзей в лондонском Теософическом обществе, но телеграмма леди Ротмер была почти так же хороша, как сама виза. Беннет сказал, что у нее есть влияние в высоких кругах. Прождав несколько недель, Беннет

наконец взял дело в свои руки и объяснил британским властям, что Успенский — важная фигура и будет ценным посетителем.

Беннет также предположил, что семье Успенского тоже будут рады, но в этом вопросе у мадам Успенской было свое мнение. Она предпочитала оставаться на месте, в Константинополе, вместе с Гурджиевым. Его институт снова закрылся, но она не собиралась ехать в Англию.

Успенский уже однажды оказывался в ловушке. Однако не все должно повториться, рассудил он: Гурджиев тоже направлялся в Европу, только в Берлин. В его свите была семья Успенского, в том числе его приемный внук Лойна, с которым Успенский часто играл. Можно предположить, что Успенский будет скучать по нему, хотя в его отношениях с бабушкой мальчика происходило что-то неясное.

Снова дождавшись, пока двинется Гурджиев, Успенский мог уезжать. Новая или забытая дорога вела его в Лондон.

## Глава 15

---

# Лондон зовет

Если дни, проведенные Успенским в «Бродячей собаке», были самыми счастливыми в его жизни, прибытие в Лондон в сентябре 1921 года должно было занимать второе место. Может быть, леди Ротмер не была кладом в буквальном смысле, но тарелки, на которых она подала ужин по случаю приема Успенского, были из золота, так же как ножи и вилки [1]. Она умела представлять гостей и составила впечатляющий список: в разные моменты за обеденным столом или в лекционном зале Успенский встречал Т. С. Элиота, Олдоса Хаксли, Джеральда Хэрда и многих других писателей, журналистов, психологов и врачей. В их числе появлялся А. Р. Ораж, который опубликовал письма Успенского и кинул ему спасательный круг в лице майора Фрэнка Пиндара. Конечно, они встречались раньше, и у них было много общего. Оба были теософами-рenegатами, оба почитали Ницше, оба писали о космическом сознании, и у обоих было стремление к сверхчеловеку [2]. Но хотя Ораж был старше на пять лет, когда он встретился с Успенским в его новом образе учителя гурджиевской системы, между ними немедленно стала очевидна разница. Ораж был учеником, а Успенский, по крайней мере, на это время, учителем. Успенский оказывал огромное влияние на Оража, но его присутствие скоро стали ощущать и в других частях лондонского литературного мира. Элиот и Хаксли, равно как и другие посетители бесед, использовали темы Успенского в своих работах. Успенский оказывал значительное влияние на лондонскую литературную жизнь 20–30-х годов, о чем, как и о его воздействии на русский авангард, известно пока немного.

Успенский не зря думал, что его старые друзья-теософы помогут ему обосноваться в новом доме. Вскоре после его прибытия Дж. Р. С. Мид, с которым, как и с Оражем, Успенский познакомился по возвращении с Востока, организовал серию лекций в Обществе поиска, теософской группе, которую Мид основал в 1909 году. Они следовали за лекциями, которые давались в студии леди Ротмер Circus Road в Сент-Джон-Вуд, и место не могло сильнее отличаться от лагеря беженцев в Принкипо. Интересно, что никто из посетителей этих лекций не слышал о Гурджиеве или работе. За пределами горстки людей, которые лично с ним работали, о Гурджиеве не знали ничего. А вот Успенский был известен — практически знамени-

тость в мире эзотерики. «*Tertium Organum*» очень хвалили, книга успешно продавалась, и если люди, приходившие на его лекции, чего-то и ждали, так это глубоких разговоров о высшем пространстве и четвертом измерении. То, что они получали взамен, одних разочаровывало, а для других становилось откровением.

Во-первых, манеры Успенского не предназначались для того, чтобы угодить слушателям. Учитывая, что в Москве и Санкт-Петербурге он умел держать внимание тысячи человек, можно предположить, что он обладал если не талантом развлекать, то как минимум своего рода харизмой. Если и так, то ко времени прибытия в Лондон он ее растерял. Анна, которая снова с ним встретилась в то время, отмечала изменения. Она говорила, что он «сформировал прочную внешнюю оболочку», и гадала, почему он «разрушил мягкую и поэтическую ауру петербургских дней» [3]. Видимо, ей не приходило в голову, что прочную внешнюю оболочку Успенского мог сформировать опыт общения с Гурджиевым. Мы не можем знать наверняка, но, как предполагает его биограф Колин Уилсон, жесткие слова учителя, которые Успенский слышал у себя в груди, могли говорить о его «мягкой и поэтической ауре», которую Гурджиев, несомненно, считал слабостью [4]. Что бы Гурджиев ни говорил, Успенский с ним соглашался. После трех лет убеждения в разной форме, что он механический, странно было бы, если бы такое промывание мозгов не возымело действия. Успенский пришел к некоему компромиссу. Ему хватало веры в собственные способности и раздражения выходками Гурджиева, чтобы действовать самостоятельно. Но он принял до последней буквы всю отрицательную, хотя и шокирующую доктрину Гурджиева. По иронии судьбы, именно самое явное выражение его «слабости», «*Tertium Organum*», принесло Успенскому славу на Западе — иронию, которую он не мог не заметить.

В любом случае, после того эмоционального, духовного и физического прессинга, которому подвергли Успенского учитель и «история преступлений», он наверняка решил — к добру или к худу — избавиться от слабостей. В сорок два года, потеряв все в жизни, он начинал с начала в чужой стране, опираясь лишь на нескольких знакомых и живописную репутацию. Не время для полумер. Конечно, значительная часть его нового образа вызывалась тем, что разговорный английский у него хотя и улучшался, но все равно был не очень хорош. Кроме того, Гурджиев учил, что одно из основных мест утечки энергии, необходимой для самозменения, — это бесполезные разговоры. Если это утверждение адресовалось словоохотливому Доводит-мысль-до-конца, то он явно принял его близко к сердцу. До конца жизни для всех, кроме самых близких, Успенский представлялся очень немногословным человеком. Годы спустя граф Герман Кайзерлинг — философ и путешественник начала XX века, как и Успенский, — отметил, что Успенский обладал самым строгим

самоконтролем из всех людей, которых он знал, и держал себя в руках даже слишком крепко. Успенский производил такое впечатление на многих из тех, кто встречал его в то время. Его новым прозвищем могло бы стать «Только-по-делу». Для Рома Ландау, который познакомится с ним через много лет, его сдержанность выглядела «результатом внутреннего приказа не говорить и даже не делать больше необходимого... Все, что Успенский хотел сказать, говорилось максимально коротко, и за словами следовала тишина». Нетрудно вообразить, что это приводило к определенным трудностям. «Конечно, было трудно... вести разговор с человеком, который не имел снисхождения к нашим привычным недостаткам или к социальным условностям» [5].

Лондон во времена приезда Успенского все еще находился в хватке славянского безумия, которое достигло пика незадолго до начала первой мировой войны. Постановки Дягилева имели большой успех; в беседах обсуждались романы Арцыбашева «Санин», языческо-нищенский трактат, и «У последней черты» (о котором Успенский говорил в лекциях). Учитывая характер послевоенного мира, это было понятно. Европейская гуманистическая культура рухнула, и все прежние ценности оказались опровергнуты. Т. С. Элиот скоро опубликует свою самую известную поэму, «Бесплодная земля», описание морального вакуума и потери смысла, которые позднее будут ассоциироваться с мрачной философией экзистенциализма. Поэма Элиота полна отсылок к Востоку, эзотерике и оккультизму — мадам Блаватская стала прототипом одного из персонажей, мадам Сосотрис, — и отражает жажду нового учения, которое заполнило бы дыру, пробитую войной в сознании Европы. В этот пейзаж пустоты и бессмыслицы прибыл Успенский со своим новым поразительным посланием.

Его происхождение было достаточно романтическим и драматичным, чтобы вызвать волну интереса даже в эпоху джаза. Философ высших измерений, автор очень успешной книги, который бежал из хаоса павшей России и, несмотря ни на что, добрался до Лондона: ради такой истории рекламные агенты готовы были убивать. Однако согласно большинству рассказов, послание производило куда большее впечатление, чем посланник. Для тех, кто не имел склонности к эзотерике, Успенский был не самой вдохновляющей фигурой. Он либо притягивал, либо отталкивал. Писателю Дэвиду Гарнетту Успенский неприятно напоминал Вудро Вильсона: «Та же широкая демонстрация фальшивых зубов, те же пустые невидящие глаза, та же аура высоких мыслей и патентованных лекарств». В молчании разделяя с Успенским такси, Гарнетт пришел к выводу, что его спутник, «вероятно, гадал, что следует за **ом мани падме хум**» [6]. Пол Селвер, переводчик восточно-европейской поэзии, нашел Успенского «совершенным мужиком». Он был «раздражающим русским», который «кривился, когда я выражал точку зрения, что есть несколько выдающихся



чешских или сербских поэтов» [7]. Настоящей причиной нелюбви Селвера к Успенскому было влияние, которое тот оказывал на Оража, знакомого Селверу через «Новую эпоху», — чувство, которое стало разделять большинство старых друзей Оража. Для Рональда Кинни, издателя *Daily Herald*, Успенский «выглядел как птица, выпавшая из гнезда и нахохлившаяся под дождем», хотя, в отличие от других птиц, эта «была, очевидно, человеком доминантного, если не подавляющего, склада характера, в каждой черте которого виделась целеустремленность — или упрямство». Не любивший конкуренцию Дмитрий Митринович, сербский мистик, которому одно время удавалось заворовать Оража, сразу же возненавидел Успенского. Другие разочаровывались из-за его резкой практичности. Искатель чудесного теперь учил, что чудес не бывает. «Поставьте своей целью сделать возможное и оставьте невозможное в покое... Наши жизни можно надежно построить только на практичном фундаменте», — такие слова Успенского вспоминает один из его слушателей [8].

Одним из читателей «*Tertium Organum*», которого глубоко разочаровало личное знакомство с Успенским, несмотря на сохранившееся восхищение его философией, был писатель Эджернон Блэквуд. Начиная посещать лекции Успенского, Блэквуд уже некоторое время был преданным поклонником высшего пространства, весьма эффектно используя эту тему в своих очень популярных рассказах про Джона Сайленса, детектива-экстрасенса, свободно перемещавшегося по четвертому измерению. Также у него был контракт с, возможно, самым известным магическим обществом современности, Герметическим Орденом Золотой Зари, в числе членов которого были У. Б. Йейтс, романист Артур Мейчен и знаменитый Алистер Кроули. Брэгдон отправил Блэквуду экземпляр «*Tertium Organum*», и книга впечатлила Блэквуда: он весьма ценил Чарльза Хинтона и хорошо знал тему. У Блэквуда и Успенского даже были общие приятели в лице Оража и Дж. Р. С. Мида, и, как ни странно, Блэквуд провел немало времени на Кавказе, где происходят события его мистического романа «Кентавр» (1911). Поэтому, когда Блэквуд наконец познакомился с автором одной из его любимых книг, тот произвел на него неожиданно слабое впечатление. О его лекциях Блэквуд писал:

Я уверен, что с нами делились многими премудростями, давали много ценных подсказок, практических и теоретических, но суммарный результат... ничтожен. Получить прямой и внятный ответ на прямой вопрос было почти невозможно. Я внимательно слушал, но ни разу не слышал, чтобы на внятный... вопрос давали удовлетворительный ответ. Спрашивающего заставляли считать, что его вопрос очень глуп [9].

Последнее замечание относится к уничижительным ответам и не менее уничижительному молчанию Успенского. Он был не склонен терпеть дураков. Когда он чувствовал, что вопрос задают из пустого любопытства

или интеллектуального интереса, то либо отмахивался от него, либо отвечал междометиями. («Был ли Будда человеком номер семь?» — «Я не знаю».) В сочетании с его резким английским эффект должен был быть странный. В основном Блэквуд критикует его за то, что он «запирал чудо за дверьми здравого смысла» [10]. Собственные работы Блэквуда часто обладают «мягкой и поэтической аурой», и, подобно раннему Успенскому, он находил в природе источник мистического вдохновения. То, что Успенский теперь считал подобные чувства незначительными, с большой вероятностью оттолкнуло от него потенциально важного обращенного, хотя Блэквуд продолжал использовать идеи Успенского и Гурджиева в своих многочисленных рассказах, даже назвал поздний сборник «Шок» (1935) [11].

Однако других не разочаровывали строгие манеры Успенского. Прослушав его лекцию, Ораж писал Клоду Брэгдону, что его автор — «первый встретившийся мне учитель, который внушает мне все большую уверенность в том, что он знает и может сделать» [12]. Именно благодаря Оражу образовался основной круг Успенского. Ко времени знакомства с Успенским Ораж уже прошел целую гамму мистических и оккультных учений, самым недавним из которых была психосинтетическая группа, которую он собрал. В отличие от психоанализа, направленного на разбирание души на части, психосинтез занимался соединением психологии с религией и мистицизмом; по понятным причинам он находил больше поддержки в работах Юнга, чем Фрейда. Одним из психосинтетиков, которого привел с собой Ораж, был Морис Николл; он окажется самым важным из лондонских учеников Успенского и также станет одним из его немногих друзей. Юнг уже планировал сделать Николла своим представителем в Англии, и между ними возникли близкие отношения. Когда позднее Фрейд обнаружил, что Николл оставил Юнга и отправился работать с Гурджиевым, то нашел в этом подтверждение своему мнению о бывшем ученике, чей интерес к оккультизму никогда не одобрял. Получив известие о том, что Николл уехал в Фонтенбло, Фрейд заметил другому своему поклоннику: «Видите, что происходит с учениками Юнга?»

Николл был под таким же глубоким впечатлением, что и Ораж. В августе, пока Успенский все еще прохлаждался в Принкипо, Николл написал в своем дневнике: «Молитва Гермесу. Научи меня — проведи меня — покажи мне Путь, чтобы я знал уверенность, — помоги моему великому невежеству, освети мою тьму? Я задал вопрос».

Сидя два месяца спустя в аудитории Общества поиска, Николл думал, что получил ответ. В тот вечер он поспешил домой к жене, которая восстанавливалась после рождения первенца. Тряся ее кровать, он заявил, что она должна пойти послушать Успенского. «Это единственный человек, который отвечал на мои вопросы», — сообщил он. Его возбуждение было настолько велико, что он даже забыл спросить про ребенка. Успенский, по

его словам, был пророком. Вероятно, настойчивость Николла была заразна: его жена последовала его совету и вскоре разделила его убежденность.

Не все лица были новыми. Беннет вернулся в Англию из Турции и пришел навестить Успенского в его гостиничном номере на площади Рассела. Успенский рассказал Беннету о своем успехе, и Беннет попросил посетить несколько лекций. Он не был уверен, останется ли в Лондоне, и предполагал, что может вернуться в Турцию и продолжить занятия. Успенского это не смутило, и он пригласил Беннета на лекции. По поводу Турции он сказал следующее: «Вы не можете решить. Если вы поедете в Турцию, то не потому, что вы так решили. Ни у кого нет власти решать». Эту доктрину в последующие годы услышат многие.

Одним из тех, кто услышал это послание, стала Розамунда Шарп. Под ироничным псевдонимом Розамунда Бланд\* она написала серию писем безымянному другу во время первых нескольких месяцев в рядах учеников Успенского. Она была замужем за редактором Клиффордом Шарпом, но брак оказался несчастливым (у нее уже был роман с Г. Дж. Уэллсом), и, когда Ораж предложил ей посетить Успенского, она решила, что это очередной психолог, в соответствии с последним увлечением Оража. Ораж сказал, что «наконец нашел человека, в которого может верить» [13]. В его устах это было высшей похвалой.

Хотя сначала она не могла определиться с мнением об учении Успенского, но в нем было что-то привлекательное. Это была не религия, не философия и не психология, но сочетание всех трех с неожиданно практичной точки зрения. Ее не интересовала аура тайны, окружавшая Успенского, или атмосфера салона леди Ротмер, где Успенский был «последней модой» — вполне верная оценка, потому что леди Ротмер предсказуемо охладела к нему и переключилась на другие увлечения. Но Успенский, видимо, что-то в ней заметил. Как часто делал со своими учениками Гурджиев, он пригласил ее встретиться наедине. Местом встречи стал китайский ресторан на Оксфорд-стрит, который с годами стал любимым местом Успенского.

Перед встречей Розамунда волновалась, а когда пришла и обнаружила перед рестораном в одиночестве ждущего ее Успенского, то удивилась, потому что ожидала, что к ним присоединится Ораж. Они проговорили два часа. Успенский явно пытался оценить произведенное впечатление, потому что спросил, что она вынесла из последней встречи. Вскоре ее волнение угасло, и она обнаружила, что за внешним жестким и профессиональным образом скрывается «чудесный человек», у которого «самая милая улыбка на свете» — «единственная его привлекательная черта с обывательской точки зрения, конечно, если не считать ума» [14]. Затем Успенский

---

\* Шарп (англ. Sharp) — острая; Бланд (англ. Bland) — мягкая. — *Примеч. пер.*

попросил ее сформулировать желание, *цель*, и сказал, что может помочь его достичь — стратегия преподавания, которую он будет использовать в последующие годы. Она призналась, что переживала тяжелый период в жизни: у нее была депрессия, головные боли, и ей казалось, что она вот-вот сорвется. Ее жизнь стала, как когда-то у Анны, невыносимой.

Теоретические материалы, которые нужно было освоить, ошеломили, но вскоре Розамунда почувствовала перемены. Как обнаружил Успенский вместе с петербургской группой, так и она открыла, что теряет многие из прежних интересов, и что ее друзья ощущают, как она меняется. Этого она боялась, но уже чувствовала, что Успенский предлагает ей что-то, что она больше нигде не получит; осязаемым признаком этого было то, что ее головные боли прошли. Успенский, как Гурджиев, выдавал свое учение по кусочкам; Розамунда и остальные должны были самостоятельно складывать кусочки вместе. Задача была тяжелой, и Розамунда признавалась, что «неумна», но сами усилия оказывались полезны.

Ее личные отношения с Успенским тоже развивались: она обнаружила, что он не всегда бывает холодным незэмоциональным учителем. Она часто навещала его в квартире на Гвендир-роад, которую предоставила леди Ротмер, — довольно жалком жилище, как опишет его другой ученик, Кеннет Уокер. Для Розамунды оно выглядело «маленькой темной подземной комнатой, очень похожей на могилу» [15]. Там она нашла кошек, которые сопровождали Успенского всю жизнь. Кошки были его любимыми животными, потому что, по его словам, они обладали астральным телом. (Позднее он расскажет Морису Николлу, что они также помнили себя, если только поблизости не было лосося.) Розамунда считала английский Успенского очаровательным — он просил ее исправлять его ошибки — и, найдя его в таком теплом и дружелюбном настроении, писала, что «я впервые чувствую, что он действительно человек» [16]. Именно для Розамунды Успенский, как упоминалось ранее, покупал пирожные и делал чай, до которого был большим любителем: каждый год Твиннингс, знаменитый купец, приглашал его на ежегодную дегустацию.

Как ни странно, один из друзей, от которых Розамунда начала отдаляться, был сам Ораж. Успенский тоже был им недоволен и замечал Розамунде, что Ораж только играет с интеллектом, но настоящей преданности делу не испытывает. На одном собрании Успенский уже отчитал Оража за недостаточную серьезность. Вскоре Ораж покинет Успенского, чтобы сидеть у ног своего настоящего учителя. Скорее всего, харизматичному и блестящему редактору не нравилось, что его вызывает на ковер человек, которого он практически спас от голодной смерти.

Подобно Успенскому в Санкт-Петербурге, Розамунду интересовала собственная цель ее учителя: зачем он это делает? В отличие от Гурджиева, Успенский открыто говорил, что в школах делается некая «великая

работа». Он признавался, что в конечном счете его не особенно интересует благополучие учеников. «Проснутся» люди ради своего же блага или нет — ему это неважно. (Годы спустя Гурджиев будет говорить более резко: однажды он заявил шокированному К. С. Ноту о своих учениках, что ему «нужны подопытные крысы», а с Клодом Брэгдоном говорил о своих «дрессированных морских свинках» [17].) Успенскому было важно найти людей, которых можно было бы использовать в великой работе. Он не вдавался в ее подробности, но очевидно, что это ранняя версия того, что со временем станет его идеей фикс: необходимость вступить в контакт с высшим источником, который он называл Внутренним кругом, эзотерическими мастерами реальности. Он считал, что Гурджиев так и сделал. Но Успенский пришел к мысли, что где-то по дороге Гурджиев потерял контакт с ними, разорвал цепь инициаций и теперь действовал самостоятельно. Система приходила от источника, отсюда решение Успенского держаться за него. Гурджиев был только посланником, и если Успенский сможет как-то показать Внутреннему кругу, что понимает учение и готовит людей, возможно, *они* вступят с ним в контакт. Он снова искал школу, но на этот раз надеялся привести гору к Магомету.

В любом случае Успенский мог считать Розамунду многообещающим материалом. Когда она сообщила, что решила не заводить детей, он одобрил, сказав, что это хорошее решение для такой женщины, как она, и добавил, что это решение «лучше для работы» [18]. Однако к декабрю 1921 года, всего через несколько месяцев после своего появления, подавленный Успенский сказал Розамунде, что подумывает вернуться в Константинополь. Дела шли не слишком хорошо. Ученики недостаточно быстро продвигались. Никто не относился к делу серьезно, особенно Ораж. Не стоило тратить энергию на те результаты, которые он получал.

Было ли это проявлением раздражительности? Или игрой в гурджиевском стиле, чтобы заставить лондонскую группу ценить то, что он им предлагает? Трудно поверить, что он действительно задумывался об отъезде. К этому времени собрания перенесли из Сент-Джонс-Вуд в теософский зал на Уорвик-Гарденс, тридцать восемь, помещение побольше в Эрлс-Корт, ближе к его комнате в Бэронс-Корт. Три вечера в неделю от сорока до пятидесяти человек собирались слушать его лекции. Рассказывал он им невеселые вещи:

Вы думаете, что знаете, кто вы и что вы, но вы не знаете ни того, какие вы рабы, ни того, какими свободными можете стать. Человек ничего не может сделать: он всего лишь машина, управляемая внешним влиянием, а не собственной волей, которая есть иллюзия. Он спит. У него нет постоянного «Я», которое он мог бы назвать «Я». Поскольку он не один, а много, его настроения, импульсы, его чувство собственного существования не более чем постоянные изменения. Не обязательно верить в то, что я вам говорю, но

если вы понаблюдаете за собой, то убедитесь в истинности... Как человек, который не может вспомнить, кто он и что он, который не знает, какие силы приводят его в действие, может притворяться, что он что-то может сделать? ...первая истина, которую нужно понять, — то, что вы, я и все люди не более чем машины [19].

Он завоевал многих, хотя и не всех. Однажды знаменитый оккультист и ученый А. Е. Уайт — являвшийся, как и Элджернон Блэквуд, членом Ордена Золотой Зари — встал и заявил в лицо Успенскому и его аудитории, что в его системе «нет любви», и вышел. Дж. Г. Беннет счел это смешным. Что об этом думал Успенский, неизвестно, но можно сделать некоторые предположения. Хотя десять лет спустя он напишет, что любовь — это «космический феномен», великая тайна и творческая сила, в системе, которую разрабатывал Успенский, она роли не играла. Она, как и все остальное, была всего лишь выражением механичности человека. Было ли в этом нечто большее, чем стремление Успенского придерживаться буквы доктрины, которую он перенял от своего безжалостного учителя? Или то, что жена не последовала за ним в путешествие и не разделила его триумф, сыграло свою роль? Успенский не говорит. Мы знаем, что он много работал, передавал ученикам все, что знал, поощрял их вспоминать себя, объяснял космологию Гурджиева, требовал от них жертв. Однажды это приняло форму драгоценного чайного сервиза. Его владелица думала, что если сможет разбить одну чашку — которая передавалась в ее семье поколениями — то это поможет ей помнить себя. Успенский согласился, но она не смогла заставить себя это сделать.

В те часы, когда Успенский не занимался отделением эзотерических зерен от повседневных плевел — которые, как он сообщил своей пастве в духе Нового Завета, сгорят в огне — он отдыхал в обществе Николлы и его жены в Честер-Террас, рядом с Регентским парком. Там к ним часто присоединялись Ораж и Клиффорд Шарп. В Николле Успенский нашел интеллигентного и остроумного хозяина дома. У них было много общего. Николла, как и Успенского, очень интересовали время, Евангелия и психология, кроме того, он написал под псевдонимом несколько романов. Успенскому, который меньше шести месяцев назад пытался выжить, преподавая английский таким же беженцам, должно было казаться, что он наконец достиг какой-то стабильности.

Однако его ожидало потрясение.

## Глава 16

---

# Возвращение господина Г.

Приключения Гурджиева в Германии не принесли ему успеха. Он прочитал лекции в Берлине, но снова не сумел найти надежную опору для своего института. Попытка купить Хеллерау в Дрездене — бывший центр Института пластической гимнастики Далькроза — привела к юридическому конфликту и злобешнему обвинению, что Гурджиев использовал в своих целях гипноз. Владелец уже сдал часть здания другим жильцам, одним из которых был прогрессивный просветитель А. С. Нилл, но Гурджиев хотел получить все помещение и как-то убедил владельца согласиться. Когда Нилл и другие принялись яростно размахивать договорами, владелец отступил, и Гурджиев принял нехарактерное для него решение обратиться в суд. Владелец сказал судье, что Гурджиев заставил его нарушить соглашение под гипнозом, и Гурджиев проиграл дело. Для человека, который мог говорить у Успенского в груди, было, наверно, несложно убедить владельца, что у него и Гурджиева одинаковые цели [1]. Однако за несколько лет до этого Гурджиев дал обет никогда не использовать свои силы для собственной выгоды — эта «искусственная жизнь», как он позднее ее назовет, будет играть роль «будильника», постоянной «побудки» и стимула «помнить себя» [2]. Если он действительно использовал свои силы, чтобы получить Хеллерау, то либо нарушил обет, либо обет, как и многое из сказанного им, был выдумкой.

Успенский слышал о трудностях Гурджиева, но, проявляя характерную сдержанность, говорил о них очень общо, упомянув только «странные события... которые привели к судебному конфликту» [3]. К тому времени он начал писать мемуары о годах, проведенных с Гурджиевым. Со временем, после многих мучений, сомнений и смены названия, эта книга — уже по-смертно — выйдет под заголовком «В поисках чудесного» [4]. Неизвестно, спрашивал ли Успенский когда-нибудь у Гурджиева, что именно произошло в Дрездене, хотя было бы наивно полагать, что если он это делал, то получил четкий ответ. Однако у него была такая возможность, потому что в феврале 1922 года Гурджиев прибыл в Лондон.

Прослышав об успехе Успенского, Гурджиев, который уже несколько раз «попал в молоко» со своим институтом, решил навестить своего бывшего заместителя. Успенский пригласил Гурджиева на свои лекции и познакомил со своими последователями. Его отношение стало более «определенным». Как и раньше, он чувствовал, что из работы Гурджиева можно многое почерпнуть, и решил снова помочь ему с институтом и продолжающейся «Битвой магов», которая до сих пор не увидела свет. Но Успенский твердо стоял на одном: он лично не будет работать с Гурджиевым. Все, что вставало между ними, никуда не делось.

Его ученики считали иначе. Их приводил в восторг визит учителя. В Уорвик-Гарденз собралось около шестидесяти человек, чтобы услышать послание прямо от источника. Присутствие Гурджиева производило такое впечатление, что большую часть времени аудитория молчала. На платформе вместе с Гурджиевым и Успенским находились Ольга де Гартман и Фрэнк Пиндар, выступавшие в качестве переводчиков Гурджиева. Гурджиев принялся говорить о многих «Я» и о невозможности изменить эмоции одним решением. После нескольких минут ошеломленного молчания один смельчак решился задать вопрос: «Каково это — сознать в сущности?» — «Все выглядит более живым», — получил он лаконичный ответ.

Практически мгновенно у Успенского выдернули ковер из-под ног. Познав Гурджиева, Ораж, главная находка Успенского, сменил сторону. «Я знаю, что Гурджиев — истинный учитель», — заявил он. С ним соглашались многие, и, когда Гурджиев объявил, что подумывает об основании своего института в Лондоне, можно представить смятение Успенского: он говорит, что если бы так и произошло, то он уехал бы в Париж или Америку. Однако сохраняя верность бывшему учителю, Успенский сделал все, что было в его силах, чтобы ему помочь, и его ученики собрали достаточно денег, чтобы заплатить за проезд всей гурджиевской труппы. Гурджиев был, несомненно, благодарен за помощь, однако он еще не закончил с Успенским, и во время частной встречи сообщил ученику-ренегату, что все его попытки преподавать систему ничего не стоят. Его собственное развитие тоже подвергалось риску. Для того чтобы спасти себя, ему нужно было немедленно и полностью отказаться от гордости и стать таким же учеником, каким была его жена.

Можно представить реакцию Успенского. Когда он отказался принимать совет Гурджиева, тот воспользовался еще одной лекцией, чтобы напомнить группе Успенского, что их учитель не имеет права и квалификации преподавать *его*, Гурджиева, систему, тем самым вызывая сомнения в ее источнике, Сармунском братстве. Дополнительным ударом стало то, что, когда Успенский отметил ошибки в переводе Пиндера и исправил их, Гурджиев открыто его отчитал. «Пиндер переводит для меня, а не для тебя», — объявил Гурджиев удивленной группе. Все это было явно запла-



нировано, и вполне простительно, что Успенскому было трудно не выражать в тот вечер отрицательные эмоции. За это последнее «выступление» Успенский никогда не мог простить Гурджиева.

Позднее Гурджиев сказал Пиндеру, что теперь ученикам Успенского придется выбирать учителя. Верные — такие как Пиндер — не видели в этом ничего, кроме искреннего беспокойства Гурджиева из-за того, что Успенский и его паства сбились с пути. Менее великодушные восприняли это по-другому: провалившись в Тифлисе, Константинополе, Берлине и Дрездене, Гурджиев воспользовался успехом Успенского, чтобы основать свою школу в Лондоне. Однако провалился и этот план. Институт открылся, но Гурджиеву отказали в необходимой визе. Когда он решил, что теперь попытает силы во Франции, Успенский наверняка вздохнул с облегчением.

На деньги, собранные последователями Успенского — в основном пожертвования леди Ротмер и Ральфа Филипсона, угольного миллионера, — в июле 1922 года Гурджиев купил красивое, но потрепанное шато в Фонтенбло, в шестидесяти пяти километрах от Парижа. У «аббатства» — шато Приер — была интересная история: сначала в нем жила фаворитка Людовика XIV, мадам де Ментенон; позднее там располагался монастырь кармелитов; а потом дом перешел в собственность Фернана Лабори, адвоката в знаменитом деле Дрейфуса. После того, как он попал в руки Гурджиева, его репутация достигла нового размаха. Здесь, наконец, Институт гармоничного развития человека обретет надежный фундамент.

Практически сразу после открытия Приер в сентябре ученики Успенского массово перекочевали за Ла-Манш. Ораж, Николл, Беннет и многие другие покинули пасмурный Лондон ради зачарованных лесов Фонтенбло. Успенскому казалось, что там собралась «очень пестрая компания». Одни приехали из Санкт-Петербурга, другие — из Тифлиса, третьи — из Константинополя, четвертые — из его лондонских групп. Успенский считал, что многие из отправившихся туда поторопились, но они уже решили ехать, и он ничего не мог поделать. Сам он нанес первый визит в начале ноября. Хотя он увидел весьма интересную и активную работу, но у него было ощущение, что весь проект организован неправильно и выглядит нестабильно. Как и в Эссентуках, жители дома сами вели хозяйство, занимались садом, готовкой и прочими делами, но здесь территории было больше, и работы, соответственно, тоже. Гурджиев читал лекции и учил движениям, танцам и упражнениям.

Некоторые из учеников Успенского отмечали, что больше всего в Приер привлекало то, что здесь предлагали своего рода короткий путь. Так и было — с помощью тяжелых упражнений, сверхусилий. Отказавшийся ради Фонтенбло от «Новой эпохи», сорокадевятилетний Ораж копал канаву, а потом засыпал ее, снова и снова, несколько раз. «Будильник»

запрета курения, тяжелого труда и частых резких замечаний Гурджиева скоро заставил редактора разрыдаться. Николл бросил выгодную практику на Харли-стрит и приехал вместе с женой и младенцем. Ему поручили работу «поваренка». Просыпаясь в пять утра, Николл разводил котлы и начинал день. К одиннадцати он перемывал сотни грязных жирных тарелок, чашек, котлов и кастрюль, без мыла или горячей воды. Его жена готовила. Так продолжалось три месяца. Почему-то Гурджиев назначил Николла козлом отпущения, и, когда что-то случилось, как бывало часто, учитель кричал: «Николл!» и делал жест отчаяния. Основными командами были «Больше!» и «Быстрее!», и Гурджиев (если позволить себе перепутать метафоры) умел тасовать колоду, так что ежедневно все наступали на десятки граблей, что создавало необходимое, по его мнению, трение «да» и «нет». Но, возможно, сложнейшие сверхусилия доставались ребенку. Романист Фриц Петерс, которого мальчиком привезла в Приер его тетя Маргарет Андерсон, представитель литературного авангарда, должен был косить широкие лужайки вокруг шато за все меньшее и меньшее время, пока, наконец, всю огромную территорию не приходилось охватывать за полдня. Свидетельство преданности, которую вызывал Гурджиев — и выносливости юного Петерса — в том, что ему это удалось.

Единственным посетителем Приер, которому не приходилось работать, была писательница Катарина Мэнсфилд, бывшая любовница Оража, который ее практически открыл. Ее познакомили с Успенским, когда стало очевидно, что она уже умирает от туберкулеза. Когда Успенский с ней говорил, она находилась, по его словам, «на полпути к смерти» [5]. Она собиралась использовать оставшееся ей время по максимуму, что для нее означало поехать в Приер. Успенский лично дал ей адрес. Позднее, встретившись во время другого визита в Фонтенбло, он говорил с ней о ее духовных стремлениях. Ей казалось, что и она, и остальные — выжившие в кораблекрушении, которых выбросило на негостеприимный остров, и они сами не осознают свою сложную ситуацию; ощущение, которое наверняка было знакомо Успенскому, с его чувством нелепости жизни. Гурджиев, который хорошо понимал, что Мэнсфилд доживает последние дни, поместил ее в амбар, где, по его мнению, вдыхание запаха коров оказывает успокаивающий эффект. Помогло это или нет — неизвестно, но, судя по письмам, последние дни Катарины Мэнсфилд были полны необычайной радости. Тем не менее, после ее смерти в начале 1923 года у Гурджиева образовалась зловещая репутация, которая составляла значительную часть его известности до конца его карьеры. Примерно в то же время Успенский обнаружил, что в его отсутствие распространились слухи о склонности Гурджиева соблазнять своих учениц. С типичной для себя верностью Успенский их отверг, хотя у него могли быть причины принять их всерьез.

Успенский несколько раз ездил в Фонтенбло, и в большинстве случаев Гурджиев приглашал его остановиться в Приер. Успенский отказывался. Он признавал, что искушение было велико, но не мог найти там покоя. Однажды утром в Лондоне Успенский получил телеграмму от Софьи Григорьевны с просьбой немедленно приехать в Приер. Когда он прибыл, его встретил Гурджиев. Он сообщил Успенскому, что недоволен многими учениками и чувствует, что ситуация выходит из-под контроля. Собрав учеников, Гурджиев разделил их на семь групп, в первую из которых вошли Ораж, доктор Джеймс Янг (еще один психосинтетик) и доктор Стернвал. Затем Гурджиев объявил, что только первая группа может оставаться и работать с ним, а остальные должны уехать, в том числе жена и падчерица Успенского. Как будто этого было недостаточно, чтобы шокировать, он добавил еще одно объявление: с этого момента он разрывает всякие отношения с Успенским. Теперь унижение бывшего ученика было завершено. Непонятно, что вызвало такие действия, но, к сожалению, свидетельства указывают на пререкания между Оражем и Успенским по поводу якобы «неудачи» Успенского организовать британскую визу для Гурджиева. Также были конфликты из-за того, что Успенский говорил журналистам. В статье о Приер в газете London Daily News цитировались следующие слова Успенского: «Мы с Гурджиевым достигли нынешнего уровня знаний в ходе долгой тяжелой работы во многих странах...» От себя журналист написал, что «в Гурджиеве он [Успенский] нашел родственный дух, который дальше прошел по тому же пути». Для того, кто много говорил о том, что необходимо не идентифицироваться с мелким эгоизмом или воздерживаться от «внутреннего обдумывания» — то есть не заботиться о том, что говорят о тебе другие, — странно беспокоиться от того, что часть внимания прессы досталась не тебе. Успенский сумел собрать финансы для Приер, он был известным и уважаемым автором, так что его упоминание в статье о работе Гурджиева могло пойти только на пользу.

Скандал был достаточно велик, чтобы вызвать много трений, и это демонстрирует, что, к сожалению, даже на пути к чудесному не обходится без мелких вендетт и желания заслужить похвалу гуру. Когда Гурджиев начал отчитывать Успенского за то, что он недостаточно осторожен в выборе людей, которым позволяет работать — что беспокоило Успенского в подходе Гурджиева к выбору — можно представить, что для Успенского это стало последней каплей. Он продолжал посещать Приер, но не реагировал ни на какие уговоры Гурджиева вернуться и работать.

В любом случае, Гурджиев уже не ставил все на возможность заманить обратно Успенского. Его бывший ученик направил в его сторону достаточно нового материала, чтобы рассмотреть других кандидатов на место Успенского. Одним из них был Дж. Г. Беннет. В один из визитов Беннета Гурджиев пригласил его в деловую поездку в Мелун — тогда он

все еще участвовал в нескольких схемах по зарабатыванию денег — и по пути домой (что само по себе было инициацией, потому что Гурджиев очень плохо водил) они свернули на лесную дорогу. На поляне они говорили по-турецки, и Гурджиев сообщил Беннету о своих масштабных планах. Он намеревался купить еще землю и построить на ней обсерваторию, чтобы изучать движение планет. Гурджиев сказал Беннету, что у него есть большой потенциал, и что хотя работа долгая, но в его случае двух лет преданного служения учению Гурджиева будет достаточно, чтобы работать в одиночку (что противоречило его утверждению, будто в одиночку человек ничего не может сделать). Идея явно показалась Беннету привлекательной, но он колебался. Тогда Гурджиев предложил сопровождать его в поездке в Америку в качестве переводчика. Беннет обдумал это предложение, но в итоге отказался. Возможно, Гурджиев знал, что он откажется: когда Беннет попытался заговорить с ним о своем решении, учитель его проигнорировал. Уезжая из Приер в Лондон, Беннет даже не смог найти его, чтобы попрощаться [6]. Беннет останется учеником Успенского, и только в 1948 году, через двадцать пять лет, он снова вернется к Гурджиеву.

Другой целью был Николл. Потеряв интерес к Беннету, Гурджиев решил, что его правой рукой может стать Ораж. Но, очевидно, он считал, что Оражу может понадобиться помощь, поэтому предложил Николлу возможность сопровождать Оража в Новый Свет. Конечно, есть вероятность, что Гурджиев заметил крепнущие отношения между Успенским и Николлом и решил их разлучить. В результате Николл, который пробыл в Приер год, счел, что настало время возвращаться в Лондон, и отказался от предложения Гурджиева. Как Гурджиев на это отреагировал — неизвестно. В любом случае, в Ораже он нашел умелого и полного энтузиазма толкователя, и в декабре 1923 года Ораж и доктор Стернвал пересекли Атлантику и привезли работу в Нью-Йорк. Ораж провел следующие десять лет, распространяя идеи Гурджиева в Соединенных Штатах, но порвал с ним, когда против желания учителя женился на Джесси Дуайт, молодой, решительной и независимой женщине, которую Гурджиев не интересовал. Однажды, когда война между учителем и женой была в разгаре, Гурджиев мрачно посмотрел на новобрачную Джесси и предупредил: «Если ты не дашь моему сверхидиоту вернуться ко мне, то сварись в кипящем масле» [7]. Большую часть миссии Оража в Америке составляли попытки собрать денег для Приер, потребность в которых была постоянной и, по признанию Оража, стоила ему значительной части последователей, которых он так старательно искал. Стоит отдать Оражу должное — он в конце концов вернулся в Англию, где погрузился обратно в литературу и журналистику. Он умер в 1934 году, прочитав речь об экономике на канале BBC.

## Глава 17

---

### «Он может сойти с ума»

Вернувшись из Фонтенбло, Николл занял прежнее место на лекциях Успенского. В то время Успенский собирал материалы, которые со временем будут опубликованы под названием «Новая модель Вселенной». Заглянув в подвальную квартиру Успенского, Николл застал его за работой. Он писал, что Успенский читает Новый Завет на немецком, французском, русском и английском, и когда говорит о стихе, то смотрит перевод каждого из них и в греческой версии. У него в комнате несколько словарей. Он любит очень остро заточенные карандаши и всегда держит несколько на столе. Полка над камином покрыта старыми фотографиями, гравюрами и пачками копировальной бумаги. Он сидит на маленьком неудобном стуле. Стены увешаны собранием разнообразных картин, принадлежащих домовладельцу; Николл подолгу смотрел на многие из них, но так и не вспомнил ни одной [1].

Николл привел к Успенскому еще одного важного ученика. Возобновив практику на Харли-стрит, Николл встретил старого друга, Кеннета Уокера — тоже врача и отчасти писателя. Уокер недавно издал детскую книгу о Ноевом ковчеге, и, вторя Успенскому, Николл рассказал ему о группе людей в Лондоне, которые занимались постройкой собственного ковчега. Уокер знал, что Николл отказался от практики и отдался странной жизни с таинственным восточным гуру, и сначала слова друга ему не понравились. Со временем он позволил уговорить себя посетить одно из собраний Успенского. Он будет ходить на них следующие двадцать четыре года.

Воспоминания Уокера о ранних днях групп Успенского создают впечатление, что это были тайные собрания секретной нелегальной организации, своего рода современных иллюминатов\*. Возможно, они были секретными, но не нелегальными, и трудно определить, была ли атмосфера

---

\* *Иллюминаты* (лат. *illuminati* — просвещенные) — общее название нескольких тайных групп, современных и исторических, реально существовавших и фиктивных, раскрытых или предполагаемых. Обычно использование данного термина предполагает наличие зловещей организации заговорщиков, которая стремится управлять мировыми делами негласно, изменив существующий порядок в своих целях.

плаща и кинжала результатом легкой паранойи Успенского или его собственной игрой. Прибыв в Уорвик-Гарденз, Уокер увидел у дверей женщину, которая сверила его имя со списком. Затем он вошел в комнату — пустую, за исключением нескольких низких стульев перед доской и маленького стола. Стены украшали несколько картин, на подоконнике стояла ваза с искусственными цветами вишни. Люди приходили парами и тройками и прилежно хранили молчание. Аудитория выглядела интеллигентно, подумал Уокер, но не слишком интересно. Успенский пришел задолго до объявленного начала лекции. Стулья показались Уокеру неудобными, а вся атмосфера напоминала пресвитерианские церкви, которые он посещал в юности.

К этому времени Успенский был весьма крепким человеком среднего роста. Из-за его коротко стриженных волос Уокер подумал, что он выглядит больше как ученый или юрист, чем как мистик. Успенский сел за стол и, не глядя на аудиторию, вынул из кармана лист бумаги. Он рассматривал его несколько секунд, держа в нескольких сантиметрах от своего пенсне. Наконец он повернулся к группе и сказал: «Итак?» — прежде чем начать короткими фразами говорить об иллюзорном чувстве «Я». Примерно такого метода он будет придерживаться следующие семь лет. Он поощрял группу сомневаться во всем, что он говорил. «Вера здесь не нужна, — говорил он. — Принимать что-то на веру, когда это можно доказать или опровергнуть, — признак лени». Когда женщина задала вопрос об искусстве, предположив, что Леонардо, Микеланджело и другие великие не могли быть совершенно механическими, Успенский не согласился с ней. Он не пытался спорить, убеждать или уговаривать. Уокеру Успенский показался «настолько отстраненным от всего, что я чувствовал, что его не поколебать даже взрывом» [2].

В конце встречи Уокер спросил, будет ли новая на следующей неделе. Ему посоветовали оставить свой номер телефона, и, возможно, ему позвонят. Уходя, он увидел, как секретарь просил группу людей, разговаривавших у входа, разойтись. Уокер не мог понять нужду в такой секретности; тем не менее, сам Успенский произвел на него впечатление, и Уокер хотел знать больше. Сходив еще на несколько собраний, Уокер попросил о личной встрече.

Когда он приехал на Гвендир-роад, ему пришлось подождать, потому что Успенский занимался проявлением фотографий. Уокер воспользовался этой возможностью, чтобы осмотреть комнату. Вдоль одной стены стояла кровать, напротив нее — два стула по обе стороны от газового камина. У другой стены стоял низкий книжный шкаф. На столе в центре комнаты стояли и лежали книги, бумаги, печатная машинка, фотографии, какие-то старые гравюры, письма, фотоаппарат, гальванометр и неопределенный научный инструмент. На камине стояла полупустая банка сардин с хле-

бом и сыром, грязная тарелка, нож и вилка. Уокер все это расценил как «приятное безразличие к неудобствам, из которых в основном и состоит жизнь» [3]. Вернувшись, Успенский включил камин, и оба сели. В ту встречу Уокер обнаружил, насколько трудно «вести беседу с человеком, который отвечает на вопросы, но сам их не задает». После нескольких общих вопросов, среди которых был: «Почему вы читаете эти лекции?», на который Успенский рассмеялся, разговор иссяк. Но в нем все-таки мелькнул один проблеск мудрости: «Важнее всего иметь в жизни четко определенную цель», — сказал Успенский своему гостю, чувствовавшему себя все более неловко. Уокер, несомненно, оценил совет, но, в общем, Успенский произвел на него впечатление безличности. Он говорил, что Успенский — человек, который находится далеко [4].

Отстраненность Успенского — черта характера, с которой сталкивались все, кто с ним встречался, за исключением Николла. Беннет отмечает, что, вернувшись в Лондон из Приер, он очень хотел поговорить с Успенским о том, какой глубокий опыт получил от сверхусилий, когда, как и Успенский, преодолел свое сопротивление и дотянулся до высшего аккумулятора. Но Успенский не отреагировал на эти попытки. А когда Беннет заговорил о замечаниях Успенского по поводу разных энергий и их разных скоростей, Успенский проявил мало интереса.

Вполне вероятно, что Успенского это действительно не интересовало; не к его чести будь сказано, но с годами он проявлял все меньше интереса к идеям, выходящим за рамки того, чем он сам был одержим. Однако действовал и другой фактор. Как-то миссис Бомонт заговорила с Успенским о своих сомнениях в Гурджиеве и спросила, считает ли он Гурджиева хорошим человеком. В то время Успенский уверял ее в этом, а сейчас он и сам сомневался.

В январе 1924 года в квартире Ральфа Филипсона, главного источника финансовой поддержки Успенского, он собрал своих главных учеников и сообщил им, что разрывает все связи с Гурджиевым. Хотя они знали, что уже несколько лет отношения между Успенским и Гурджиевым далеко не теплы, это объявление все равно всех шокировало. Успенский спросил, есть ли у них идеи, как им продолжать работать. После нескольких замечаний он заключил, что в будущем его группы будут работать независимо от Приер: это означало, что ученикам придется выбирать между ним и Гурджиевым. Если они выбирают его, это значит, что им нельзя поддерживать контакт с Гурджиевым. После нескольких минут молчания Филипсон, прямолинейный бизнесмен из Нортумберленда, задал очевидный вопрос: почему?

«Гурджиев экстраординарный человек, — ответил Успенский. — У него гораздо больше возможностей, чем у таких людей, как мы. Но он также может пойти неправильным путем. Я считаю, что сейчас он

переживает кризис, результат которого никто не сможет предсказать. У большинства людей много „Я“... Но у Гурджиева только два „Я“: очень хорошее и очень плохое. Я считаю, что в конце концов хорошее „Я“ победит. Но до тех пор находиться рядом с ним крайне опасно» [5].

Кто-то спросил: «А что, если хорошее „Я“ не победит?»

«Он может сойти с ума. Или он может привлечь несчастье, которое затронет всех, кто окажется рядом с ним» [6].

Через шесть месяцев слова Успенского подтвердились.

Американская миссия Оража шла успешно, и после высоко оцененного представления «движений» в Theatre des Champs Elysees в Париже Гурджиев отправился через Атлантику. Он и его танцевальная группа стали в Нью-Йорке хитом. Очаровательный и интеллектуально богатый Ораж познакомил Гурджиева с десятками поклонников из областей литературы, искусства и других профессий, собирая группы и набирая множество сильных преданных учеников. В июне Гурджиев вернулся во Францию. Хотя Успенский разорвал связи с учителем, но еще один раз навестил его в Приер. Маргарет Андерсон вспоминает, что в тот раз, сидя за роскошным столом слева от Гурджиева, Успенский вел себя как маленький мальчик, покрасневший от влитого в него арманьяка [7]. Зная любовь Успенского к спиртным напиткам, трудно представить, что их в него «вливали», и описание Андерсон страдает от тех же недостатков, что и рассказы остальных, пытавшихся заслужить похвалу учителя. Однако любопытно, что Успенский, проведя черту в январе, снова оказался в гостях у Гурджиева. Возможно, он проверял полученные сообщения об отношениях Гурджиева с восторженными ученицами. А может, он навещал жену.

8 июля Гурджиев и Ольга де Гартман находились в Париже и должны были в тот же вечер вернуться в Приер. Оба совершали эту поездку вместе несколько раз, и Ольга продемонстрировала большую смелость, езда вместе с Гурджиевым, который, как отмечал Успенский, водил машину так, словно ехал верхом. В тот день, прежде чем отправиться домой, Гурджиев попросил Ольгу отвезти его ситроен к механику и проверить руль; он также подписал доверенность на управление делами на ее имя и, в качестве последнего странного решения, велел ей ехать поездом, а сам сел за руль в одиночку. Привыкшая к странным требованиям учителя, Ольга послушалась, хотя день был жаркий, и в поезде должно было быть очень душно. На пересечении трассы Париж-Фонтенбло и № 168 из Версаля, на скорости около семидесяти километров в час, машина Гурджиева съехала с дороги и врезалась прямо в каменный парапет, а затем остановилась возле дерева. Ситроен разлетелся на части. Гурджиева нашел проезжающий мимо полицейский: его голова лежала на подушке автомобильного сиденья. Он был без сознания и в крови и получил сильное сотрясение.



Как получилось, что его голова лежала на подушке, так и остается загадкой. Невозможно представить, что и его, и подушку так аккуратно выбросило из машины в момент катастрофы. Однако непредставимо и то, что он сумел выбраться и улечься самостоятельно, учитывая полученные повреждения. Привезенный сначала в больницу, а потом в Приер, он оставался без сознания — на искусственном дыхании — пять дней. Прошли месяцы, прежде чем он полностью восстановился. Как Успенский в Финляндии, так Ольга де Гартман в Париже, ожидая поезда, услышала обратившийся в ней голос Гурджиева. Судя по рассказам, это произошло примерно в момент аварии.

Но была ли это авария? Остаются подозрения, что Гурджиев как-то ее организовал; на это указывают предпринятые им предосторожности. С другой стороны, он отвратительно водил машину, и остальные факторы могут быть случайностью. Как предполагает один автор, возможно, он хотел найти повод закрыть Приер и освободиться от учеников — по крайней мере, от большинства из них. В любом случае, с точки зрения Успенского, знаки были ясные. Гурджиев переступил черту, потерял контакт с источником и, как предсказывал Успенский, навлек на себя возмездие. Авария Гурджиева по сути положила конец Институту гармоничного развития человека. Посетители приезжали, и он занимал территорию еще десять лет, но в целом эта фаза работы закончилась.

Когда Успенский услышал про аварию, то был ошеломлен. Хотя он предвидел нечто подобное, но то, что Гурджиев стал жертвой *несчастного случая*, особенно огорчало. Работая над собой и достигнув уровня человека номер пять — а может, и выше — он должен был быть свободен от «закона судьбы» и избавиться от каких-то из сорока восьми законов, согласно которым человек вынужден жить на Земле. Однако теперь он пострадал от такого будничного и глупого происшествия, как автокатастрофа.

Успенский поведал испытываемые страхи своему другу Борису Муравьеву. Тот тоже успешно уехал из Константинополя, но в отличие от Успенского обосновался в Риме, где Успенский его часто навещал. Муравьев тоже приезжал в Лондон, хотя по какой-то причине Успенский никогда не представлял его ученикам. Муравьев познакомился с Гурджиевым в Константинополе и иногда посещал его в Париже, но, по его собственному признанию, Гурджиеву не удалось его очаровать. Напротив, он очень критично относился к отношениям Успенского с учителем. С его точки зрения, романтические «искания» Успенского сделали его открытым для злоупотребления, и этой уязвимостью воспользовался Гурджиев. Власть Гурджиева над Успенским была «расчетливой и прекрасно установленной с самого начала» [8]. Муравьев думал то же самое о большинстве учеников Гурджиева. Вся система Гурджиева, как он считал, была не более чем средством подчинять себе людей. Метод Гурджиева убеждать учеников,

что они *merde*\*, оставлял их в состоянии, в котором он мог предлагать «ученикам любую нелепость, возможно, даже нечто чудовищное, и быть уверенным, что ее примут... с энтузиазмом» [9]. Когда Муравьев поднял эту тему, ученики Гурджиева посмотрели на него с презрением, но рассказанный Беннетом анекдот говорит о том, что Муравьев мог быть прав. По словам Беннета, Гурджиев «беспощадно избавлялся от нежеланных. Он вызывал глупое обожание и в то же время презирал его... Одна леди особенно глупо вела себя с ним, и он сыграл с ней злую шутку, которая продемонстрировала мне, насколько серьезно нужно относиться к его предупреждению, что никому нельзя доверять, особенно ему самому» [10]. Однажды на формальном ужине Гурджиев сообщил этой особенно обожающей его последовательнице, что лучший способ есть мороженое — с горчицей. Она послушно принесла банку горчицы, и он закричал: «Вы видите перед собой круглую идиотку. Она полная идиотка. Зачем ты здесь?» Бедняжка разрыдалась, собрала вещи и уехала [11]. Конечно, она вела себя глупо, но трудно не подозревать, что Гурджиев не испытывал угрызений совести из-за того, что сделал ее примером. Муравьев только повторял собственные слова Гурджиева, когда говорил, что ему нельзя доверять.

Муравьев занимался редактированием и переводом «Фрагментов неизвестного учения» и поэтому знал описанные Успенским его отношения с Гурджиевым — тема, которая вызывала споры у многих друзей. В какой-то момент Муравьев полагал, что Успенский, несмотря на всю свою критику, все еще остается под каким-то гипнотическим воздействием. Особенно ярко это проявилось, когда Успенский приехал в Париж и вместе с Муравьевым посетил место, где произошла авария Гурджиева. Осматривая место событий, Успенский впал в глубокое молчание, а затем повернулся к Муравьеву. «Я боюсь, — сказал он. — Это страшно... Институт Георгия Ивановича был создан именно для того, чтобы уйти от закона случайностей... и вот он подвергся силе этого закона... Я все спрашиваю себя, действительно ли это несчастный случай? Гурджиев всегда ценил честность, как и человеческую личность в целом, очень низко. Мог он превзойти сам себя? Говорю тебе, мне очень страшно!»

Двое друзей поехали в Фонтенбло, где Успенский попросил Муравьева позвонить его падчерице в Приер. Муравьеву сказали, что ее там нет. За обедом Успенский возвращался к вопросам честности в связи с аварией Гурджиева. Затем внезапно Успенский закрыл тему. Муравьев несколько раз пытался его разговорить, но он отказывался к ней возвращаться. В тот вечер, вернувшись в Париж, в баре на Монмартре Муравьев продолжал настаивать, и Успенский наконец высказал то, что у него на уме.

---

\* *Merde* (франц.) — дерьмо, грязь.

«Внезапно, — пишет Муравьев, — его выражение изменилось. У меня было впечатление, что передо мной стоит другой человек — уже не тот, с которым я провел такой приятный вечер... Он резко повернулся ко мне и сказал: „Представь, что член семьи совершил серьезное преступление. Никто не захочет об этом говорить“» [12].

В тот момент Муравьев испугался. Было ли нежелание Успенского обсуждать эту тему признаком гипнотической власти Гурджиева? Или все было проще? Успенский верил в Гурджиева и, через него, в работу. Теперь он видел, что Гурджиев не пробудился, по крайней мере, не всегда бодрствовал. Более чем вероятно, что ему вспомнились все сомнения и непристойные слухи. Именно тогда, по словам Муравьева, Успенский начал сильно пить. Их вечера в Париже обычно проходили в смене разных баров Монмартра. На этом этапе в истории появляется нота печали. Позднее Успенский будет говорить, что после аварии Гурджиев сошел с ума. Другие будут делать похожие замечания. Сам Гурджиев давал весьма сильные поводы для таких подозрений — в основном, своей книгой «Вестник грядущего добра» и монументальным трудом «Рассказы Вельзевула своему внуку», две самые загадочные работы, когда-либо выходившие из-под пера [13].

## Глава 18

---

# «Система ждет работников»

Авария сконцентрировала все сомнения Успенского по поводу учителя, но также сделала очевидным его любовь к учению. На самом деле это было все, что у него осталось, хотя он сам не был в нем вполне уверен. К этому времени Беннет стал играть более значимую роль на собраниях, и однажды на Гвендир-роад он заметил Успенскому, что работа привела его к сознанию и даже бессмертию. Успенский стоял перед камином и смотрел на Беннета. Может быть, Беннет был уверен в достижении этих целей, но сам Успенский в этом сомневался. «Я не уверен, — ответил он. — Я ни в чем не уверен. Но я знаю, что у нас ничего нет, а значит, нам нечего терять... Я слишком много пытался и слишком много видел, чтобы во что-то верить. Но я не откажусь от борьбы. В принципе я верю, что можно добиться того, что мы ищем, — но я не уверен, что мы уже нашли путь. Но ждать бесполезно. Мы знаем, что у нас есть что-то, что происходит от высшего источника. Может быть, что-то еще придет от того же источника» [1]. На эту же идею он намекал Розамунде Шарп — до последних месяцев своей жизни именно она была центральной целью его работы.

20-е годы были для Успенского довольно спокойным временем. Пока Гурджиев восстанавливался после аварии, разбирался с разваливающимся институтом, ездил в Соединенные Штаты и начинал писать свой непонятный *magnum opus* — «Рассказы Вельзевула» — в кафе «Де ля Пэ» в Париже Успенский читал лекции избранной группе в сорок-пятьдесят человек, работал над «Фрагментами» и готовил к изданию «Новую модель Вселенной». Казалось, что он доволен жизнью в своей маленькой квартире. О его личной жизни того периода мало что известно, кроме рассказов Николла и Беннета, хотя его биограф Джеймс Уэбб предполагает, что у него была любовница. София Григорьевна не покинет Гурджиева и не приедет в Англию до 1931 года, и даже тогда они с Успенским не будут жить вместе. Он вел, как говорит его друг Муравьев, «очень одинокую и изолированную жизнь», и эта изоляция начала сказываться в растущей резкости и склонности к мрачным мыслям.

Его отношения с Беннетом испортились. Основной причиной снова стал «закон случая». Во время деловой поездки в Грецию Беннета арестовали по обвинению в подделке каких-то документов; был он виновен или нет — неясно. Услышав об этом, Успенский отправил ему телеграмму: «Сочувствую Беннету согласно девяности шести законам», намекая, что он опустился на уровень Луны, низший уровень Луча Творения. Телеграмма выражала тепло и укоризненный юмор. Но когда обыскали комнату Беннета, то нашли письма Успенского. Его русское имя вызвало подозрения у греческой полиции, и они передали информацию Британскому министерству внутренних дел. Успенский всегда с легкой паранойей относился к полиции — Николл даже признавал это перед Беннетом Уокером — но обнаружить, что он находится под подозрением как коммунистический шпион, было невыносимо. Успенский разозлился на Беннета и отрекся от него, разорвав все связи. Беннет проявил смекалку и начал собственную группу, регулярно посылая письменные отчеты о своей деятельности Успенскому. Задним числом видно, что Успенский и Беннет никогда не ладили: чрезмерная ретивость, напор и амбиции Беннета, вероятно, казались аристократичному Успенскому слишком грубыми, а интеллект и независимость Беннета заставляли его закусывать удила в ученичестве.

Помимо Муравьева, Успенский поддерживал тогда близкие отношения только с Николлом, который производит впечатление более теплого и чувствительного человека, нежели Беннет. Очевидно, он был единственным учеником, который мог рассмешить Успенского, что, скорее всего, было нелегкой задачей. В 1927 году Николл купил коттедж у моря в Сидлшеме, и Успенский приезжал туда на выходные. Он наслаждался отдыхом, а Николл был превосходным хозяином, подавая свежепойманных лобстеров и саутдонскую баранину. Успенский говорил, что спал там лучше, чем в Лондоне, и однажды заметил, что «здесь почти можно почувствовать, как вращается мир». Ему нравилось прогуливаться у моря, вооружившись разнообразными камерами и биноклями, и смотреть сквозь них на тот или другой предмет по несколько минут. Он говорил с Николлом о своем коте Ваське, который ел аспарагус, оливы и рыбу, и играл с собакой Николла.

Иногда он целое утро читал роман и не разговаривал, признаваясь Николлу, что порой, читая, думает о совершенно других вещах. Ему нравилось посещать местный паб, и он рассказывал Николлу, что любовь к тавернам у него в крови. Вспоминая путешествия молодости, он сообщил, что на Кавказе есть гора Успенская, названная в честь одного из его предков, который победил бандитов на ее склонах. Обычно он ел очень мало, хотя и со вкусом, и по большей части придерживался вегетарианских блюд, хотя иногда ел немного мяса — по его словам, англичане ели его слишком часто. Ему не нравился виски, он предпочитал джин и говорил

Николлу, что распитие алкоголя — это «заимствование у завтрашнего дня». По всем описаниям, за Успенским в этом смысле числились большие долги, однако он никогда не выглядел пьяным и всегда старался закусывать. Он также был вежлив с официантами и выражал крайнее неприятие к людям, которые проявляли к ним невежливость. Подобно многим гостям Англии, Успенский жаловался Николлу на климат. Он говорил, что после местных зим нужно восстанавливаться. Наверное, для него было большой жертвой то, что он не мог жить в Париже, и временами он мог желать, чтобы Гурджиев все-таки получил британскую визу.

Может быть, Успенский считал время, на его лекции оказывали хороший эффект. В отличие от Гурджиева, он не работал с айда-йогой, «быстрым методом» шока и разрушения, который его учитель использовал с такими тревожными последствиями. Его подход «медленно, но верно», предполагавший понимание идеи, практику самовоспоминания и самонаблюдения, тем не менее, приносил результаты. Кеннет Уокер обнаружил, что работа даже помогает ему ухаживать за пациентами. «Чем больше я применяю на практике психологические принципы системы, — писал он, — тем больше я убеждаюсь в их ценности. Например, я обнаружил, что с их помощью могу преодолеть определенные сложности в своей профессиональной жизни, сложности, вызываемые отрицательным воображением. Я больше не лежу ночами без сна... ожидая, когда зазвонит телефон и ночная сестра скажет, что пациент, которого я оперировал, внезапно скончался. Я перестал гадать до рассвета, не было бы лучше сделать то, а не это, потому что теперь я полностью осознал тщетность таких мыслей. А когда меньше энергии стало тратиться на беспокойство и идентификацию, я обнаружил, что могу делать больше и со все большей эффективностью» [2].

Уокер был в числе тех немногих, кто в эти годы слушал чтение «Фрагментов неизвестного учения». Успенский завершил рукопись книги о годах, проведенных с Гурджиевым, к 1925 году, однако продолжал перерабатывать ее много лет. Хотя уже в 1923 году он объявил, что скоро ее опубликует, но не позволял ее издавать до своей смерти в 1947 году. Не считая коротких лекций, которые он переписал для «Психологии возможной эволюции человека», это было его последнее произведение. В следующие двадцать два года он практически ничего не писал. Для человека, который был «в первую очередь» писателем, это странно; больше всего это выражает то, какую огромную жертву он принес работе. Трудно не чувствовать, что после знакомства с системой он по большей степени откасался от всякой творческой мысли.

Он всегда был недоволен «Фрагментами». В неопубликованном введении, написанном в 1927 году, Успенский изложил свои чувства на момент начала работы с Гурджиевым. Основной его эмоцией был страх...

...Страх потерять себя, страх исчезнуть в чем-то неизвестном. Я помню фразу из письма, которое тогда написал: «Я пишу тебе это письмо, но тот, кто напишет следующее письмо, подпишется моим именем, и что он скажет, я не знаю». Это был страх. Но было и много других элементов: страх пойти не по тому пути, страх сделать необратимую ошибку, страх потерять еще какие-то возможности. Все это позднее меня покинуло, потому что, с одной стороны, я начал обретать уверенность в себе, а с другой — проникаться практической верой в систему [3].

Однако часть этого страха осталась, и из-за него Успенский не хотел подпускать к работе более широкую аудиторию. Его беспокоило то, что сущность работы нельзя передать в книге, и что после публикации «Фрагменты» станут своего рода учебником по идеям Гурджиева, что и произошло в итоге. Пурист в Успенском хотел сохранить идеи от прикосновений профанов; возможно, он думал, что публикация не понравится высшему источнику, который не захочет видеть свои идеи распространенным во Внешнем круге. До 1949 года книга оставалась своего рода тайным писанием, доступным лишь немногим. Если бы воля Успенского была исполнена, она так и не попала бы в типографии.

Однако хотя лекции приносили пользу Уокеру и другим ученикам, собственная цель Успенского оставалась так же далека, как и раньше. Их духовное саморазвитие — это хорошо, но, как Успенский говорил Розамунде Шарп, для него оно было лишь побочным эффектом настоящей задачи. «Система ждет работников», — писал он в 1926 году. К 1930 году он был связан с Гурджиевым и системой уже пятнадцать лет. Семь из них он работал самостоятельно; в космологии работы это ключевое число. Он терпеливо ждал. Он хотел увидеть, что сделает Гурджиев. Теперь настало время действовать. Усилия Гурджиева не принесли результатов, к которым он стремился. Напротив, в 1930 году отношения Гурджиева с Оражем находились на грани разрыва. Финансы у него были минимальные, репутация сомнительная, и он оттолкнул многих из своих ближайших учеников, в том числе де Гартманов. Уолл-стрит рухнула, и «Рассказы Вельзевула» не находили издателя. Успенский, с другой стороны, медленно, но упорно зарабатывал положение в Лондоне и старательно работал с основной группой учеников. Он мог продолжать так дальше или попробовать другой путь.

Он решил выбрать новую октаву. В октябре 1930 года Успенский объявил, что будет читать цикл публичных лекций «Поиски объективного сознания». Он надеялся таким образом привлечь больше внимания к своей работе. Его оптимизм подтолкнул к щедрости духа: он даже попросил своего секретаря, мадам Кадлубовскую (которая позднее переведет исправленное издание «*Tertium Organum*»), пригласить Беннета, которого приняли обратно. Когда двое встретились, Успенский так объяснил свои действия:

Я ждал все эти годы... потому что хотел посмотреть, что сделает Гурджиев... Я все еще так же уверен, как и раньше, что есть великий источник, из которого пришла наша система. Вероятно, у Гурджиева был контакт с этим источником, но я не думаю, что контакт был полный. Чего-то не хватает, и он не мог этого найти. Если мы не сможем найти с его помощью, то наша единственная надежда — установить прямой контакт с источником. Но у нас нет шансов найти его путем поисков, в этом я убежден уже двадцать лет. Он скрыт намного лучше, чем полагают люди. Поэтому наша единственная надежда — то, что источник найдет нас. Вот почему я читаю эти лекции в Лондоне. Если те, кто обладает истинным знанием, увидят, что мы можем быть им полезны, то могут кого-нибудь прислать. Мы можем только показать им, что умеем делать, и ждать [4].

Перспектива была нерадостная, больше похожая на мистический свист в темноте; к тому времени Успенский искал школы уже двадцать лет. К добру или к худу, но он был убежден, что ни он, ни кто другой не может ничего сделать самостоятельно, хотя он уже взял все, что мог, от системы Гурджиева и получил несколько кусочков высшего сознания в ходе собственных усилий. Казалось, что размышлениями он загнал себя в угол. Гурджиев был тупиком; его собственные усилия бесполезны; его пессимизм и отрицание мира привели к тому, что он игнорировал или отрицал любые другие идеи или пути; он практически перестал писать; и на его опытный взгляд ситуация в Европе предполагала, что близится еще одна война. Он мог либо придерживаться выбранного курса, либо отбросить все и полностью начать сначала. Но это означало отказ от системы, над изучением которой он столько бился и для сохранения которой столько сделал.

Успенский решил включить в свою книгу «Новая модель Вселенной» серию намеков и слегка замаскированных кодовых слов, связанных с работой. Книгу отредактировали, перевели и, наконец, опубликовали в 1931 году. Составлявшая почти шестьсот страниц, она представляла собой странное собрание философских, научных и математических размышлений в сочетании с идеями об эзотерике, описанием опытов с веселящим газом и изучением снов; красочные портреты по следам исканий на Востоке и размышления о сексе соседствовали с мыслями о вечном повторении и истинном значении Евангелий. Практически все это было написано несколькими годами ранее, в России.

«Новую модель Вселенной» приняли хорошо, она заново утвердила Успенского в качестве центральной метафизической фигуры XX века. Он снова становился интеллектуальным хитом сезона благодаря книге, в которой не упоминались ни Гурджиев, ни работа. Книга оказала значительное влияние, и с годами такие разнообразные писатели, как Дж. Б. Пристли, Хорхе Луис Борхес, Малькольм Лаури и Олдос Хаксли, будут черпать из нее идеи. На этой волне Успенский вполне мог вернуться в мир и продолжить литературную карьеру. Но годы опоры на себя в сочетании с автори-



тарными нотками в характере не дали Успенскому заинтересоваться в новых идеях. И в любом случае он строго запрещал своим ученикам писать что-либо об учении — ограничение, которое многим пришлось не по вкусу. Он нашел истину, насколько ее можно найти, и оставалось только учить ей. Хотя он сам делал заметки во время обучения у Гурджиева, мы знаем, что он ничего не написал после завершения рукописи «Фрагментов».

В любом случае благодаря новой серии лекций и этой книге популярность Успенского выросла. Внутренний круг с ним пока не связывался, но многие другие хотели услышать слова Успенского. Были и иные новости. В сентябре того же года Успенский сообщил шокированному Морису Николлу, что ему «лучше уехать», и после паузы добавил: «И учить системе». Именно этим Николл и занимался до своей смерти в 1953 году. Его глубокий интерес к христианскому эзотеризму очевиден в нескольких томах «Психологических комментариев к учению Гурджиева и Успенского», ныне классическом тексте. Теперь, когда Николла рядом не было, Успенский передал больше обязанностей Беннету и еще одному ученику, Френсису Роулзу. Работа расширялась, ему помогали умелые заместители, и он мог почувствовать, что жизнь становится легче. Если так, то его ждала неожиданность. Прожив почти десятилетие отдельно от мужа, в Англию приехала мадам Успенская. Раньше она ее посещала, но, как и самому Успенскому, Англия ей никогда не нравилась. Но теперь все было иначе. Судя по всему, ее прислал Гурджиев — неизвестно, почему — и на этот раз она собиралась остаться.

Гурджиев и Успенский встречались тем летом в последний раз. Успенский позвонил в ворота Приер, но его не пустили. Он встретился с бывшим учителем на террасе кафе «Анри IV» в Фонтенбло. Глупо предполагать, что Успенский приехал позлорадствовать. Но по всем меркам его работа шла успешно, а Гурджиев видал лучшие времена. Двери Приер скоро должны были закрыться, и его лучшие ученики ушли. У него были большие долги, неполадки со здоровьем — он сильно набрал вес — а репутация как писателя нулевая. Непонятно, зачем приехал Успенский и что они сказали друг другу. Но с тех пор учитель и ученик двигались по жизни в параллельных октавах.

К 1933 году группы Успенского так разрослись, что ему пора было расширять деятельность. Несомненно, присутствие мадам Успенской учитывалось в его размышлениях. Он нашел дом в Гадсдене (графство Кент), на большом западном шоссе из Лондона. Огромный викторианский особняк с семью акрами земли, Хэйес-Хаус, стал первой попыткой Успенского организовать собственный Приер. Вероятно, на это решение больше повлияла Софья Григорьевна, чем Успенский, которого десять лет устраивала жизнь в маленькой подвальной квартире в обществе кота. В любом случае, ситуация мало изменилась. Успенский большую часть времени жил в Лондоне, а мадам, как ее называли, быстро стала править паствой

в Кенте. Там под ее суровым присмотром жили постоянно восемь-десять учеников, а по выходным приезжали и другие.

Годы, проведенные мадам с Гурджиевым, пошли ей на пользу. Она переняла от учителя умение обнаруживать недостатки учеников — практику, которая, несомненно, хорошо подходила ее и без того властному характеру. Работа в Хэйес-Хаус требовала больше физических усилий, чем простое сидение на твердом стуле под лекцию Успенского. Там нужно было заниматься садоводством, работой по дому, готовкой и уборкой, все ради сверхусилий и самонаблюдения. Но главной специальностью мадам были уничижительные наблюдения за «ложными личностями». Она сравнивала их с «горячим слоеным пирогом», который выглядит внушительно, но при первом прикосновении сдувается. Она внушала своим подопечным страх, как в свое время это делал Гурджиев. Но при всей своей властности мадам не хватало очарования и тепла учителя. Кеннет Уокер вспоминает: «Хотя большинство из нас ее боялось, мы понимали, насколько полезна ее помощь... Она была экспертом по срыванию масок, по обнаружению лицемерия и обмана и по отделению реального от поддельного» [5]. Позднейший ученик, Ирмис Б. Попов, вспоминает «ощущение, которое пробиралось вдоль позвоночника, когда я слышал приближение мадам Успенской, — стук трости, предвещающий ее появление». Многие ученики считали ее чудовищем [6].

Хотя английский у мадам был плохим, она разделяла талант Гурджиева к лаконичным шпилькам. Философская болтовня того рода, которой она, несомненно, наслушалась от прежнего Доводит-мысль-до-конца, была «переливанием из пустого в порожнее». Разговоры о системе без усилий — всего лишь «пением о работе». Один ученик был просто «куском мяса», другой «совершенно лишен ума». Несомненно, такие шпильки могли помочь ученикам достичь просветления. Но ими можно было так же злоупотребить, как и предположением, что личность человека априори ложна, или что диагнозы мадам безошибочны. Однако зрелые успешные люди, такие как Уокер, считали ее отчитывание полезным. Тем не менее, он рассуждал: «Насколько шокированы были бы мои друзья, если бы внезапно перенеслись сюда! Что бы они обо всем этом подумали? Как бы они пытались объяснить, почему мы, разумные и интеллигентные люди, сидим в конце дня, полного тяжелого труда, у ног женщины, которая с виду ничего не делает, только оскорбляет нас?» [7].

Насколько сам Успенский участвовал в методе мадам или одобрял его, спорно; хотя он был авторитарен и мог при необходимости кричать «по-московски», но в целом был мягок душой. Однажды зимой, когда полный энтузиазма ученик просил свидания, он ответил: «О, сегодня слишком холодно. Никто не может помнить себя в такой холод» [8]. Он и сам не был защищен от шпилек мадам, поэтому, скорее всего, в большинстве случаев держался в стороне. В любом случае он был склонен оставаться

в тени — либо в своей комнате, либо в Лондоне. Возможно, он считал, что такие методы позволят отделить сильных от слабых, и сдерживался. Уокер вспоминает летние трапезы, проводившиеся на улице в саду. Он и другие ученики садились рядами, держа тарелки на коленях, как дети; но у мадам был стол, и она садилась перед ними. В таких случаях новичкам часто отводили места под перекрестным огнем: со своего высокого места мадам безошибочно отмечала ложную личность людей, которых практически только что встретила. Успенский, по наблюдениям Уокера, иногда присутствовал, но в большинстве случаев ужинал у себя в комнате.

Для Беннета, ближайшего знакомого мужчины Успенского, мадам была великой женщиной. Он настолько восхищался ею, что покидал свою жену миссис Бомонт по воскресеньям, в единственный день, который они могли провести вместе, чтобы попасть на «рабочий день» в Кент. Однажды он привез миссис Бомонт с собой, но по неизвестным причинам ее больше не приглашали. Возможно, это вызвано тем, что она тоже была гранд-дамой. Столкнувшись с выбором между работой с мадам или днем в обществе жены, Беннет решил, что его духовное развитие важнее, и в следующие три года они с миссис Бомонт видели друг друга только мельком. Беннет находил это условие жестоким и неоправданным, но не оспаривал его. Понятно, что миссис Бомонт это огорчало. Ее депрессия с годами усиливалась, однако Беннет, увлеченный достижением сознания, не обращал внимания на ее чувства.

Беннет оправдывал свое поведение как выражение «принятого мной решения без вопросов делать все, что попросит от меня Успенский», как будто забывая урок Гурджиева о мороженом с горчицей. «Первая обязанность ученика, — считал он, — полное и неоспоримое принятие» [9]. Учитывая это, Беннет видел в каждом действии Успенского своего рода испытания, тем самым практически сводя на нет попытку Успенского расслабиться и стать ему другом. Несомненно, это действовало Успенскому на нервы. Как-то Успенский упомянул о своем хобби — коллекционировании старых гравюр — и заметил, что хотел бы найти виды Москвы и Санкт-Петербурга. Затем он попросил Беннета найти магазин, где они продаются. На Оксфорд-стрит Беннет обнаружил большую коллекцию гравюр в заведении мистера Спенсера, и Успенский пришел от нее в восторг. Однажды он пригласил Беннета пойти вместе с ним, но в предложенный день у Беннета была важная деловая встреча. Считая, что ему дают испытание, Беннет отменил встречу и провел день с Успенским. Успенскому очень понравился магазин, он купил несколько гравюр, а затем пригласил Беннета к себе на чай, который готовил из специального сбора, сделанного для Твиннинга. Все это время Беннет вел себя скованно и формально, пытаясь бодрствовать и помнить себя, и совершенно упустил из вида, что Успенский, одинокий человек, всего лишь хотел приятного общества.

Однако Беннет был неудачным выбором — у него, видимо, имелась склонность к духовному мазохизму. Он презирал свою слабость и предъявлял к себе чрезвычайные и неразумные требования. Переняв у Успенского упражнение повторять про себя «Отче наш», пять лет спустя Беннет дошел до того, что читал ее одновременно на греческом, латыни, русском и немецком по сто раз в день. Он не умел наслаждаться простыми удовольствиями. Гордясь своей отвратительностью, он писал в дневнике: «Есть нечто совершенно отвратительное и унижительное в удовольствии человека от приятного» [10]. Он был неподходящим кандидатом для того, чтобы помочь и без того сдержанному человеку расслабиться.

Однако надо сказать, что Успенский сам не облегчал себе задачу. Однажды Беннету явилось видение пятого измерения, и он сумел охватить его в формуле: «В вечности законы термодинамики обращены вспять». В восторге от своего открытия, он поделился им с Успенским. Но Успенский охватил все измерения много лет назад и потому не впечатлился, а назвал видение Беннета всего лишь «формальным мышлением», продуктом механической ментальной ассоциации. Это напоминало то, как Гурджиев относился к открытиям Успенского, и заставило Беннета осознать, что за десять лет работы с Успенским он не мог говорить с ним о своих глубочайших переживаниях, а если пытался, то Успенский их просто отрицал. Он также осознал, что после десятилетия работы он никуда не продвинулся.

Бывали и исключения. Одно произошло глубокой ночью 1933 года. К тому времени, как отмечает Беннет, Успенский завел привычку по полночи пить. Он выпивал несколько бутылок вина, подкрепляя силы разнообразными закусками, и предавался воспоминаниям о Москве и Санкт-Петербурге или читал импровизированные лекции о русской поэзии присоединявшимся к нему пропойцам. Беннет считал, что Успенский пытался вернуться к временам до его знакомства с Гурджиевым. Однако однажды своего рода путешествие досталось Беннету, который испытал опыт выхода из тела после того, как они вдвоем выпили четыре или пять бутылок. Беннет «видел» и «слышал» себя словно другого человека и даже «наблюдал» свои мысли. Когда он рассказал о случившемся Успенскому, тот спросил, стоило ли ради этого сидеть всю ночь, и заметил, что если он запомнит то, что сейчас видел, то сможет работать. Никто не может ему это показать; он должен увидеть сам — возможно, признание, что система не так надежна, как считал Успенский.

Лекции Успенского продолжались, работа расширялась, и он привлекал все больше внимания. Одним из новых знакомых стал журналист Ром Ландау, который взял у Успенского интервью и включил его в свой бестселлер «Бог есть мое приключение», собрание статей о крупнейших духовных фигурах того времени. Успенский фигурировал в ней наряду с Рудольфом Штейнером, графом Кейсерлингом, Кришнамурти и другими,

в том числе и Гурджиевым, который при знакомстве Ландау не понравился сразу. Посетив одну из бесед Успенского, Ландау отметил его необычный английский, состоящий из «мягких тающих гласных» и «выразительных коротких согласных», чьи «мягкие переливы» и «внезапные остановки» создавали впечатление, что на самом деле Успенский говорит по-русски, используя английские слова [11]. Эта ритмичная речь сочеталась с манерой Успенского обрывать предложение, если он не мог подобрать слово. Взамен он бросал: «или что-нибудь», «что хотите», «как вам нравится». Ландау говорит, что складывалось впечатление, что, с точки зрения Успенского, его аудитория могла думать что хотела или уходить, но после десяти лет преподавания одного и того же он мог стать несколько нетерпелив.

Проводя интервью с Успенским в Кенте, Ландау столкнулся с суровой сдержанностью, уже упоминавшейся ранее, но его опыт журналиста позволил через нее пробиться. Во время интервью Успенский отвечал на вопросы, которые будут возникать до конца его жизни с раздражающим постоянством. «Все, за чем я охотился на Востоке, в оккультной литературе, в тайных доктринах, было в системе, которую я нашел в Москве, вместе с небольшой группой людей, которую наставлял некий Гурджиев», — сказал он Ландау. Эта система, продолжил он — возможно, надеясь, что высший источник окажется среди читателей Ландау, — «только распространялась Гурджиевым, потому что была не его открытием, а эзотерической системой, доверенной ему другими». Но затем, как он объяснял, что-то случилось. «Я начал чувствовать, что теряю контакт с Гурджиевым. Мне казалось, что он меняется и отходит в сторону от оригинальной идеи» [12]. О своих отношениях лично с Гурджиевым Успенский заметил, что после разрыва в 1924 году он его не видел, почему-то забывая свои визиты в Приер или последнюю встречу в кафе «Анри IV» семью годами ранее. Неясно, упомянул ли Ландау свою встречу с Гурджиевым, во время которой, как он считал, бывший учитель Успенского попытался его загипнотизировать. Гурджиев сказал Ландау, что он говорит «на дошекспировском английском». Он называл американцев «полутурками, полутурками» и пытался навязать некурящему Ландау некую марку сигарет. Ландау засомневался в разуме Гурджиева, убежденный, что «уклончивость, противоречия и блеф... стали частью самой его натуры» [13].

Другие посетители Кента лучше ладили со старым учителем Успенского. В 1934 году де Гартманы навещали Ч. С. Нотта, одного из нью-йоркских учеников Оража. После смерти учителя Нотт переехал в Англию и поддерживал отношения с Гурджиевым, уже жившим в Париже. Во время визита в Хейес-Хаус де Гартманы заговорили с Успенским о Нотте, который хотел найти кого-нибудь, с кем можно говорить о работе. Успенского интересовали ученики, уже имеющие опыт работы, и более чем вероятно, что ему хотелось узнать подробности деятельности Оража

и Гурджиева. Он сказал де Гартманам, что будет рад встрече с Ноттом, и в следующий свой приезд они привезли его с собой.

Будучи учеником Гурджиева, Нотт не мог посещать группы Успенского, и это уже создало ему достаточно проблем. Жена Нотта была очень близка с Николлом, но эдикт мешал им общаться. Несколькими годами ранее Нотт пытался поговорить с Успенским и написал ему письмо с просьбой о встрече. Успенский ответил на это тем, что отправил одного из своих заместителей проверить Нотта. Вероятно, он не прошел проверки, потому что больше ничего не слышал ни от Успенского, ни от заместителя.

В Кенте Нотт осмотрел большие гостиные, полные русских узоров, украшений и икон; казалось, что Успенский пытается воссоздать прежнюю Русь. К своему удивлению, он обнаружил, что Успенский — это не холодный и строгий интеллектуал, к встрече с которым он приготовился, а теплый, дружелюбный и приятный в общении человек — когда он говорил, конечно. На первой встрече больше говорила мадам, засыпавшая Нотта вопросами, направленными на то, чтобы оценить его понимание работы. Когда он начал рассказывать про работу группы Оража, она оборвала его и объявила: «Ораж многого не понимал или понимал неправильно. Начать с того, что он был чересчур формалистом» [14].

«Формалист» — это одно из любимых определений Гурджиева для Успенского, вспомнил Нотт, и, будучи любимым учеником Оража, он мог вспомнить остроты Оража по поводу последней книги Успенского: Ораж назвал ее «Новой чувшью Вселенной». Нотт удовлетворился тем, что сообщил мадам, что прибыл для дружеского разговора, а не ради богословского спора. Успенский согласился и, по крайней мере в этом случае, держал дракона в узде, сигналами велел ей успокоиться. Затем Успенский непринужденно беседовал с Ноттом о самовоспоминании, самонаблюдении и других понятиях работы. Нотт сообщил Успенскому, что после несчастного случая Гурджиев больше не использовал эти термины, вместо этого вооружившись кучей новых, например, «бытие-парктдолг-дьюти»\*, и что все они происходят из «Рассказов Вельзевула». Мадам навострила уши. «У нас такого нет», — признала она. Наверное, Нотт улыбнулся. Он сообщил, что это библия работы, и как ни удивительно, но у него есть с собой машинописная копия, одна из сотни, которые Ораж продавал по десять долларов.

Прежде чем Нотт ушел, Успенский попросил у него книгу почитать. Нотт согласился, и, когда Успенский спросил, что может для него сделать взамен, Нотт спросил разрешения прийти на собрания. Успенский согласился при условии, что он не будет задавать вопросы и не станет упоминать Гурджиева или «Рассказы Вельзевула».

---

\* Термин «бытие-парктдолг-дьюти» сочетает в себе русское, армянское и английский слова, и дословно переводится как «долг-долг-долг».

## Глава 19

---

# Нирвана и клубничный джем

В 1936 году Успенский решил, что Хэйес-Хаус больше не подходит, и приобрел большую и внушительную штаб-квартиру в Вирджиния-Уолтер, в тридцати двух километрах от Лондона. Лин-Плейс, имение в сорок гектаров, было впечатляющим центром для работы Успенского. К особняку XVIII века в плохом состоянии прилагались английский сад, тропинки среди рододендронов, лодочный домик и маленькое озеро. Также имелись ферма, теплицы, свинарники, амбары, конюшни и огород — все это в нескольких минутах ходьбы от роши. Имение требовало много работы, как и ученики Успенского. Как и в Приер, весь физический труд был условием для самовоспоминания и наблюдения за собой. Кроме того, Успенский намеревался развить самодостаточную общину. У власти был Гитлер, и Успенский был уверен, что неизбежна новая война. Ни он, ни мадам не хотели повторения Екатеринодара. Успенский также внес некоторые изменения в свои лекции, добавив больше материалов из собственных исследований, вплетая в систему идеи о повторении, дьяволе и высших измерениях. Были и тревожные изменения. Беннет вспоминает, что Успенский мог заговорить о новой идее или упражнении, рассказывать про них некоторое время, а потом, когда ученики глубоко заинтересовались, внезапно сменить тему безо всяких объяснений. Конечно, это могло быть более мягкой версией тактики Гурджиева переставлять вехи как можно чаще, но также это могло указывать и на потерю направления.

За три месяца группы Успенского привели Лин-Плейс в достаточно хорошее состояние, чтобы туда могли переехать Успенский и мадам. Там же жила свита учеников, а в выходные приезжали еще сотни. Получить приглашение было престижно, и к этому времени в школе Успенского насчитывалось около тысячи учеников — так много, что ему пришлось найти место побольше для встреч в Лондоне и перебраться в Колет-Хаус в Бэрнс-Корт. В Лин-Плейс у мадам было больше места для работы. Ученики растили собственную пшеницу, мололи муку и пекли хлеб. Сады и огороды обеспечивали их овощами и фруктами. Они рубили дрова, построили мельницу, завели овец, вспахивали поля. Казалось, что по крайней

мере в Англии работа обосновалась вполне надежно. Но как часто бывает, по мере того, как община росла и работа развивалась, лидеры становились более отстраненными, и исчезало чувство близости. Успенский и мадам все больше отдалялись от учеников, поручая большую часть непосредственной работы своим заместителям. Для Успенского это означало, что изоляция, которую он уже ощущал, росла. Возможно, ему нравилось объезжать свои земли верхом на лошади Джинглс, сидя в казацком седле, которое ему подарил один из учеников. Но чего-то не хватало.

Более чем вероятно, что именно поэтому он подружился с Ноттом. В Лин-Плейс он часто приглашал Нотта к себе в кабинет, где неизменно открывал бутылку вина. Темой обсуждения становился Гурджиев. К этому времени оценка Гурджиевым прежнего учителя определилась, и получение экземпляра первого издания книги Гурджиева, «Вестника грядущего добра», ее не изменило. Шокирующая и отдающая мегаломанией реклама следующих книг убедила Успенского, что это работа параноика. Он считал, что Гурджиев теряет рассудок. Он потребовал у своих учеников сдать экземпляры — Гурджиев разослал их каждому. Они выполнили требование, и Успенский их уничтожил. Вскоре Гурджиев и сам отозвал книгу — возможно, осознав, что она не приносит пользы его репутации.

Нотт не разделял мнение Успенского о Гурджиеве, однако позволил себе проявить симпатию к отступнику. Успенскому тоже нравилась растущая между ними близость. Наверное, для него было облегчением временами расслабиться и открыться. «Знаете, — говорил он Нотту, — когда Гурджиев открыл свой институт в Париже, я сделал для него все возможное. Я собрал деньги, послал учеников, среди которых было много влиятельных людей. Когда он купил Приер, я сам туда поехал, мадам оставалась там некоторое время. Но я обнаружил, что он изменился... Он делал много того, что мне не нравилось, но меня огорчало не то, что он делал, а то, как глупо он это делал. Он приехал в Лондон к моей группе и сделал ситуацию очень для меня неприятной. После этого я увидел, что должен с ним порвать» [1].

Нотт выразил вежливое несогласие, но Успенский продолжал.

«Вот увидите, — сказал он, — разум Гурджиева так и не восстановился после несчастного случая».

Нотт не мог это принять. Но когда он объяснял Успенскому, что о поступках Гурджиева нельзя судить на том же уровне, что о других людях, Успенский, должно быть, покачал головой.

«Нет, — сказал он. — Он потерял контакт с источником после Ессентуков. Его поведение противоречит учению. А потом этот несчастный случай» [2].

Когда Нотт ответил, что для него Гурджиев и есть источник, Успенский, должно быть, улыбнулся. Однако Нотт продолжал посещать Успен-



ского, находя его теплым и приятным человеком. Отношения Успенского с Беннетом снова испортились — хотя неясно, почему — и хотя ему могло казаться, что неkritичная преданность Нотта Гурджиеву выдает простой разум, но ему больше не с кем было поговорить, и более чем вероятно, что он был рад человеческому общению. От мадам он его явно не получал, а его собственные ученики становились все более косными. Нотт и сам отмечал искусственность группы, и Кеннет Уокер говорил о том, что слишком много людей приходило на лекции «с приемным видом». Создавалось впечатление, что работа над собой стала механической.

Вероятно, Успенский чувствовал, что нужно что-то еще. В одном из разговоров с Ноттом он заметил, что они должны связаться с эзотерической школой. Нотт удивился: разве он этого уже не сделал много лет назад, когда познакомился с Гурджиевым? Наверное, Нотт чувствовал, что Успенский ищет новый стимул, и сделал предложение: «Давайте я прочитаю „Рассказы Вельзевула“ небольшой группе старших учеников».

Успенский отказался. На вопрос Нотта о том, почему, он попытался отговориться тем, что для книги нужно много «ментальной подготовки». Нотт настаивал и объяснял, что необходима не ментальная подготовка — достаточно только терпения и настойчивости. И в любом случае, сам Успенский ее читал, не так ли?

Успенский не читал. Нотту он объяснил это так: «Она застревает у меня в горле» [3].

Стоит признать, что «Рассказы Вельзевула» — сложная книга, но для Успенского она должна была быть вдвойне сложна. Нотта поразило замечание Успенского, и, возможно, для того, чтобы компенсировать отсутствие знакомства с библией Нотта, Успенский вручил ему рукопись «Фрагментов». Несколько прочитанных страниц произвели на Нотта большое впечатление.

Позднее, во время визита в Париж, Нотт заговорил с Гурджиевым об Успенском. Гурджиев сделал какое-то неприятное замечание, и Нотт встал на защиту Успенского. Он сказал, что ему Успенский нравится, и нравится с ним говорить. «О да, — ответил Гурджиев. — С Успенским приятно поговорить и выпить водки, но он слабый человек» [4].

Тем не менее, вернувшись в Лин-Плейс, Нотт привез с собой пятикилограммовый сверток с деликатесами для мадам, прямо из знаменитой парижской кладовой Гурджиева. Он делал так несколько раз в последующие годы. А после того, как они предложили эту идею Успенскому, Нотту и его жене позволили учить некоторым из движений Гурджиева группу избранных учеников Успенского — еще один признак того, что Успенский чувствовал потребность добавить своей работе больше жизни.

Одним из учеников, которому пошел на пользу вклад Нотта, был Беннет. Хотя он отдалился от Успенского, но поддерживал хорошие отношения —

насколько это было возможно — с мадам. Наверное, Беннету приходилось нелегко: когда один из учеников Успенского, Френсис Роулз, авторитетный специалист по туберкулезу, диагностировал у Беннета это заболевание. Успенский предложил лечение, посоветовав Беннету пить экстракт алоэ. Но после того, как тот выздоровел, Успенский потерял к нему интерес. Однако он позволил ему изучать движения. Но восторг от новой задачи портил кризис отношений Беннета с миссис Бомонт. После многих лет потакания духовным потребностям Беннета у его жены начало заканчиваться терпение. Изучение движений означало, что ему придется проводить больше времени в Лин-Плейс, и Беннет попросил мадам снять запрет на присутствие миссис Бомонт. Мадам согласилась, но у миссис Бомонт были другие планы. Она просто мешала мужу и к тому же была к тому времени в возрасте. Беннет интуитивно почувствовал, что что-то не так, и внезапно вернулся в квартиру, где нашел ее без сознания и с затрудненным дыханием. Она приняла большую дозу снотворного — возможно, в пику работе. Она выздоровела, но опасность была велика. Она сказала Беннету, что пережила поразительный опыт: вступила в рай и ощутила присутствие Христа. Она попросила не рассказывать об этом, но хотела обсудить это с Успенским.

При встрече Успенский сказал ей, что знает, что с ней произошло что-то важное. Миссис Бомонт ответила, что хочет немного подождать, прежде чем описывать во всех подробностях, чтобы убедиться, что дело не в игре воображения — критичность и сдержанность, которые Успенский ценил. Она предложила подождать год, и он согласился, после чего он и мадам стали относиться к ней с бóльшим вниманием. По прошествии года Успенский напомнил ей об обещании; они снова встретились, и она рассказала о своем предсмертном опыте. Потом, рассказывая о встрече Беннету, она плакала. «Мне очень грустно за него, — сказала она. — Я не понимала, как он страдал. Когда я рассказала ему, что со мной случилось, он чуть не плакал и сказал, что с юности ждал и надеялся пережить опыт, который докажет ему существование иного мира, но так к нему и не пришел». «Он великий человек, — продолжила она, — и я всегда его уважала, но теперь я отношусь к нему иначе... Я печалюсь за него... Я не думаю, что он получит то, к чему стремится». Она добавила: «Он ужасно одинок» [5].

Другим посетителем Лин-Плейс, который видел одиночество Успенского, был Роберт С. де Ропп, биохимик, который в 60-х стал контркультурной фигурой, издав книги «Наркотики и разум» и «Игра мастера». В 30-х годах де Ропп участвовал в пацифистской группе «Завет мира» и благодаря ей познакомился с двумя ее центральными фигурами, Олдсом Хаксли и Джеральдом Хэрдом. Интеллигентный, восприимчивый и прагматичный, де Ропп был сам по себе потрясающей находкой, но оче-

видно, что он интересовал Успенского еще и из-за связей с Хаксли и Хэрдом. Как Гурджиев в отношении Успенского, так и он сам знал, что, если кто-нибудь уровня Хаксли напишет о его работе, он станет знаменитым.

В итоге Хаксли действительно написал об Успенском, но не так, как тому хотелось. В 1939 году Хаксли опубликовал роман «Через много лет», прототипом персонажа которого, мистера Проптера, который говорил о личности как ловушке и о жизни на механическом уровне, был Успенский. Ко времени издания книги паранойя Успенского усилилась, и во время собраний он часто замечал, что другие «украли» его идеи. Другим «вором» был писатель и драматург Дж. Б. Пристли, в пьесе которого «Я здесь уже был» (1937) рассматривался вопрос повторения, и среди персонажей был загадочный доктор Гёртлер, чьим прототипом также был Успенский. Пристли нельзя обвинить в воровстве: на афише и в книге он выражал признательность русскому метафизику. Однако, как и в случае с Хаксли, таинственность Успенского оказалась нарушена, и его последователи негодовали. С другой стороны, успех пьесы передался «Новой модели», продажи которой возросли. Пристли приложил много усилий, чтобы встретиться с Успенским, но безуспешно: вероятно, Успенский считал встречу риском для своих тайн. Это печально. Пристли, как и Успенский, был заморожен временем, и разговор с ним мог уменьшить одиночество Успенского.

Зато Успенский гонялся за де Роппом. Познакомившись с одним из учеников Успенского и прочитав «Новую модель», де Ропп посетил несколько лекций, но впечатления на него они не произвели. Ученики Успенского казались ему сухими и формальными, а самому Успенскому не хватало сочувствия. Прослушав шесть лекций, он бросил их посещать. Однако Успенский был настроен решительно и, как отмечает де Ропп, послал поговорить с ним доктора — возможно, Кеннета Уокера. Доктор должен был быть убедительным: де Ропп согласился посетить Успенского в Лин-Плейс. Когда Успенский спросил, почему он перестал посещать лекции, де Ропп сказал, что не нашел в подходе Успенского сочувствия. И в любом случае, его последователи не работали ради мира.

Успенский уставился на него. «Работать ради мира? — спросил он. — Что такое работа ради мира?» Они проходили мимо свинарника, где молодой человек с лицом, напряженным в попытке помнить себя, выгребал навоз. Успенский ответил на свой же вопрос. Указав на своего ученика, он обернулся к де Роппу и засмеялся: «Работа ради мира».

Де Ропп не был уверен в связи одного с другим, но поскольку сам начинал разочаровываться в вере Хаксли и Хэрда, что переговоры позволят остановить Гитлера, то шутка Успенского должна была показаться ему символической. В любом случае, он решил снова послушать лекции. В этот раз они его убедили; Успенский был именно тем учителем, которого он искал.

Для де Роппа Успенский в пятьдесят восемь лет был на пике силы. Он выглядел массивным и «двигался с тяжелой целеустремленностью, которая временами напоминала мне слона» [6]. Де Ропп и другие приписывали эту целеустремленность движений тому, что Успенский помнит себя, хотя де Ропп и признавал, что причина может быть другой. Он, как и остальные, признавал авторитарные черты у Успенского. У него было лицо императора ученого, говорил де Ропп, который может быть и тираном. Он также был русским до мозга костей, и де Ропп считал необходимым отделять учение от самого Успенского.

Де Ропп быстро привык к новому порядку: лекции в Лондоне, где Беннет начитывал материал, а Успенский отвечал на вопросы, затем автомобильная поездка в Лин, чаще всего в тишине — шофером Успенского был бывший член Королевского инженерного корпуса. В Лине Успенский расслаблялся за едой и напитками в кухне — долгие сессии, порой продолжавшиеся до утра, пока учителя и того, кто доходил с ним до финишной черты, не выгоняла повариха, пришедшая готовить завтрак. Де Ропп отмечал, что компания Успенского всегда была чисто мужской, мадам строго следила за тем, чтобы ученицы не присоединялись к его пиршествам. Для некоторых эти марафоны выглядели образовательной задумкой, «кислотным тестом, в ходе которого более слабые, выпавшие на обочину из-за злоупотребления алкоголем... могли только жалеть о нем» [7]. Однако де Ропп часто находил их просто скучными. «Сколько раз я сидел с Успенским в кухне и пил больше, чем следовало, лишал себя сна, тщетно ожидая, что он обронит жемчужины мудрости. Но жемчужины падали редко» [8]. Вместо этого де Ропп и другие переносились в прошлое Успенского — в Москву, в Санкт-Петербург, в «Бродячую собаку». Успенский отдавал предпочтение зубровке, сильно перченной водке, которую мог выпить в довольно больших количествах безо всяких побочных эффектов. Но, по крайней мере в одну ночь, жемчужина упала. Однажды после того, как Успенский пересказал свои поразительные переживания во Франции, где услышал голос Гурджиева у себя в груди, де Ропп довольно вяло заметил, что Гурджиев был, должно быть, странным человеком.

«Станным! — воскликнул Успенский. — Он был экстраординарным! Вы и представить не можете, насколько экстраординарным был Гурджиев».

Слова Успенского, произнесенные с такой страстью, таким голосом — *экстраординарный*, — заставили Роппа на минуту поверить, что он *мог* представить. Как и почти все ученики Успенского, он не имел ни малейшего представления, жив Гурджиев или мертв, и что он сделал, что Успенский порвал с человеком, которого так очевидно любил. «У меня было чувство, — замечал де Ропп, — что в своих отношениях с Гурджиевым Успенский столкнулся с проблемой, решение которой оказалось ему совершенно не по силам» [9].

Время шло, и Успенский все больше говорил о необходимости связаться напрямую с высшим источником. В какой-то момент Беннет нашел возможную завязку: он переписывался с башем Челеби, наследным вождем дервишей Мевлеви, пребывавшем в изгнании в Алеппо, Сирия, и организовал встречу. Перспектива привела Успенского в восторг — поездка наверняка принесла бы ему пользу. Но события снова сложились против него, и ничего не получилось. Тогда он проникся убеждением, что важно сделать свои группы более известными публике. К концу 30-х годов его личный контакт с учениками угасал, хотя он продолжал читать лекции и отвечать на вопросы. Но в годы, предшествовавшие Второй мировой войне, Успенского глубоко занимало установление собственной связи с эзотерическим центром. Поскольку он считал, что большая известность работы этому поможет, то планировал, в числе прочего, дать своей школе формальную идентичность. Для этого он набросал проспект учреждения, которое называл Историко-психологическим обществом. По идее, оно должно было служить двум целям: с одной стороны, в обществе проводились бы публичные лекции, издавался журнал, оно участвовало бы в других «уважаемых» видах деятельности, которые привлекали бы заинтересованных, среди которых можно искать подходящих работников для системы. Но также оно удовлетворяло бы растущую паранойю Успенского и его бессмысленную жажду секретности. Он считал, что с «медной табличкой» на двери и внушительным именем его обществу не придется бояться нежелательного внимания полиции. (Как ни смешно, но Успенский не знал, что в течение 30-х годов он уже находился под наблюдением Британского министерства внутренних дел, потому что они видели в каждом русском потенциального шпиона.) В результате его учеников ограничивали множеством правил. Например, им не позволялось говорить об идеях ни с кем за пределами системы или признавать свое знакомство при встрече в общественных местах. Кажущиеся абсурдными, эти правила служили двум целям. Они заставляли соблюдать самодисциплину, что само по себе полезно, и избавляли от пустых разговоров, которые могли привлечь нежелательное внимание. Некоторые были недовольны, но другие видели в этом способы самовоспоминания.

Однако Историко-психологическое общество Успенского нашло мало сторонников и как минимум одного очень громкого критика. Когда Успенский зачитал проспекты, в которых было исследование «психотрансформации», сравнительной религии и исторического подхода к разным психологическим школам, мадам выразила свое мнение смехом. Она «смеялась до слез, промокая глаза крохотным кружевным платочком» [10]. Естественно, Успенский был не слишком доволен. Учитывая, какого рода помощь он получил бы от жены, можно считать практически благословением начало Второй мировой войны, которая положила конец его идеям.

Мадам тем временем вынашивала собственные планы. Решив, что больше никогда не будет голодать, она собирала в подвале запасы сушеных фруктов. Когда де Ропп наконец сумел привезти своих друзей Хаксли и Хэрда в Лине, их провели по территории и показали в том числе и тайные запасы пищи мадам. И Хаксли, и Хэрд были уверены, что война неизбежна, и что единственное, что может сделать разумный человек, — это уехать из Англии в Америку, как собирались поступить они сами. Они советовали Успенскому поступить так же, но к тому времени Успенский еще не был убежден, что Англия падет перед Гитлером. В любом случае, ему наверняка не нравилась мысль о новом изгнании. Успенскому пришла по душе встреча с Хаксли и Хэрдом, хотя они оба отказались присоединиться к его группам. Он сказал де Роппу, что его друзья — люди того рода, которых он знал в России, интеллигенция. Он был рад встретиться с ними, но для работы, по его словам, они были бесполезны. Когда Хаксли спросили, что он думает о Лине, он пошутил, что учение мадам — это смесь нирваны и клубничного джема.

Другой друг, которого де Ропп познакомил с Успенским, — Родни Коллин, который станет важной фигурой в последние годы Успенского. Как писал о Коллине де Ропп, «большой и искренний, он проявлял пылкость, которую позднее я стал ассоциировать со всеми истинно верующими» [11]. Писатель, журналист и путешественник, Коллин тоже участвовал в «Завете мира» и был искателем, как и Успенский в молодости. Он читал «Новую модель», когда она вышла, и книга произвела на него впечатление, но тогда он, видимо, не был готов к принятию ее послания. Однако в 1935 году он вместе с женой Джанет — на восемь лет его старше и богатой — посетил несколько групп Николла, и в этот раз идеи Успенского его привлекли. Побывав в Лине и познакомившись с Успенским, оба супруга стали его преданными учениками, и богатство Джанет позволило им купить дом поблизости от имения. Они стали центральными фигурами в Вирджиния-Уолтер, и до смерти Успенского значительная часть ухода за Лин-Плейс и другими местами зависела от финансов Джанет.

В 1939 году у мадам диагностировали болезнь Паркинсона. Почему-то один из учеников считал, что ее сможет вылечить только Гурджиев, хотя для многих в группе Успенского Гурджиев был всего лишь именем, которое к тому же редко упоминалось. Во время визита в Париж Ч. С. Нотт передал сообщение Гурджиеву. Тот согласился при необходимости приехать в Англию, но подчеркнул, что мадам самой придется приложить усилия.

Несколько лет Гурджиев учил небольшую группу в Париже, в которой было много женщин, а также руководил другими группами, например, возглавляемой Жанной де Зальцман, женой Александра де Зальцмана. Хотя он произвел мало впечатления на французов — их врожденная рациональность работала против него, а при том, что Гитлер стоял на пороге, у них

могли быть другие интересы, — его идеи коснулись нескольких важных персон, в числе которых был поэт-сюрреалист, изучавший индуизм, Рене Домаль. Не по годам развитый юноша, Домаль в подростковые годы экспериментировал с разнообразными наркотиками и, как Успенский, добился прорыва в иные формы сознания. Но к тому времени, как он познакомился с Александром де Зальцманом, его здоровье ухудшилось, и вера в поэзию ослабла. Домаль, близкий к безумию и на грани смерти, увидел в де Зальцмане могущественную отцовскую фигуру; он оставался близок к нему до смерти де Зальцмана в 1933 году. Десять лет спустя, скрываясь от нацистов из-за того, что его жена была еврейкой, Домаль последует за ним, оставив незаконченной рукопись своего метафизического романа «Гора Аналог».

Зная, что Гурджиев обладает силой исцеления, Успенский, тем не менее, не особенно хотел, чтобы он приезжал в Лин-Плейс. Хотя каждую ночь он рассказывал своим собутыльникам истории про «экстраординарного человека», но мысль о том, чтобы снова с ним встретиться, и о том, что из этого выйдет, скорее всего, вызывала у него сильное сопротивление. Мадам тоже, вероятно, испытывала сомнения по поводу лечения. Вопреки всем ожиданиям, она начала выздоравливать. Должно быть, это было вмешательством providения, потому что с началом войны сообщение через Ла-Манш сильно затруднилось. Успенский ненавидел жестокость и войну, но, возможно, выдохнул с облегчением от мысли, что даже Гурджиеву будет трудно пробиться через блокаду подводных лодок.

И снова история преступления нагнала Успенского. Когда начали выть первые сирены воздушной тревоги, несколько детей в Лине собрались в хорошо укрепленной комнате в подвале. Мадам помогла как можно большему числу лондонских женщин и детей выбраться из города и приехать в особняк, где они будут в безопасности и при необходимости смогут выжить за счет пищи, которую она припасла. Успенский тоже участвовал в подготовке. Один раз, увидев, что де Ропп и Кеннет Уокер строят «бомбоубежища» — по сути, крытые ямы — он приказал их засыпать. В этот раз засыпание только что вырытой ямы не было тактикой работы; Успенскому хватило ума понять, что ямы станут ловушками, когда их зальет дождь. Хотя Уокер и де Ропп стали возражать, «московский ор» Успенского их убедил, и позднее, когда подобные убежища по всей Англии стало заливать, они убедились в его правоте. Лондонские группы отменили; затемнение сделало встречи невозможными, и Успенский, наверное, думал, что теперь будет еще труднее связаться с высшим источником, если это вообще возможно. Снова события повернулись против него.

6 сентября 1940 года немцы бомбили лондонские доки. В тридцати двух километрах от них, в Лине, было видно яркое зарево. Успенский, де Ропп и остальные стояли на крыше и наблюдали. Де Ропп услышал, как

Успенский говорит: «Это я вспомнить не могу». Он пытался вспомнить, происходило ли это «в прошлый раз», и не был уверен.

Но они с мадам помнили 1917 год, конец Санкт-Петербурга, и все, что последовало за этим. Подвал, забитый копченой ветчиной и сухими фруктами, обещал некоторую безопасность, но им обоим было за шестьдесят, и они многое пережили. Хаксли и Хэрд предупреждали их, что грядут новые темные времена. Сейчас они оба были в безопасности в Южной Калифорнии, двигаясь по своим путям к просветлению с помощью Свами Прабхавананды. Другие, например, Кришнамурти и Кристофер Ишервуд, тоже были там. Трудно представить Успенского, который нежится под калифорнийским солнцем, но общая идея выглядела логичной. Теперь он считал, что Гитлер выиграет войну, но настоящий ужас последует в виде ответного удара коммунизма, который прокатится по Европе. Фашизм или коммунизм — разница была невелика. Однажды Успенский сказал своим ученикам, что никогда не искал возможности основать свою школу — эта ответственность была ему навязана. Учитывая все обстоятельства, он неплохо справился. Наблюдая как-то вечером, как очередь учеников движется мимо верха длинной лестницы в Колет-Хаус, он пробормотал себе под нос по-русски: «Все я сам». Так и было. Но теперь этот этап его работы закончился.

Осенью 1940 года Успенский сказал ученикам, что в январе они с мадам уезжают в Америку.



# Путешествие на Запад

Вскоре после того, как Успенский объявил, что они с мадам уезжают в Америку, Джанет Коллин и ее дочь отбыли в США, чтобы помочь в подготовке к их прибытию. Пока мадам, которая уехала несколькими неделями раньше Успенского, нашла первый приют в Румсоне, Нью-Джерси, Успенский оставлял инструкции тем, кто оставался в Англии. Они должны были продолжать работу. «Все в Лондоне должно следовать системе дословно, как она излагается в моих записях». Успенский, который когда-то верил в то, что смысл жизни — в поисках знания, и восставал против позитивизма и теософии, потому что и то, и другое затвердело в доктрины, теперь предпринимал меры против ревизионизма.

Некоторые пытались следовать его приказам, другим это было трудно сделать. Беннет вспоминал, что, когда только познакомился с Успенским, тот учил, что человек растет или умирает. Для Беннета строгое следование инструкциям отсутствующего учителя выглядело непохожим на рост. Миссис Бомонт с ним соглашалась. Видя, какое волнение вызывает отъезд Успенского у его учеников, она спросила, зачем «работать над собой» двадцать лет — как делали многие из старших учеников Успенского, — если все равно так же зависишь от учителя? Де Ропп высказался еще откровеннее. Его удивило решение Успенского уехать, как много лет назад самого Успенского удивило решение Гурджиева прекратить работу в Ессентуках. Он не мог поверить, что Успенский и мадам, с которыми у него были очень тесные отношения, бегут от опасности. «Правильно ли было, — спрашивал он себя, — что Успенские бросили своих последователей, которые, в конце концов, обеспечивали их всеми бытовыми удобствами?.. Постепенно и с грустью я начинаю понимать, что мои учителя не сверхлюди... Они не обладают особым героизмом. Они хотят покоя и мира» [1]. У де Роппа это вызывало отвращение. Если бы он знал, то мог бы отметить, что сам Гурджиев, которому американские последователи советовали приехать в Соединенные Штаты, отказался, остался в Париже, затворив ставни, и продолжал работать с маленькими группами в течение всего периода оккупации.

Де Ропп остался и продолжал работу в Лине, насколько это было возможно. Но вскоре у него появились новые причины для разочарования.

Жену де Роппа, как и миссис Бомонт, никогда полностью не принимали в паству; особенно она вызывала гнев мадам, которая отговаривала де Роппа от женитьбы. Мадам плохо относилась к молодым ученицам, «к которым питала определенную нелюбовь» [2]. Чувствительная, замкнутая и не очень умная — де Ропп признает, что заключил брак из необходимости, — его жена оказалась не в своей тарелке, и все это знали. Мадам, как отмечает де Ропп, не осознавала свою силу и не сдерживалась. Жена де Роппа получала исключительно неодобрение, и из ее дневника впоследствии стало известно, насколько сильно на нее действовала язвительная проницательность мадам. Однажды, вернувшись после выходных из поездки, де Ропп нашел жену, которая качалась в кресле и повторяла снова и снова: «Я должна стараться помнить себя» [3]. Гурджиев говорил, что проще умереть от лени, чем от усилий, но ничего не говорил о безумии. Жене де Роппа диагностировали шизофрению, и она закончила дни в сумасшедшем доме.

29 января 1941 года Успенский отправился на корабле из Ливерпуля в Нью-Йорк. Незадолго до его отъезда Беннет «припер его к стенке» и стал задавать вопросы о своем недостаточном развитии. Успенский ответил, что проблема Беннета в том, что он все время делает фальстарты. «Если ты остаешься на стартовой прямой, — сказал Успенский, — как можно надеяться сдвинуться с места?» Беннет спросил, можно ли ему писать о системе. Успенский ответил, что писать бесполезно. Даже если он будет писать о системе, то только для того, чтобы убедить себя, что сделать это невозможно, — Успенский знал это на собственном примере, потому что бился над невозможным годами. Он добавил, что все равно не собирается публиковать «Фрагменты» [4]. Прощание не особенно вдохновляло.

Задумывался ли Успенский о том, насколько его слова подходят к его же собственной ситуации? Он снова отправлялся в изгнание, снова должен был начинать с начала и снова оказывался разочарован в своих поисках школы. Если кто-то и возвращался на стартовую прямую, так это он. Хотя Колет-Хаус успешно работал, никто из Внутреннего круга не поступал в его дверь, и сейчас, в разгаре очередной войны, вероятность встречи с их представителями в Нью-Йорке казалась минимальной. Однажды он писал, что некоторые члены эзотерических групп «живут среди обычных людей... часто даже принадлежат к некультурным классам и работают в незначительных, возможно, с обыденной точки зрения, даже вульгарных профессиях» [5]. Вполне вероятно, что он прошел мимо агента высшего источника, выходя за дверь. Возможность того, что они отправили кого-нибудь к нему на лекции, а потом *решили с ним не связываться*, могла приходиться к нему в голову, хотя он не предавал ее бумаге. Стала ли война возможностью обдумать все заново, или он должен следовать тому порядку, который так давно принял?

Возможно, но маловероятно, что Успенский обсуждал эти вопросы с неожиданным спутником в пути. На борту «Джорджик» Успенский обнаружил, что Родни Коллин проделывает это долгий путь вместе с ним; он тоже направлялся в Нью-Йорк, откуда должен был ехать на новую работу при британском правительстве на Бермудах. Хотя Джанет Коллин позднее скажет, что Родни стал для Успенского своего рода приемным сыном, непонятно, насколько взаимной была их привязанность. У Коллина в прошлом был богатый опыт борьбы за «благое дело»: помимо «Завета мира», он был членом Тос Н, товарищеской группы, образовавшейся после Первой мировой войны, а также Ассоциации молодежных турбаз — он даже писал для их журнала «Рюкзак». Хотя он никогда не участвовал в Теософическом обществе, но склонялся в их сторону и глубоко увлекался школами и эзотерикой. Коллин стал одним из немногих последователей Успенского, которого мало интересовал Гурджиев, — он видел в Успенском архетипического учителя (к этой роли Коллин стремился, как и Беннет, и со временем ее занял.) По иронии судьбы, при первой встрече Коллина с Успенским он рассказал, что пишет. Успенский ответил ему так же, как недавно Беннету: писать бесполезно. Коллин принял это близко к сердцу и десять лет ничего не писал. Но если Коллин будет оставаться с Успенским до конца, то Беннет решил, что настало время пойти своим путем. Его предотъездная встреча с Успенским стала последней. В дальнейшем они будут поддерживать связь только по переписке, по большей части язвительной.

Одним из первых посетителей мадам в Новом Свете стал Ч. С. Нотт, который обнаружил, что она переменялась. Вне своих владений в Лине, снова став беженкой, как и он, мадам была не такой пугающей, стала более теплой и сочувственной, более понимающей, чем та женщина, которую он знал в Англии. Он посетил и Успенского, который остановился в гостинице в Нью-Йорке; в Америке, как и в Англии, чета Успенских предпочитала жить отдельно. По прибытии Успенского ему устроили роскошную вечеринку. Встретившись с ним, Нотт упомянул, что члены прежней группы Оража подумывают пригласить в Нью-Йорк Гурджиева. Успенский, как обычно, ответил, что если это случится, то он уедет в Калифорнию. Нотт предложил Успенскому встретиться с этой группой. Успенский согласился, и встречу провели в апартаментах Мюриэль Дрейпер на Мэдисон-авеню. Возможно, это было ошибкой. Нотт нервничал, Успенский чувствовал себя нехорошо — либо после путешествия, либо из-за алкоголя, либо из-за усиливающегося почечного заболевания, либо из-за страха враждебного приема. В любом случае, встреча прошла неудачно. Успенский не смог произвести впечатление. Группа Оража нашла его слишком интеллектуальным, слишком холодным и сочла, что он поторопился сообщать им, что в Лондоне у него была тысяча учеников. «Он не авторитет», — гласил один вердикт. «Он все берет из головы», —

утверждал другой. Тем не менее, Нотт помог сформировать новую группу для Успенского, но большинство ее участников сходились на том, что ему не хватает харизмы Гурджиева и теплоты Оража.

Возможно также, что до них дошли замечания Успенского о его прежнем учителе. При встрече с Клодом Брэгдоном Нотту рассказали, что «Успенский говорит, что Гурджиев страдает от паранойи, и что этим вызвано его странное поведение» [6]. Конечно, Нотт это отрицал и заметил, что с его точки зрения сам Успенский выглядел немного «тронутым» в том, что касается Гурджиева. В любом случае, как может автор «Рассказов Вельзевула» быть тронутым? Это был риторический вопрос: Брэгдон отказался от предложенного Ноттом экземпляра, сказав, что его вполне устраивает система йоги, с которой он работал.

Нотт испытывал сочувствие к Успенскому, был тот тронутым или нет. Проведя с ним вечер, он ощущал, что Успенский «больной человек, страдающий от недугов, свойственных его возрасту», хотя ему было всего шестьдесят три. Но он знал, что есть и что-то еще. Помимо воздействия времени, Успенский страдал от «какой-то определенной болезни» и пил «сильные составы, которые я не мог принимать» [7]. Когда Нотт об этом заговорил, Успенский ответил: «Это единственное, что избавляет от скуки и депрессии, находящихся на меня временами» [8]. Нотт в своем сопереживании понял, что ничего не может поделать.

Нотт также знал о растущей вспыльчивости Успенского. Когда вышло новое издание «Новой модели», Успенский заметил, что на суперобложке по ошибке сказано, что он работал с Гурджиевым в общине в Лондоне. Разъяренный Успенский позвонил Нотту и излил на него свой гнев. Он потребует, чтобы книгу отозвали, а если это не получится, то откажется принимать за нее гонорар — странно мазохистическая стратегия. Нотт посочувствовал Успенскому, но не видел смысла огорчаться. Однако Успенский твердо стоял на своем. Нотт был издателем со связями в прессе, и Успенский попросил его организовать пресс-конференцию, чтобы разъяснить ошибку. Но без новой книги или чего-нибудь заслуживающего внимания Успенский не представлял интереса для прессы. Это только усилило чувство раненой гордости.

Возможно, боясь, что в его отсутствие Лин-Плейс развалится, или что октава будет развиваться не в том направлении, Успенский организовал систему информантов, стукачей Четвертого пути, которые за всем наблюдали и следили, чтобы все следовали линии партии. Беннет оказался неизбежной жертвой; он начал собственные группы и — как сам Успенский — работал с ними по своим методам. Успенский шлепнул его по запястью через Атлантику; он также напомнил Беннету о правиле — не писать о системе. Беннет ответил, что Успенский говорил, будто о системе писать невозможно, но не *запрещено*. Близился разрыв.

Тем не менее, Успенский вернулся к делам, организовал в Нью-Йорке группы, одна из которых собиралась в его квартире-студии на семьдесят девятой улице. Лекции проходили по тому же регламенту, что в Лондоне: если не было вопросов, то не было и ответов. «Вы должны платить, задавая вопросы», — говорил он своим новым ученикам [9]. Если вопросов не было, он сидел молча. Также он стал скептически относиться ко всему пахнущему мистицизмом или духовностью, хотя в Лине не обращал внимания, когда мадам начинала зачитывать великие религиозные книги, что Кеннет Уокер находил вдохновляющим, и что «придавало идеям теплоту, которой им прежде недоставало» [10]. Однако здесь, когда ученик говорил, что слышит ангелов, испытывает чувство мистического единства или другие подобные «неясные» ощущения, Успенский отвечал: «Вдохновенненько, интуитивненько, фантастичненько!» [11]. Он отрицал даже собственный мистический опыт, либо забывая, либо говоря неправду о своих опытах с веселящим газом или о коротком мгновении в Мраморном море. Некоторым ученикам было трудно это принять, и они с ним спорили; чаще же они уходили, называя его тщеславным стариком и материалистом [12]. Трудно определить, какая критика сильнее ранила бывшего символиста в возрасте за шестьдесят.

К тому времени переехал не только Успенский, но и Лин-Плейс. Теперь место называлось Франклин-Фармс, и находилось оно в Мендхеме, Нью-Джерси. Покупка стала возможной в основном благодаря Джанет Коллин, которая выступала своего рода *aide-de-camp*\* при мадам. Бывшая резиденция губернатора Нью-Джерси, большой гранитный дом, стоял среди пологих холмов. Как и в Лине, просторная территория пришла в упадок — двойное преимущество, потому что ее состояние наверняка сбило цену, а жителям предоставило возможность для работы. Здесь были амбары и пустые сараи, неиспользуемые подсобные постройки и ржавеющие птичники, где раньше жили экзотические птицы. Как и в Лине, здесь правила мадам. Когда здоровье Успенского стало ухудшаться, особенно под влиянием его геркулесовских попоек, она стала центром работы. Хотя она хромала и ходила с тростью, но ее присутствие всех заряжало: даже из постели, где она проводила все больше времени, ей удавалось встряхивать эмоциональные центры учеников. Она сбивала с толку, и ученики не могли понять, любят ее или ненавидят, хотя и ее внимания или желают уйти от него. Она создавала, как сказал Беннет Гурджиеву, «атмосферу... полную лихорадочного возбуждения, в которой трудно было определить, что правильно, а что нет» [13].

Не все были этому подвержены. Мари Сетон, секретарь Успенского, замечала, что мадам выглядела «властной женщиной, которая... живет в

---

\* *Aide-de-camp* (фр.) — адъютант.

очень комфортных условиях, где всю огромную работу по дому делают за нее преимущественно искренние люди, подпавшие под ее влияние». У Мари был к нему иммунитет; она не могла решить, «искренняя ли [мадам] или шарлатанка; или она просто невротик властного типа». С точки зрения Мари, мадам «обладала большой властью над людьми, чье воображение захватывала». Те, кто «долго пробыл под властью мадам, становились людьми в серой одежде, безрадостными и странно закрытыми... в страхе ее неудовольствия» [14].

Кто точно чувствовал власть мадам, так это Нотт. Нотта пригласили посетить Франклин-Фармс, и, как в Лине, его отношения с Успенским были сердечными, хотя он признавал, что никогда не был так близок к мадам, как к Успенскому. Один раз в Лине, когда Нотт показывал ученикам Успенского движения Гурджиева, мадам организовала гала-представление танцев. Однако Нотта не пригласили — возможно, в наказание за то, что он отказался работать под руководством мадам. (Работать в Лине после Гурджиева, говорил он, «все равно что возвращаться в школу после университета» [15].) Теперь, в Америке, Нотт подружился с парой, которая работала с мадам в Мендхеме. Они пригласили его на ужин, и разговор естественным образом свернул на работу. Нотт обещал мадам, что во время пребывания в Франклин-Фармс не станет упоминать Гурджиева или говорить о «Рассказах Вельзевула». Может быть, он хитрил, но с его точки зрения это правило действовало только в Мендхеме и больше нигде. Считая нечестным скрывать информацию и немного уступая желанию проповедовать, Нотт рассказал паре о своей библии. Конечно, их это заинтересовало. Но когда мадам узнала, то пришла в ярость и сказала ему, что он нарушил обещание. Затем она заявила, что он не должен контактировать ни с кем из ее учеников. Нотт считал, что это абсурд, и они поспорили. Понимая, что ему нет места в Мендхеме, он уехал. Нотта немедленно подвергли обструкции, особенно та пара, с которой он говорил о «Рассказах Вельзевула». Он больше никогда не видел Успенских.

Успенский тоже умел раздавать наказания. Чаще всего они доставались Беннету. Информанты Успенского подали ему объемный отчет о неуступчивости Беннета. Стоит сказать, что Беннет изо всех сил старался поддерживать прямую связь. Он даже отправил Успенскому длинную работу по пятому измерению, надеясь получить творческую обратную связь. Но, как и следовало ожидать, Успенский не уделил ей внимания, сказав, что это просто новая теория термодинамики. Он заявил, что интеллектуально ничего нового найти нельзя. Единственная надежда — связаться с высшим эмоциональным центром — рефрен, который постоянно всплывал в беседах с ним в те годы. К сожалению, добавил он, «мы не знаем, как это сделать». Беннет, как и Успенский, мыслил самостоятельно и после двадцати лет следования приказам Успенского решил, что пора этим

воспользоваться. Как бывает со многими учениками, он попал в ловушку подражания учителю, подавляя собственную инициативу, чтобы добиться его одобрения. Даже мадам отчитывала его за копирование плохого английского Успенского. Пришла пора остановиться. Беннет игнорировал приказы Успенского, и Успенский ответил на это тем, что велел своему адвокату написать Беннету и потребовать вернуть все бумаги Успенского, включая его лекции. Беннет имел право цитировать только опубликованные материалы. Также Успенский приказал людям, остававшимся в Лине, разорвать все связи с Беннетом. Но даже этого было недостаточно. Морской офицер, который посещал лекции Беннета, однажды показал ему письмо от своего друга в Америке, где сообщалось, что Беннет украл все идеи Успенского. Его информировали, что если он хочет когда-либо присоединиться к группам Успенского, то должен немедленно порвать с Беннетом. Так он и сделал. Для человека, которого обвиняли в «краже» идей Гурджиева, Успенский оказался исключительным собственником.

В числе людей, рассерженных изгнанием Беннета, был де Ропп. Оставив жену в сумасшедшем доме, а детей — у родственников, де Ропп нашел работу в Нью-Йорке, и, хотя учителя его разочаровали, тем не менее стал работать с ними снова. Он знал Беннета, дружил с ним и был одним из людей, остававшихся в Лине, которым рекомендовалось не поддерживать с ним связь. Успенский обвинял Беннета в том, что тот действует на «психологическом черном рынке»; его изгнание напоминало де Роппу параноидальные чистки Иосифа Сталина. Успенский как будто был готов выкидывать людей из работы по малейшим причинам. Но «блоха сверхусилий» кусала сильно, и, плывя по течению жизни, де Ропп решил дать своему учителю еще один шанс.

Де Ропп нашел Родни Коллина, который тогда жил в Мендхеме и работал на британское правительство, в офисе в Центре Рокфеллера. К тому времени собственные отношения Коллина с Успенским сделали интересный поворот. Ездить из Нью-Йорка в Мендхем было утомительно, и после долгого дня Коллин слишком уставал, чтобы посещать вечерние лекции Успенского. Однако как-то ночью он понял, что его удерживает что-то еще, кроме усталости. Выпрыгнув на рассвете из кровати, он нашел Успенского как обычно пьющим в кухне в одиночестве. «Почему я тебя боюсь?» — закричал Коллин. Успенский поднял взгляд от стакана и спокойно спросил: «Почему ты говоришь „Я“?» Коллин был ошеломлен и с тех пор проводил каждую свободную минуту с Успенским. Нравилось ли это самому Успенскому — другой вопрос.

Коллин пригласил де Роппа во Франклин-Фармс, и де Ропп с удивлением обнаружил, что как будто возвращается в Лин. Многие ученики Успенского перебрались за океан, и под управлением мадам вся атмосфера странно напоминала сновидение. Территория была больше и красочнее

Лина. Де Ропп заметил, что прежний владелец привозил камень для облицовки из Италии. Но больше всего его поразили перемены в учителях.

Восточное побережье их не пощадило. «Ни Успенский, ни мадам Успенская не отличались здоровьем даже в Англии, — писал он. — У обоих были бледные одутловатые лица людей, которые слишком много времени проводят взаперти». «По крайней мере в Англии, — замечает он, — у Успенского была лошадь и казацкое седло... но теперь он как будто потерял всякий интерес к физической активности. Он читал лекции в Нью-Йорке, такие скучные, что, выслушав несколько, я полностью отказался посещать остальные. Между лекциями он сидел в кабинете». Де Ропп говорит: «[Я] сидел с ним несколько раз, но меня печалило увиденное. Он был очевидно болен, слишком много пил и все еще блуждал в воображении по улицам Москвы и Санкт-Петербурга» [16].

Комментируя растущую паранойю Успенского, де Ропп чувствовал, что «вот обладатель одного из лучших умов, какие я встречал, предается совершенно бредовым фантазиям». Ему было ясно, что происходит. Он видел: «Успенский больше не учитель. Он потерял свою силу и испортил здоровье... Единственный честный поступок, который он может сделать... посмотреть в лицо своей слабости, отправить всех учеников собирать вещи, закрыть этот показушный дом и либо умереть, либо, огромным усилием, восстановить свою былую силу» [17].

Успенский не сделал ни того, ни другого. Он не контролировал ситуацию, возможно, еще меньше, чем понимал даже де Ропп. Де Ропп этого не упоминает, но возможно, что Успенский перенес удар и некоторое время был беспомощен, буквально пленник в собственном доме. Мадам тоже отстранилась от людей и, по словам де Роппа, пыталась управлять школой Четвертого пути дистанционно. В этом ей помогала команда из брата и сестры, которых де Ропп называл «архангелами». Они редко приносили благие вести, были очень молоды и очень жестоки. «Одно дело, — говорил он, — получать прямо от мадам так любимые ею уничижительные комментарии о твоих слабостях. И совсем другое — получать их публично и с ноткой удовлетворения от архангелов» [18]. Де Ропп получил такой комментарий в особенно тяжелое время. В Англии нашли дневник его сумасшедшей жены, а в нем — подробное описание жестокого обращения мадам. Родственники де Роппа схватились за оружие, утверждая, что мадам промыла девушке мозги. Им трудно было понять, почему де Ропп опять связался с Успенскими. И не только им. «Я больше не мог считать, — признает де Ропп, — что мои учителя не могут ошибаться» [19].

Мари Сетон, как и де Ропп, в начале 40-х оказалась в Нью-Йорке. Она признает, что с 1936 по 1938 год «была в системе никем». Однако у нее было преимущество — она свободно говорила по-русски; ко времени участия в работе она переводила «Вишневый сад» Чехова. Естественно, это



привлекло ее к Успенскому. Они познакомились. Успенский всегда радовался интеллигентным людям, с которыми мог поговорить о чем-то кроме работы, а если это оказывалась молодая привлекательная девушка — тем лучше. Теперь, встретившись с одним из учеников Успенского и обнаружив, что он в Нью-Йорке, она счастлива была возобновить знакомство. Успенский тоже был рад ее видеть и попросил снова стать его секретарем. Во второй раз лишившись корней, он наверняка ценил общество кого-то, кроме мадам, кто говорил на его родном языке.

Мари отмечала, что среди учеников была «молодая супружеская пара с деньгами, так глубоко участвующая в работе, что они оплачивали все крупные счета». Это были Родни и Джанет Коллин. В том, что деятельность Успенского в Нью-Йорке оплачивали состоятельные ученики, не было ничего необычного — в Лондоне Ральф Филипсон и леди Ротмер оплачивали многие счета. В конце концов, Успенский обеспечивал учение и образовательную среду, которую больше нигде нельзя было найти. Никто никого не заставлял становиться учениками. Однако Мари отметила нечто странное. «Не могу сказать, в какой день меня осенило, что П. Д. Успенский странно экстравагантен, учитывая, что большую часть его счетов оплачивает эта молодая пара. Но он поручал мне покупать для себя самые роскошные и дорогие фрукты, сыры и деликатесы». Она также заметила, что «людей, которые оплачивали счета, не приглашали разделить эти дорогие блюда». Однако приглашали ее.

После лекций, вспоминает Мари, Успенский приглашал некоторых учеников, в том числе Коллинов, в ресторан — скорее всего, «Longchamps», где его любили официанты. Там компания засиживалась, и в ходе вечера Успенский становился все саркастичнее, часто очень резко разговаривал с Родни и Джанет, которые обычно оплачивали счет. Зная, как Родни Коллин ценил Успенского, можно предположить, что он рассматривал эти вечера как «испытание». Однако Успенского только больше раздражало то, в чем он видел признак глупости, хотя его раздражение часто направлялось на него самого за то, что он проводит время с «овцами». Как писала Мари, Коллины «жили ради его одобрения, и чем больше они на него надеялись, тем меньше получали». Ситуация неприятно напоминала времена, проведенные Успенским с Гурджиевым. Возможно, чтобы не обращать на это внимание, Успенский пил. Иногда он отказывался уходить из ресторана, говорил с Мари о своей жизни и на неизбежную тему — годы до встречи с учителем.

Хотя Мари уважала Успенского, но начала сомневаться в ясности его суждений. Также его беспокоили его злость и учащающиеся срывы. Однажды он заговорил о хорошем ресторане, про который слышал, и потребовал отменить вечернюю лекцию, чтобы они смогли там поужинать. Мари выполнила приказ, но не могла удержаться и не спросить, чем он

оправдывает то, что отменяет лекцию только для того, чтобы пойти в ресторан, или что еще вызвало его плохое настроение.

«Они такие дураки, — ответил Успенский и добавил: — Я потерял контроль над своим настроением. Я стал во главе школы, чтобы спасти систему. Но я оказался на этом месте раньше, чем научился достаточно контролировать себя. Я был не готов. Я потерял контроль над собой. Я давно уже не могу контролировать свое состояние».

Разве он не может попытаться взять себя в руки, спросила она. Сейчас его ученики считали, что он учит, когда срывается в одном из приступов ярости.

«Дураки!» — презрительно сказал он. Затем он добавил, что она единственная, кто что-то получает от его работы, — то же самое он говорил Розамунде Шарп. Другие, по его словам, просто обманывают себя.

Тогда Мари задала очевидный вопрос: «Почему вы не откажетесь от лекций и не попытаетесь вернуть контроль над собой?»

Успенский ответил: «Система стала моей профессией».

Работа стала просто работой.

Были и другие причины, удерживавшие Успенского на месте. Он говорил Мари, что стал зависеть от комфорта и роскоши, которые представляли Коллины. Учítывая, что он дважды переезжал в другую страну и сталкивался с голодом и близостью смерти в годы на Кавказе, это прощательно. Но на самом деле это было плохой заменой того, чего ему не хватало на самом деле. Проблема была даже не в том, что он не мог добиться «психотрансформации», которая и была целью системы, хотя его реакция на опыт близости к смерти миссис Бомонт демонстрирует, насколько ему этого не хватало. Успенский, как все остальные, хотел почувствовать, что добился успеха в работе. Трудно избавиться от ощущения, что где-то в 30-х годах, когда он впервые стал расширять поле деятельности, у него появилось чувство, что что-то пошло не так. Хотя он всегда любил выпить, но именно тогда начал злоупотреблять алкоголем. Он был не приспособлен для того, чтобы быть учителем. Но годы писательства остались позади, и он это знал.

Может быть, октава сместилась неожиданным образом. Как часто бывало с Иваном Осокиным, он сделал ошибку. Трудно сказать, когда именно, хотя хороший вариант — некая встреча с неким экстраординарным человеком. Каждый вечер под властью алкоголя он путешествовал во времени — в четвертом измерении — в дни до этой встречи. Он говорил Мари, что в те дни «тысяча, две тысячи человек» приходили на его лекции. Теперь, тридцать лет спустя, была только сотня — «слишком мало».

## Глава 21

---

# Конец системы

Летом 1946 года в большом зале Стейнвей Холла в Нью-Йорке Успенский объявил своим шокированным ученикам, что уезжает из США обратно в Англию. Мадам останется, и те, кто работал в Мендхеме, будут продолжать под ее руководством. Тем нью-йоркским ученикам, которые не были частью Франклин-Фармс, придется разбираться самостоятельно. «Печаль, изумление, неверие, отчаяние... мы вертелись, ахали и глотали воздух в лихорадочных попытках спасти себя от отчаяния», — вот одна из реакций на это заявление [1]. Людей Успенского «толкали, вербально унижали, оскорбляли [и] избивали». Они «уважали, любили и пытались его понять» [2]. Но теперь он их бросил. Некоторые, например, Ирмис Б. Попов, пытались найти себе место в Мендхеме, но мадам их не приняла. Про Ирмис мадам сказала, что она «эмоциональная миссис П. с пустой головой». Однако Ирмис, как и многие другие, не обиделась, хотя признавала, что мадам не вызывала того восхищения, которое питали к Успенскому. Они оба, как она знала, «так отличались от всех, с кем я встречалась, были настолько выше среднего человека, что у них должны были быть серьезные причины... для всего, что они говорили или делали» [3]. Ирмис было очевидно, что «они намного больше сознают, чем я». Однако в то же время она признавала, что «ненавидела их... любила их... [и] сомневалась в здравости их рассудка» [4]. Теперь, потеряв учителя, Ирмис пришлось разбираться самостоятельно. Это привело ее на чтения «Рассказов Вельзевула». Она рассказывает, что там «мы сидели на твердых деревянных скамьях без спинок по три часа и больше, слушая ровные голоса, которые монотонно читали бессмысленную книгу... лишая себя сигарет... борясь со сном [буквально], с холодом, с голодом, с потребностями тела, потому что выйти было нельзя... пока шло чтение» [5]. Наверное, ей казалось, что она попала из огня в полымя.

Мадам не нравилось решение Успенского, но он был настроен твердо. Если и было время для сверхусилий, оно настало. Вопреки совету своего врача и настойчивых уговоров мадам, 18 января 1947 бледный, слабый и явно больной Петр Успенский заставил свое непокорное тело медленно пересечь зал в Мендхеме, выйти на улицу и сесть в ждущий автомобиль. Хотя ему было всего шестьдесят восемь, его тело было физически намного

старше, и каждый шаг стоил ему огромного усилия воли — которой, как много лет назад сказал ему учитель, у него не было. Гурджиев в свое время говорил, что для того, чтобы накопить «силу», нужно заставлять тело делать то, что оно делать не хочет. Вечера в «Longchamps» и богатая дорогая еда остались позади, и с каждым мучительным движением Успенский вносил большой вклад в резервуар «силы». Вероятно, он знал, что умирает.

Много лет назад Гурджиев сказал Успенскому, что Земля — это очень плохое место Вселенной. Зимой 1947 года одним из худших мест на планете была Англия. Война разрушила экономику, большая часть Лондона лежала в руинах, еду и электричество выдавали ограниченно, и в довершение картины первые месяцы нового года стали одной из самых холодных зим в истории страны. Предсказания Успенского о войне не исполнились, но он не питал радости по поводу того, какого рода Европу построят альянс. Западная демократия казалась ему очередным названием бездушного материализма. Но в Англии было то, чего не было в Америке. Она была единственным прошлым, в которое он мог вернуться. Прибыв годы назад в Константинополь, Успенский оборачивался на родину с печальным пониманием, что ее больше нет. *России больше не было*. «Ни в одно оставленное мной место больше невозможно вернуться» [6]. Для человека, для которого всегда было важно прошлое, это должно было стать ужасной потерей. Он никогда не чувствовал себя вполне дома в Англии, но больше у него ничего не осталось.

Ученики Успенского были в восторге, когда получили письмо с сообщением о его возвращении. Многие верили, что, когда война закончится, он к ним вернется. Теперь ковчег выбросило на сушу, говорили они, и настало время снова работать.

Среди тех, кто встречал Успенского в порту в Саутгемптоне, был Кеннет Уокер. Он, как и другие, слышал, что Успенский нездоров, и ходили слухи, что его возвращение в Англию — не внезапное решение, как это казалось многим в Мендхеме, а часть давнего и тщательно продуманного плана. Придумывались многочисленные версии того, что это означало, но часто шептали имя прежнего учителя Успенского. Одна из сплетен предполагала, что мадам пригласила Гурджиева в Франклин-Фармс, а этого, как все знали, достаточно, чтобы заставить Успенского пересечь океан. На самом деле они не знали, чего ожидать, но точно не были готовы к тому, что увидели. Успенский вернулся, «но не прежний Успенский». Стоя на пристани, Уокер увидел выходящего на английскую землю «человека, которого мы едва узнали, человека, который состарился на двадцать лет с тех пор, как мы его видели, человека, на котором уже видна печать смерти» [7]. Уокер понял, что Успенский потерял весь свой прежний энтузиазм и целеустремленность, и ясно было, что, какими бы ни были его намерения, вряд ли он смог бы их реализовать. Позднее Уокер узнал, что до последнего момента было неясно, сможет ли Успенский вообще совершить путешествие.

Несколькими месяцами ранее Успенский попросил двух учеников, которые с большим трудом проделали путь от Лина до Мендхема, вернуть Колет-Хаус, который во время войны реквизирует флот, и подготовить к его приезду. Это в итоге удалось сделать, но сначала Успенский поехал в Лин-Плейс. Приехав на автомобиле из Саутгемптона в Лин, Успенский поселился в своей прежней комнате. Как все чаще с ним бывало, он ни с кем не говорил. Однако Уокеру было очевидно, что он чем-то занят. Двумя месяцами позже Успенский вышел из уединения и провел последние публичные выступления. В Колет-Хаус в ходе шести огромных собраний Успенский организовал своим ученикам — и всем, кто интересовался работой, — самую большую встряску, какую получала система.

Френсис Роулз, бывший вместе с отверженным Беннетом одним из заместителей Успенского, собрал три сотни верных. Если ближний круг поразило здоровье и внешность Успенского, то большую группу они взволновали не меньше. Но то, что они увидели на платформе Колет-Хаус, не шло ни в какое сравнение с тем, что они слышали. Успенский всегда говорил кратко и никогда не приветствовал глупцов. Те, кто шесть лет ждал его возвращения, привыкли к коротким практичным ответам, если ответы вообще были. Но теперь, с помощью мисс Куин, которая приехала с ним из Мендхема, Успенский превзошел себя. Его английский был сбивчивым, речь несколько невнятной, но общий смысл был ясен. Каждое упоминание учения, каждая фраза о сне, механичности, самовоспоминании, каждый вопрос, облеченный в жаргон системы, бросали обратно спрашивающему с абсурдным и невероятным ответом, что у Успенского нет учения, что он никогда ничему их не учил, и что в любом случае, почему они верят постороннему, который говорит, что они механические? Кто сказал, что они спят? Должно быть, это был мучительный опыт, и Успенский ничем его не облегчал. Он сказал, что ничему не может их научить. Когда один ученик спросил, как обрести гармонию, Успенский ответил: «Это твой вопрос? Я сейчас тоже его задаю, и ответа у меня нет». Позднее он сказал, что это «музыкальный термин, не более». Когда другой спросил, хочет ли он, чтобы они продолжали работать по программе, составленной им в 1940 году, он ответил, что никакой программы не давал. Когда его спросили, какова цель и задача эзотерических школ, он ответил: «О, это большое дело», а потом добавил: «Может, и нет». Когда один ученик сообщил, что выбрал Четвертый путь, и попросил у Успенского совета по движению по нему, он ответил: «Я не знаю». Другой спросил, можно ли установить контакт со школой. Успенский сказал: «Нет». На вопрос: «Что есть реальность?» он ответил: «Наверное, ничто». А когда кто-то сказал: «Я хочу уйти от механичности и сна», он прокомментировал: «Вероятно, это невозможно». Когда одна ученица сказала, что хочет стать иной, чем есть сейчас, Успенский ответил, что это означает изменения, а он в них больше не верит. Когда дру-

гой ученик настаивал, что некоторые действительно меняются, он сказал: «Им везет». Кеннет Уокер осмелился задать вопрос, который боялись задавать все остальные: «Хотите ли вы сказать, мистер Успенский, что отказались от системы?» На это его учитель ответил просто: «Системы нет» [8]. В финальном триумфе Успенский шокировал больше, чем его учитель.

Успенский все же оставил несколько инструкций. Они сами должны были решать, что хотят от жизни. Была необходима цель — обычная, повседневная цель. И они могли полагаться только на себя. Если ученики Успенского и выходили с собраний в феврале, марте, мае и июне с чем-то кроме разочарования и смущения, так это с чувством, что им предстоит начинать сначала. Когда один ученик спросил, можно ли совершать усилия самостоятельно, он ответил: «Да, конечно. Только самостоятельно. Только так возможно. Других способов нет». А когда другой спросил «Как можно начать работу», он ответил: «Человек знает, чего хочет». Казалось, что все так просто. Но Успенский узнал, что знать, что ты хочешь, — возможно, самая трудная задача.

На частных встречах было очевидно разочарование Успенского. Где-то в октаве что-то пошло не так. Но кто именно ошибся — было неизвестно. Многие ученики считали, что кульбит Успенского вызван их неспособностью понять его учение. Учитывая, что такие ученики, как Уокер, провели двадцать четыре года, следуя словам Успенского, понятно, почему им было трудно принять публичное признание учителя, что дело его жизни было ошибкой. Это означало, что те, кто за ним последовал, тоже ошиблись. Некоторые придерживались мнения, что последние собрания Успенского были шоком, который должен был сдвинуть их с привычных путей и открыть навстречу новой фазе работы, которую он готовил. Но против этого свидетельствует один вопрос, заданный на этих последних собраниях. «Вы собираетесь публиковать „Фрагменты“, — спросил один ученик, — или смиритесь с тем, что еще нерожденные узнают вас как человека, нарушившего обещание и работавшего против эзотеризма?» Сначала Успенский как будто не понял, но когда вопрос повторили, он просто ответил: «Нет». Он не просто отказался от системы, но и отверг ее самое подробное и детальное описание — бывшее одновременно его последним произведением.

Вернувшись в Лин, Успенский ушел в себя и размышлял о своей жизни. Если у него и осталось учение, то заключалось оно в том, что люди должны пересматривать свое прошлое. Они должны находить перекрестки, на которых могут принять другое решение, выбрать другой путь и прожить другую жизнь. Как и в начале пути, его мысли занимало повторение, и не вызывает удивления то, какие именно перекрестки привлекли его внимание. В «Четырех квартетах» Т. С. Элиот, который многому научился у леди Ротмер, писал: «В моем конце мое деянье». Успенский в это поверил, и теперь, когда приближался его конец, он готовился начинать сначала. «Фрагменты» не опубликуют. Но он сменил название своего единственного ро-

мана на «Странная жизнь Ивана Осокина» и надеялся увидеть перед смертью английское издание. Это ему не удалось, но колесо завершило оборот.

Наверняка одним из его учеников, который верил в то, что предсмертная цель учителя — это подготовка к следующей жизни, был Родни Коллин. Коллин последовал за учителем в Англию в апреле и посещал его последние собрания. В отличие от Уокера, он был среди тех немногих, кто не верил, что Успенский оставил работу, или считал, что если и оставил, то для того, чтобы открыть себя и другим навстречу возможностям большей работы. Как и молодой Успенский, Коллин жаждал чудесного, и это вместе с глубокой верой в учителя могло окрашивать его восприятие. Но если верить в слова Коллина, в свои последние дни Успенский не только нашел чудесное, но и сам стал его источником.

Сначала чудеса выглядели скорее вариацией игры Гурджиева в исполнении Успенского. Решив, что Англия все-таки слишком негостеприимна для человека в его состоянии — или, возможно, решив шокировать нью-йоркские группы так же, как лондонские, — Успенский объявил, что отправляется обратно в США. 4 сентября группа Успенского поехала в Саутгемптон, погрузила багаж и даже организовала автомобиль, который должен был привезти Успенского на пристань. Вскоре перед тем, как корабль должен был отчалить, Успенский тихим голосом объявил: «В этот раз я в Америку не поеду». В этот раз? Имел ли он в виду прошлую поездку или прошлую жизнь? Не сворачивал ли Успенский на перекрестке в другую сторону, оставляя временную закладку на страницах своей жизни? Или это были всего лишь «очередные капризы старика, потерявшего разум» [9]? Для Родни Коллина эта перемена в планах была «как упражнение „стоп“ в масштабе всей работы... У всех планы переворачивались с ног на голову, и в движении времени появлялось пространство, когда можно сделать что-то совершенно новое» [10].

Коллин не испытывал сомнений. Для него все действия Успенского в последние месяцы были полны поразительного смысла. «Все, что Успенский делал и говорил в то время, было направленно именно на этот результат — отсеять людей, которые могут отзываться на чудо, от тех, кто не может» [11]. Частью процесса была серия странных поездок по Англии, в которые отправлялся умирающий Успенский в обществе Коллина, других учеников и очень часто своих кошек. Разъезжая по ночам, без еды, Успенский возвращался в знакомые места: Вест-Уикхем, Севеноакс, старый коттедж Николла в Сидлшеме (дом пятьдесят пять «а» на Гвендир-роад в список не входил, потому что его уничтожила бомба во время обстрела). В конце одной из поездок, вернувшись в Лин, Успенский не вышел из машины вместе с остальными, а остался сидеть в ней всю ночь, в окружении кошек. Одна преданная ученица встала у окна, подняв руку в своего рода салюте. Успенский либо не заметил этого, либо был слишком слаб, чтобы ответить, иначе он наверняка отчитал бы ее за глупость.

Очевидно, Успенский возвращался в важные места своего прошлого, чтобы зафиксировать их в сознании и *в следующий раз* вспомнить. По словам Кеннета Уокера, было ясно, что он хотел что-то изменить. Изменение прошлого всегда было предметом одержимости Успенского, и теперь он как будто прикладывал все усилия, чтобы дать себе максимальный шанс это сделать. Как говорят свидетели, он буквально заставлял свое тело оставаться живым. Он мало ел и не заботился о комфорте. Коллин писал: «Целую ночь заставляя свое умирающее тело ходить, и разбудив нас, чтобы провести эксперименты, Успенский сказал: «Теперь вы понимаете, что все делается с усилием?» [12]. Коллин верил, что все, что делал Успенский, было теперь частью высшего усилия с единственной целью — умереть осознанно. Это, как считал Коллин, было последним сверхусилием в долгих поисках чудесного.

Память всегда была важна для Успенского. В его последних беседах в Нью-Йорке эта тема поднималась снова и снова, вместе с темой повторения. Поскольку он охватил эти темы в теории и на примерах много лет назад, возвращение интереса вызывало вопросы. Более чем вероятно, что его уже некоторое время преследовало ощущение, что с системой он зашел в тупик. В 1943 году, однажды вечером в «Longchamps», Родни Коллин спросил Успенского, почему все остановилось. Успенский ответил откровением, которое получил за много лет до того в Санкт-Петербурге: «Ты забываешь одно; многие люди забывают — чтобы учиться, нужно учить» [13]. Говорил ли он теперь о повторении для того, чтобы лучше понять его самому? Стоя на крыше Лина семью годами ранее и глядя, как горят пристани Лондона, Успенский сказал, что этого не помнил. Теперь, когда он заставлял свою разрушающуюся физическую форму продолжать существовать, не пытался ли он принять меры, чтобы вспомнить в следующий раз?

Если так, то многим казалось, что его усилия приносят результат. Для Родни Коллина последние дни Успенского приобрели характер мистерии, и окружающие их события были частью великого «чуда измерения», которое наблюдал он и другие. Новые знания, новое понимание и уверенность проявились в недели, ведущие к его смерти. Происходило это потому, что Успенский больше не *говорил* о возможности жить за пределами времени. Своими действиями и своим намерением принять всякое страдание он действительно это реализовывал. Все было «странным, новым, беспричинным» [14]. Успенский проделал «ужасную трещину в небесах» [15] своими усилиями «превратить любой неприятный фокус судьбы... в преимущество». Отказавшись от нормальных своих сил и способностей, он «сумел достичь сверхнормальных» [16]. По завершении этих автомобильных путешествий Успенский ушел в свою комнату в Лине и стал еще более молчаливым. Но даже тогда он не переставал учить [17]. «Он принимал у себя двух-трех человек, — пишет Коллин, — они ничего не делали, просто сидели, курили... выпивали бокал вина, и так часами... Каждый ломал



голову над тем, что сказать, как начать разговор... Многие не могли этого вынести. Но со временем эти времена оказывались самыми интересными... Ты начинал чувствовать — все возможно в *этот* момент» [18].

Что именно происходило в последние несколько недель жизни Успенского, все еще неясно. Даже Коллин признает, что без веры, или, выражаясь словами Успенского, положительного отношения все, через что проходил их умирающий учитель, можно счесть печальным упадком сломенного, разочарованного человека. Джойс Коллин-Смит, невестка Родни, даже предположила, что Успенский страдал от синдрома Альцгеймера и больше не отвечал за свои действия [19]. Однако вся информация о том времени косвенная, и мы никогда не узнаем правду. Но для людей, которые ее наблюдали, странная смерть Петра Успенского должна была быть экстраординарным событием.

Для одной ученицы Успенский совершил чудо, которое сумел сделать Гурджиев много лет назад: она слышала его мысли. В ужасе она попросила его разговаривать нормально. Успенский понял ее страх и согласился. Другой ученик почувствовал присутствие огромной силы, «существа, подобного Христу, настолько выше Успенского, насколько Успенский был выше нас» [20]. Успенский тоже почувствовал это присутствие и спросил своих учеников: «Вы заметили?» [21]. Они заметили. Третий верил, что достиг уровня ангелов; еще один — что в конце концов Успенский обрел космическое сознание, которое так долго искал. Он переменялся. Много лет назад ученик, один из многих, спросил, жалел ли он когда-нибудь о встрече с Гурджиевым, и отметил, что даже до встречи с ним он написал «две совершенно блестящие книги». Успенский ответил: «Это были всего лишь книги. Я хотел что-то свое» [22]. Более тридцати лет спустя многие верили, что он, наконец, получает то, что хотел, и в процессе создает своего рода «мистическое тело», в котором те, чья вера достаточно сильна, могут пребывать. Поскольку Успенский выходил «за пределы времени», он будет с ними в вечности.

По крайней мере, так казалось Родни Коллину. Другие воспринимали все иначе, их расстраивало влияние, которое имел пылкий ученик Успенского над дряхлеющим учителем. Для них долгие поездки на автомобиле и повторные сверхусилия были идеей Коллина, а не Успенского, и следует сказать, что попытки Коллина вписать себя в сценарий жизни Успенского дают ряд аргументов для этой точки зрения. Если принять приведенную Мари Сетон оценку Коллинов Успенским («Они дураки!»), то близость учителя, которую ощущал Коллин, могла быть односторонней. Несмотря на все его терпение, бывали времена, когда Успенский находил щенячью преданность Коллина и его попытки заслужить одобрение раздражающими. Больной, мучимый болью и разочарованный, однажды он позволил раздражению взять верх и дал Коллину пощечину. Родни, думая, что это стратегия обучения, повторил ее, ударив Френсиса Роулза и порвав ему барабанную перепонку.

Практически сразу после этого, во время внезапного полета обратно в Америку, Коллин считал, что «лежащий в своей постели в Сюррее» Успенский «завладел силой разума телом молодого человека, летевшего через Атлантику» [23]. Молодым человеком был Коллин. Прибыв в Мендхем, Коллин напугал мадам, переняв личность Успенского, его жесты и голос. Вернувшись в Лин, он намеревался помочь Успенскому в его осознанной смерти, при которой он умрет не как обычный человек, а на уровне, на котором он станет бессмертным [24]. Для Коллина смерть Успенского приобретала черты распятия Христа, а сам Успенский, когда перейдет этот последний порог, станет своего рода духовной сущностью, открытой всем, кто в нем нуждался и искал его помощи при достаточной целеустремленности и вере.

Незадолго до смерти Успенский собрал группу и повторил послание последних их встреч: они должны воссоздавать *все* самостоятельно. В день, который стал в его жизни последним, он проснулся, оделся и, отказавшись от всякой помощи, сделал последнее усилие, чтобы обратиться к ученикам. Что говорилось на этой последней встрече, неизвестно. На рассвете 2 октября 1947 года Петр Демьянович Успенский умер.

Коллин считал, что его учитель мог бы сказать: «Я всегда буду с вами, но легко и с сигаретой во рту». Коллин принял это близко к сердцу и верил, что, когда он переходил в тот день Лондонский мост, Успенский каким-то образом был рядом с ним. Для многих смерть Успенского означала конец — его работы, системы и их ученичества. Но для Коллина смерть Успенского стала «новым началом всего», как его последние месяцы были «самым счастливым и самым живым периодом» его жизни [25].

Странные события не прекратились. После того, как тело Успенского перевезли для погребения в церковь Лина, Коллин заперся в спальне учителя и шесть дней отказывался уходить, даже отталкивал лестницу, которую приставляли к окну. Наконец, когда из Мендхема приехала его жена, прозвенел колокольчик из комнаты Успенского, и Джанет пошла повидаться с мужем. Он сидел, скрестив ноги, на кровати Успенского, небритый, грязный и истощенный от голода. Его окружала «ангельская» аура, и он утверждал, что во время бдения установил телепатический контакт с Успенским, который, как он считал, наконец ушел от повторения. Начиналась новая фаза работы, и Коллин станет ее возглавлять. В ней будут школы, самовоспоминание и другие знакомые темы; но к ним добавлялось сильное религиозное чувство и вера в новую эпоху, которая должна была наступить для человечества.

Много лет спустя в Лиме, Перу, учредив несколько рабочих групп в Мексике и Южной Америке, обратившись в католицизм и связавшись с сомнительным духовным медиумом, Родни Коллин разбился насмерть, упав с башни собора при таинственных обстоятельствах. Его главная работа, «Теория небесного влияния», посвящена Успенскому: «Magistro meo Qui Sol Fuit Est Et Erit». «Моему учителю, который был, есть и будет Солнцем».

## Эпилог

---

Поминальную службу по Петру Демьяновичу Успенскому читали в русской церкви в Пимлико, Лондон. Завершающие строки службы кажутся особенно подходящими для него:

Во блаженном успении вечный покой подаждь Господи,  
успошему рабу твоему,  
и сотворим им вечную память.  
Вечная память!  
Вечная память!  
Вечная память!

Однажды, во время своего пребывания в Париже, мадам и Успенский сидели с учениками в кафе, и хотя ученики из всех сил пытались общаться, Успенский казался особенно замкнутым. Возможно, обращаясь и к мужу, и к ученикам, мадам заметила, что «с мистером Успенским очень трудно подружиться». Это мнение разделяли к концу его жизни некоторые из его старших учеников. Кеннет Уокер мысленно связывал Успенского со своими родителями: «Как я всегда уважал, но никогда не знал по-настоящему своего отца, так я всегда уважал, но никогда по-настоящему не знал Успенского... Как один человек с другим, мы с ним никогда не встречались» [1]. Это говорил человек, который пробыл учеником Успенского двадцать четыре года. Дж. Г. Беннет чувствовал то же самое. Услышав о смерти Успенского, Беннет «ощутил огромную любовь к нему, которой никогда не знал, пока он был жив». «Великий цикл» его собственной жизни, продолжавшийся двадцать семь лет, замкнулся, и Беннет ощутил «любовь и благодарность» к своему бывшему учителю. Но он «не чувствовал себя ближе к нему, чем раньше» [2]. Ч. С. Нотта новости тоже опечалили. Ему нравился Успенский, он считал его хорошим человеком. Но он не мог простить ему одну ошибку, тот «дефект в нем, [который] заставил его отринуть Гурджиева как учителя».

А что думал сам Гурджиев? Согласно одному из рассказов, после их разрыва Гурджиев «почти всегда говорил об Успенском в резких выражениях, как о человеке, который эксплуатировал его идеи; принес в жизнь

многих учеников скорбь... и даже стал причиной их смерти; и которому, если бы не покинул Гурджиева, чтобы действовать самостоятельно, не пришлось бы «умереть как собаке» [3]. «Умирали как собаки» те, кто не работал над собой, и эта перспектива была любимой угрозой Гурджиева, чтобы внушать ученикам страх перед Господом — или перед собой. Но разве Успенский «умер как собака»? Гурджиев не славился сентиментальностью, и в Четвертом пути есть, по крайней мере, по словам Беннета, любопытная традиция, так называемый «путь вины», часть которого предполагает, что о мертвых надо говорить недоброе. Когда Александр де Зальцман, один из ближайших учеников Гурджиева, умер от туберкулеза, Гурджиев отказался его навещать. Когда де Зальцман наконец собрался с силами, чтобы встретиться с Гурджиевым в кафе «Анри VI», учитель, по словам одного из свидетелей, был «не слишком добр» [4]. Де Зальцман умер несколько дней спустя. Однако услышав о смерти Оража, Гурджиев пролил слезы и прошептал: «Я любил Оража как брата». Очевидно, реакция учителя на кончину учеников была непредсказуема и, как многое в нем, открыта интерпретациям.

С другой стороны, возможно, кто-то из учеников Успенского услышал последние слова о своем учителе, которые до нас не дошли, потому что после его смерти многие перебрались к Гурджиеву.

«Вы овцы без пастуха. Приходите ко мне». Такую телеграмму Гурджиев отправил в Лин, когда услышал о смерти своего бывшего ученика. До смерти Успенского многие знали Гурджиева только понаслышке, причем даже его имя произносилось редко. Он мог быть мертвым, мог быть безумным, мог быть черным магом. Теперь, после потери учителя, у них появилась возможность узнать. Смерть Успенского, окружавшие ее странные обстоятельства и его последние шокирующие собрания повергли его лондонских учеников в хаос. Одни собрались вокруг Родни Коллина; другие последовали за Френсисом Роулзом. Третьи приняли совет мадам, которая сказала, что они могут сделать только одно: поехать к Гурджиеву. Он не был мертв и не был безумен, а все еще учил в Париже. Он был, по его же словам, пастухом и всегда открыт тому, чтобы приращивать свою паству.

Некоторые поехали туда, но не все. Морис Николл отказался от приглашения и продолжал вести свои группы до самой своей смерти в 1953 году. Родни Коллин последовал за своей звездой. Френсис Роулз продолжал учение Успенского «согласно букве системы», насколько мог; со временем он вступит в союз с Аланом Маклареном из Школы экономической науки и, в начале 60-х годов, с Махариши Махеш Йоги. Другие поехали, но ненадолго. Разочарованный в Мендхеме, де Ропп в 1948 году встретился с Ваймом Найландом, тогда представителем Гурджиева в США, и благодаря ему — с учителем. Для де Роппа Гурджиев был «самым поразительным человеком», которого он когда-либо встречал. Он практиковал движения

и привык к тому, что ему и его товарищам говорят, будто они двигаются «как черви в дерьме». Но у де Роппа, любившего природу и нравственную жизнь, вскоре начала вызывать отвращение сомнительность последних лет Гурджиева: переполненные дымные комнаты, многочисленные ученики, бесконечные обеды и, главное, знаменитые «тосты за идиотов». Он уже навиделся алкоголя в обществе Успенского. Гурджиев выглядел старым и печальным, и в любом случае, помня замечания Гурджиева про морских свинок, де Ропп задумался о своих экспериментах с этими животными и решил, что они глупые твари. Вскоре он ушел. Кеннет Уокер привел бригаду последователей Успенского в парижскую квартиру Гурджиева, где их с женой, непьющих, заставили поднимать тосты. Хотя он тоже признавал силу Гурджиева и написал несколько книг о работе, но казалось, что он потихоньку отходил от работы. В 1966 году он умер.

Единственный ученик Успенского, который остался с Гурджиевым, — Беннет. Следуя совету мадам, в 1948 году Беннет поехал в квартиру Гурджиева на улице Полковника Ренара и через двадцать пять лет попытался продолжить разговор точно с того места, на котором они остановились в Приере в 1923 году. После этого много лет имя Беннета было следующим после Гурджиева и Успенского в числе тесно связанных с работой. Однако он, как и Родни Коллин, обнаружил, что движется в других направлениях, обратившись сначала в субуд\*, потом к индуизму и, наконец, в католицизм. Как-то Идрис Шах, писатель-суфист, убедил его передать владение над Кумби-Спрингс, духовному сообществу, подобному Приеру и Лину. Шах убедил Беннета, что является представителем Учителей Мудрости (другое название Внутреннего круга), и что, пожертвовав Кумби-Спрингс, он поможет им в работе. После того, как Беннет дал согласие, Шах быстро продал имущество за крупную сумму.

Гурджиев пережил Успенского на два года и двадцать семь дней и умер 29 октября 1949 года, также при странных обстоятельствах. Коронер, который проводил вскрытие, якобы заметил, что Гурджиев должен был бы умереть много лет назад, потому что все его внутренние органы были практически уничтожены. Вопреки желанию мужа, мадам послала учителю рукопись «Фрагментов», спросив, следует ли ее опубликовать. По легенде, Гурджиев ответил: «Раньше я ненавидел Успенского, теперь я его люблю. Все очень точно, он говорит именно то, что сказал я». «В поисках чудесного», описание его жизни с Гурджиевым, которое Успенский отказывался публиковать, теперь является одной из самых широко известных книг о работе.

---

\* Субуд — неосуфийская синкретическая секта. Название секты является сокращением санскритских слов «сулиса» (праведная жизнь в соответствии с волей Бога), «будхи» (состояние просветления) и «дхарма» (всеобъемлющий моральный закон). Основана в 1933 году в Индонезии Субухом Самохадивидждождой.

\* \* \*

На протяжении всей этой книги я старался свести собственные замечания к минимуму, ограничиваясь предоставлением свидетельств и желая, чтобы история Гурджиева и Успенского говорила по возможности сама за себя. Однако «прожив» с Успенским месяцы сбора материалов и написания книги — конечно, опосредованно, но, тем не менее, интенсивно — я не могу не задаться вопросом, которым, наверное, задаются многие читатели: что пошло не так? Очевидно, что что-то было не так. Как автор одной из самых увлекательных и оптимистичных книг по философии и метафизике, «*Tertium Organum*», закончил свои дни в печали, депрессии, самосаботаже, полностью отвергая дело всей своей жизни? Лично мне очевидно, что последние собрания Успенского, на которых он отрицал даже существование той системы, которой учил больше двадцати пяти лет, положили конец его жизни в работе и не были, как считали некоторые из его последователей, началом ее нового этапа. В результате огромного волевого усилия и с мучительной честностью, Успенский публично объявил, что совершил ошибку. Система не работала — или, по крайней мере, не приводила к цели, которую он предполагал. Подозревал ли он это раньше? Более чем вероятно. То, что он считал некоторых из самых близких своих учеников «дураками», как и то, что он больше не считал себя исследователем «возможной эволюции» человека, а чувствовал, что просто выполняет механическую работу, позволяет предположить, что он испытывал сомнения за некоторое время до своего последнего освободительного признания. Он поставил все на методы и идеи, которые перенял у Гурджиева. И ошибся.

Но возможно, были и другие ошибки. Для меня не будет преувеличением предположить, что Успенский совершил ошибку, когда отказался от собственного творчества и идей ради того, чтобы стать толкователем учения Гурджиева. Это учение было новым, внушительным, интеллектуально впечатляющим, и если брать самого Гурджиева как пример предлагаемых возможностей, то очень привлекательным, особенно для такого предельно честного человека, как Успенский, которому хватило смелости признать, что его собственные усилия по обретению чуда неудачны. Тем не менее, как отмечает Колин Уилсон, Успенскому был свойствен пессимизм, который помешал ему увидеть, насколько успешны на самом деле его усилия. Хотя он считал, что они не приносят ему пользы, но во время экспериментов с веселящим газом Успенский действительно заглянул в более глубокую реальность, лежащую за пределами нашего мира пространства и времени. Как минимум «*Tertium Organum*» это подтверждает. На мой вкус ничто из написанного Гурджиевым и никакие другие книги Четвертого пути не сравнятся с первой работой Успенского по энтузиазму,

оригинальности, глубине и способности излагать сложные идеи с кажущейся непринужденной ясностью. Однако нехватка уверенности и, возможно, какое-то ощущение собственной слабости заставили его отрицать свою раннюю работу и вместо этого посвятить себя поиску людей, которые уже добились успеха в обретении чудесного и, возможно, могли показать ему, как это сделать. Его романтизм заставил его считать, что *где-то* есть другая жизнь, мир без *быта*, без скучной необходимости деревенного мира, в который он возвращался после экскурсий под веселящим газом, мир, посвященный исключительно чудесному. Это сделало его готовым поверить Гурджиеву.

Я считаю, что в этом случае тщательность и преданность делу Успенского сработали против него. Однажды приняв систему, он придерживался ее с вызывающим уважением, но оказавшимся в итоге контрпродуктивным упорством. И в этом, пожалуй, стоит обвинить Гурджиева. Настаивание Гурджиева на нашей механичности, сне, полном отсутствии воли, свободы или способности *делать* заставило Успенского поверить, что надежды нет. Его пессимистическое отношение к своим усилиям в сочетании с пониманием человеческой глупости предполагали, что, как неприятно это признавать, печальная оценка Гурджиевым человечества верна. Петр мог верить в трансформирующую силу искусства, поэзии, природы и любви, но Демьян слишком хорошо осознавал неизменную склонность человечества к самообману.

Казалось, что Демьян выиграл, но очевидно, что ему помогли усилия учителя, Гурджиева. Если бы Успенский меньше сомневался в себе, то отмахнулся бы от бесконечных укоров, выговоров, критики и брани учителя и скорее пошел бы собственным путем, принимая то, чему научился, и дополняя собственными открытиями. Но, как мы видели с самого начала, Успенский был превосходным материалом для борьбы между «да» и «нет». Его интеллекта и целеустремленности было достаточно, чтобы он признавал свою исключительность. Однако его честность мешала ему лгать себе о своих успехах в поисках чудесного. Встретить после этого человека, который *знал*, чье присутствие говорило о мастерстве и силе, — на такого романтического интеллектуала, осознающего собственные недостатки, этот человек должен был произвести экстраординарное впечатление. То, что Успенский в ранней юности потерял отца и деда, тоже нужно учитывать. Одна его часть, крайне независимый философ, хотела достичь высот высшего сознания самостоятельно; другая — неуверенная в себе, сомневающаяся — хотела, несомненно, получить одобрение мага. «Да» и «нет» тянули его в разные стороны с самого начала, и только в последние дни его жизни это перетягивание закончилось, и Петр проявился снова — к сожалению, ему оставалось мало времени, чтобы сделать что-то большее, чем сожалеть о своей ошибке.

Мне очевидно, что Гурджиев зря третировал Успенского, и это указывает на то, что у безупречного учителя были свои заблуждения. Либо Гурджиев не видел собственную силу и способности Успенского, либо его желание подчинять было слишком велико. Успенский действительно мог уйти, когда хотел. Какая-то потребность или слабость помешала ему разорвать связи раньше или вообще когда-нибудь: хотя физически он отделился от Гурджиева, но очевидно, что Успенский никогда не был от него далек в разуме или сердце. Полезным ли был тот урок, что слабости Успенского постоянно и безжалостно демонстрировались ему самому и окружающим? Очевидно, что Успенский любил Гурджиева и хотел получить его одобрение. Однако Гурджиев научился отделять свою внутреннюю жизнь от внешнего мира, и, несомненно, видел в привязанности Успенского только проявление его механичности. И если его целью было заставить Успенского стоять на своих ногах, то почему Гурджиев подрывал все усилия Успенского это сделать, почему делал все возможное, чтобы его унижить? Возможно, у Гурджиева тоже была слабость, потребность подчинять и властвовать над окружающими его людьми. Как бывает в некоторых трагично дисфункциональных отношениях, во многом эти двое были созданы друг для друга.

Поэтому нет тайны в том, что случилось, что превратило поэтичного автора «Ивана Осокина» и «*Tertium Organum*» в лишенного юмора, мрачного и неприступного учителя — занятие, для которого он на самом деле не подходил. С ним случился Гурджиев. В присутствии великого учителя поэтичный и любящий жизнь Петр чувствовал себя незрелым и инфантильным, всю его философию, любовь к красоте и добру выставляли подростковым романтизмом. Поэтому он менял себя, «работал над собой», пока слабость не исчезла, и он не стал жестким. Поэтому позднее он отметал замечания учеников о высшем сознании, мистицизме и чуде. Несомненно, он отметал не только их мысли, но и свои: никто не отрицает так решительно свое прежнее «Я», как обращенный. Но Петр никогда не исчезал полностью. Он только прятался и со временем постепенно вернулся — к сожалению, слишком поздно. Со стороны мадам Успенской нехорошо было смеяться над попытками мужа связаться с Внутренним кругом, но в каком-то смысле она была права. Успенскому не нужно было искать источник идей Гурджиева, которым в любом случае, вероятнее всего, был его плодovitый ум. Ему не нужно было искать эзотерическую школу. Возможно, ему даже не нужно было искать чудесное. Только в конце своей жизни он понял, что настоящей целью его пути был он сам. Хочется надеяться, что в следующий раз это откровение, возможно, самое ценное из многих переданных им ученикам, придет к нему раньше.



## Послесловие

---

С тех пор как в 2004 году эта книга вышла впервые, реакция на нее представляет собой два радикально противоположных типа. Некоторые читатели посчитали ее дешевыми нападками на Гурджиева, собранием сплетен, которые не несут ничего нового. Другие оценили ее как свежую, освобождающую точку зрения на его работу и отношения с самым знаменитым учеником. Но среди многочисленных писем и отзывов, которые вызвала эта книга, ни один не значил для меня так много, как письмо от внучки Успенского, Татьяны Нагро. Поблагодарив меня за присланный экземпляр и прокомментировав прекрасное профессиональное оформление, мисс Нагро добавила комментарий, который заслуживает того, чтобы привести его полностью. Она написала: «В детстве я любила дедушку и считаю, что он нуждался в отделении от Гурджиева и хотел этого. Без работы деда немногие люди имели бы сейчас сколько-нибудь подробное представление о системе». Я не мог просить о лучшем оправдании своей работы.

Многие читатели книги интересовались, какое отношение я сам имею к системе Гурджиева. Сначала я собирался добавить главу о своем времени в работе, но позднее посчитал, что она не будет соответствовать остальной книге. Я добавляю ее сейчас, в надежде, что этот краткий рассказ ответит на вопросы любопытствующих.

Впервые я встретился с именами Г. И. Гурджиева и П. Д. Успенского в 1975 году, в «Оккультном» Колина Уилсона. В то время мне было девятнадцать лет, и я жил в Нью-Йорке, играл на бас-гитаре в тогда неизвестной поп-группе «Blondie». Я только-только начал интересоваться книгами о магии, оккультизме и эзотерике и должен признать, что во время первого знакомства с Гурджиевым меня больше интересовали рассказы о его поразительных способностях, чем его суровая доктрина. Он завораживал так же, как многие другие персонажи книги Уилсона, — Алистер Кроули, Распутин и мадам Блаватская, — но его учение меня не привлекало. Два года и много книг спустя мое мнение изменилось.

Я прочитал раннюю работу Успенского, «Tertium Organum», и «Новую модель Вселенной», и обе книги произвели на меня впечатление. Затем я прочитал описание его жизни с Гурджиевым, «В поисках чудесного», которому свойственны серьезность и глубина, отличавшие его от большей

части оккультной литературы, которую я тогда глотал. Доктрина Гурджиева — что люди обладают огромными силами сознания, ограниченными механической привычкой сна, — показалась мне самоочевидной. Я считал, что мы используем только малую долю того, на что способно наше сознание, и цель всех оккультных или духовных практик — подключиться к этому сокровенному резервуару силы. Я совершал некоторые попытки сделать это самостоятельно, с интересными результатами. Но, охватив много любопытных методов, я все равно оказался вынужден признать в итоге, что на самом деле ни к чему не прихожу.

Именно тогда я заинтересовался Гурджиевым. Я все еще испытывал некоторое сопротивление. Я не склонен присоединяться к группам, а «Четвертый путь» Гурджиева основан на идее, что человек ничего не может сделать самостоятельно: по его словам, быть в группе совершенно необходимо. Это заставило меня колебаться. Отталкивали и другие элементы. Например, я люблю книги и музыку, и мне трудно было принять мнение Гурджиева, что мои любимые поэты и композиторы спят так же, как все остальные. Тем не менее, в его учении было нечто, что меня привлекало. Оно, несомненно, показалось мне самым требовательным и строгим из всех, что я видел. В изложении Успенского оно было ясным и почти по-научному точным, хотя я быстро обнаружил, что с книгами самого Гурджиева дело обстоит иначе. Главное, что система основывалась на опыте и знаниях, а значит, была честной. В реальности, где выдавание желаемого за действительное и самообман — обычное дело, это кажется важным.

К началу 80-х годов снова возрос интерес к Гурджиеву, который умер в Париже в 1949 году. Слово за одну ночь появились новые мемуары и воспоминания его учеников. Подробное исследование Джеймса Уэбба «Гармонический круг» вышло тогда же. Имя Гурджиева витало в воздухе. Однако, в отличие от нынешних дней, трудно было найти школу, в которой практиковали бы его учение. Сегодня, выбирая в книжном магазине что-то о Четвертом пути, вы практически наверняка найдете внутри закладку с рекламой центра Гурджиева и Успенского. Есть десятки сайтов, посвященных «работе», как называют «свои» систему Гурджиева. Многие из них — поддельные и не имеют отношения к настоящим группам Гурджиева. Тем не менее, они демонстрируют, что Гурджиев и его учение сейчас намного популярнее, чем когда я начинал с ними работать.

Я впервые встретился с людьми, которые действительно практиковали систему, на публичной лекции в отеле «Барбизон» на шестьдесят третьей улице. Меня удивило количество присутствующих; оказалось, что я не единственный человек в Нью-Йорке, который хотел пробудиться. Один из ораторов подчеркивал разницу между «Я» и «оно»; он несколько раз повторил в ходе выступления фразу: «Любит то, что не любит».

Я воспринял это как идею, что «оно» — это наше механическое, управляемое привычками «Я», которое мы ошибочно считаем бодрствующим, а «Я» — это истинное «Я», погруженное под слоями сна и автоматизма. В настоящем властвует «оно», и краткий период самонаблюдения показывает, как мало у нас на самом деле свободной воли. Цель работы — изучать «оно», наблюдать его привычки и характер, в то же время постепенно делая «Я» сильнее. После лекции я вернулся в свою квартиру в восторге от услышанного, думая, звонить ли по номеру телефона на выданном флаере.

Ирония в том, что путь к работе оказался намного ближе, чем я ожидал. Друг, который интересовался духовными идеями, знал, что я много читаю о Гурджиеве. Мы говорили о самых разных вещах — о Юнге, каббале, индуизме, буддизме — и, когда я упомянул при нем о лекции, он проявил большой интерес. Через несколько дней он спросил, действительно ли мне интересно заниматься работой. Я подтвердил. «В таком случае, — сказал он, — позвони по этому телефону», и вручил мне листок с номером, но не тем, что на флаере. «Это мой учитель. Я говорил с ним о тебе, — продолжил он. — Он ждет твоего звонка. Я работаю с ним почти год, но хотел убедиться, насколько ты серьезен, прежде чем тебе рассказывать. Если ты серьезен, то я рекомендую позвонить поскорее».

Я позвонил. Голос мужчины на другом конце провода был размеренным и глубоким, он сразу перешел к делу. Не хочу ли я прийти поговорить на следующей неделе? Затем он дал мне адрес.

Местом встречи стала небольшая квартира в Верхнем Вест-Сайде. Дверь открыла женщина, и меня провели в маленькую комнату и предложили присесть. Квартира была убрана в восточном стиле, с персидскими коврами на полу и стенах, восточными украшениями и статуэтками. Также было много картин (позднее я узнал, что это работы хозяина квартиры). Через несколько минут вошел человек, с которым я говорил, и представился. Его звали Пол, и позднее я узнал, что он один из крупнейших учителей «движений» Гурджиева, крайне сложных священных танцев, которым, по утверждению Гурджиева, он научился в таинственном монастыре Сармунского братства. Правда это или нет — вопрос открытый, но через несколько лет, когда я сам начал практиковать движения, вопрос, откуда они взялись, казался неважным. Ясно было, что они могут приводить к необычным состояниям сознания.

Пол был самым уравновешенным человеком, которого я когда-либо встречал. Меня заворожили его движения: он выглядел расслабленным, но внимательным и двигался очень экономно. Он производил впечатление. Представившись, он посидел несколько мгновений без нервозности, которую испытывает большинство людей в такой ситуации и обычно пытается прогнать разговорами. Затем он спросил меня о себе — чем я занимаюсь и почему заинтересовался работой.

Хотя мне было только двадцать четыре, у меня уже имелись некоторые достижения. К тому времени я ушел из Blondie и основал собственную группу. Одна из моих песен попала в топ-десять. Я появлялся на телевидении и радио, у меня брали интервью для журналов и газет. Я играл перед большой аудиторией и хорошо зарабатывал.

Все это для Пола значило мало. Он все принял к сведению, кивнул, а потом спросил, почему я хочу присоединиться к его группе. Этот вопрос оказался неожиданно сложным. В конце концов я замялся и сказал, что хочу проснуться. «Да, — ответил Пол, — но на это уйдет время». Он сказал мне, что работа требует серьезности и преданности делу, и спросил, готов ли я на них. Я сказал, что готов. «Хорошо, — ответил он. — У меня есть группа начинающих, которая встречается раз в неделю. Ты можешь туда прийти, и посмотрим». Он записал мне адрес, а потом добавил: «Пожалуйста, приходи вовремя».

Группа Пола встречалась в подвальной квартире в переулке между Лексингтон-авеню и Парк-авеню. Первая встреча задала ритм остальным. Группа сидела на жестких деревянных стульях в пустой комнате, где из мебели был еще деревянный стол с вазой цветов на нем, графин с водой и несколько стаканов. Пол сидел перед нами; иногда рядом с ним ставился еще один стул, и к нему присоединялся другой учитель. Лекций не было. Мы сидели в неудобном молчании, пока кто-нибудь не набирался смелости заговорить. К общим вопросам относились неприязненно; замечания должны были касаться практических вопросов, относящихся к упражнениям, которые давал Пол.

Группе задали упражнение; после первой встречи Пол научил ему и меня. Оно называлось «ощущение тела». По инструкции, нужно было сесть на стул, слегка расставив ноги и положив руки на колени. Затем надо ощутить свою правую руку, начиная с плеча и до самых пальцев. Продолжить с правой ногой, затем с левой ногой и левой рукой, а потом начать снова, на этот раз с правой ноги, потом левой, и так далее. Завершив цикл и вернувшись к началу, нужно было ощутить макушку, потом лицо и шею. И наконец, нужно ощутить все тело. Сначала было трудно понять, что имеется в виду под «ощущением», но спустя некоторое время я почувствовал странное покалывание, словно на меня лилась мелкая морось. Через несколько недель мне велели заканчивать упражнение, вставая и делая несколько шагов, но не теряя ощущения.

Хотя Пол старался, чтобы мы сосредотачивались на упражнениях, все неизменно поднимали в ходе дискуссий личные вопросы. Одна из причин, по которой Гурджиев настаивал на необходимости групп, в том, что он знал, что разные личности будут сталкиваться друг с другом, создавая трение, которое он считал необходимым для работы. Я часто проявлял нетерпение, когда люди поднимали тему какого-то личного кризиса

и подвергали группу долгому монологу о его подробностях. Теперь я понимаю, что именно поэтому, вероятно, Пол и позволял им это делать: это давало нам возможность увидеть собственные недостатки. На одной из таких встреч мое удовольствие было, наверное, особенно очевидно, потому что Пол отозвал меня в сторону и в лучшей гурджиевской манере отчитал, сообщив, что я никогда ничего не добьюсь, если думаю, что знаю все лучше остальных. К сожалению, я извлек из этого совета меньше пользы, чем мог бы.

Я практиковал «самовоспоминание» по утрам и в течение дня, назначая себе «встречи», на которых, что бы я ни делал, я старался сохранять полное самосознание. Звучит легко, но на самом деле это трудно. Для того чтобы в разгаре дел внезапно выдернуть себя из потока событий и вспомнить, что ты «здесь», нужны значительные усилия. Основная идея Гурджиева заключалась в том, что мы не «помним себя»; вместо этого мы привычно погружаемся в своего рода состояние полусна, которое принимаем за сознание. Это выглядело очень похоже на правду, мне было трудно даже помнить встречи с собой, не то что ощутить полное сознание себя, особенно если рядом кто-то был.

Люди, занимающиеся работой, отмечают день рождения Гурджиева 13 января. В первую такую дату меня пригласили на встречу в доме за городом. Я приехал туда вместе с другом, который познакомил меня с Полом, и несколькими другими людьми. Меня поразила дом — скорее особняк — и количество собравшихся людей. Сборище было странное: несмотря на многочисленность, праздничной атмосферы не было. Но не была она и мрачной — хотя, несомненно, была серьезной.

После того, как кто-то забрал наши пальто, нас пригласили в большую комнату и предложили сесть. Там меня познакомили с гурджиевским ритуалом тостов под крепкую водку. Каждому из нас выдали стакан, который мы должны были опустошить под уместный тост. Это делалось несколько раз. Я ничего не ел, и эффект проявился немедленно. Он усилил странность того, что произошло после этого. Кто-то объявил, что в честь нынешней даты нам покажут специальное исполнение вавилонского эпоса «Гильгамеш». Это было странно само по себе, но я не был готов к тому, что последовало. В центре комнаты возвышалась небольшая сцена, и на ней появился актер, в котором я узнал Билла Мюррея из телевизионной передачи «Saturday Night Live». Я не знал, что он тоже интересуется идеями Гурджиева или участвует в той же организации, что и я. Представление мне понравилось, но после тостов было трудно удержать серьезное лицо каждый раз, когда я слышал, как он произносит «Энкиду».

В 1982 году я уехал из Нью-Йорка и перебрался в Лос-Анджелес, где стал участвовать в работе больше и интенсивнее. Я присоединился к группе, а также стал посещать «встречи идей», где читали и обсуждали фраг-

менты из книги Успенского «В поисках чудесного» или книгу Гурджиева «Рассказы Вельзевула внуку». Мы с друзьями читали всю литературу по работе, которую могли найти, — потрясающие книги Мориса Николла, Дж. Г. Беннета, Родни Коллина и других писателей Четвертого пути.

Я также начал посещать работу по выходным. В большом доме к северу от Голливудских холмов собирались люди из разных групп для интенсивных «рабочих дней». Они начинались с утреннего разговора, за которым следовало новое упражнение, которое мы должны были выполнять в течение дня. Как делал Гурджиев в Приере в Фонтенбло, лидер группы задавал ученикам физические задачи: садоводство, уборка, приготовление еды, плотничество. Сама задача и качество ее выполнения не были целью упражнения: важнее было помнить себя, сосредоточиться на своей работе и заниматься тем, что Гурджиев называл «осознанным трудом».

В знаменитой истории о Приере Гурджиева редактору А. Р. Оражу, который приехал туда в 1923 году, ожидая услышать от учителя слова мудрости, вместо этого вручили лопату и велели копать. Ораж копал, пока у него не заболела спина и не выступили слезы; после этого ему велели снова засыпать яму. Он не понимал, в какое безумие ввязался, пока однажды не обнаружил, что ему нравится копать, и он не чувствует боли: он прорвался через искусственные ограничения и подключился к скрытому резервуару энергии.

Я столкнулся с более легким вариантом обучения Оража, когда после того, как я целый день красил длинный деревянный забор, мне сказали, что цвет неправильный, и мне придется перекрашивать его заново. Я возмущался, пока не понял, что покраска забора — не главное; важнее были прозрения, которые приходили ко мне, пока я этим занимался. В другой раз, сгребая листья, я испытал то, что считаю частным мгновением бодрствования. Наклонившись, чтобы собрать ворох мокрых листьев в мусорный пакет, я обнаружил, что смотрю на них в изумлении, как будто никогда раньше не видел ни единого листка. Я вспомнил, каким свежим и чистым казался мне мир, когда я был ребенком, и несколько мгновений наслаждался той же ясностью. Именно тогда концепция сна и пробуждения стала для меня не идеей, а реальностью.

Примерно тогда же я начал практиковать движения. Сначала они казались невозможными: старая игра «потри себе живот и погладь себя по голове» дает некоторое представление о том, что в них требовалось, но это в сто раз проще. С десятков учеников выстраивались в ряды и под аккомпанемент пианино принимались извиваться, как марионетки с обреченными нитками. Часто я выходил из ряда, полный отвращения к себе. Но однажды вечером я продолжал упорствовать, и когда проигнорировал свое отвращение, то обнаружил, что выполняю движения легко и уверенно. Я ощутил внезапный прилив силы. В конце я был настолько полон энергии,

что хотел сесть в машину и ехать до Сан-Франциско, не останавливаясь — все восемь часов — просто ради удовольствия.

Летом 1983 года мы с другом решили самостоятельно отправиться на «поиски чудесного», совершив путешествие в Европу. Помимо Стоунхенджа, Эйвбери, Шартрезского собора и других священных мест, мы посетили Приер в Фонтенбло, шато, которое к тому времени стояло заброшенным. Также в Париже мы нашли квартиру на улице полковника Ренара, рядом с Этуалем, где во время немецкой оккупации Гурджиев собирал тайные группы. Там же он провел свои последние дни. Год спустя с тем же другом я посетил Франклин-Фармс в Нью-Джерси, место собственного Приера Успенского.

Именно после возвращения из Европы у меня появились сомнения по поводу своего места в работе. У меня всегда было эклектичное мышление, и хотя я вбирал все возможное из идей Гурджиева, но осваивал и много других материалов. Сравнить не рекомендовалось, но мне было трудно не ставить работу Гурджиева в контекст произведений других мыслителей. Я не видел смысла в отрицании того, что у многих его идей нашлись параллели в работах других философов и психологов, и что хотя воплощение этих идей и практика впечатляли и выделялись в их ряду, но базовые идеи оказались не так уникальны, как считали наиболее убежденные ученики. Многие люди в работе считали Гурджиева чем-то вроде сверхчеловека, но хотя он, несомненно, был одним из самых замечательных людей, живших на земле, непогрешимым он не являлся. Более того, я понял, как опасно считать *любого* учителя непогрешимым — Гурджиева или кого-либо еще.

Были и другие причины, которые ослабили мой энтузиазм. Во-первых, я не мог понять, почему Гурджиев так сомнительно обращался с Успенским, своим лучшим учеником. Тайна подобного поведения преследовала меня даже после того, как я отошел от работы. Двадцать лет спустя она заставила меня написать эту книгу. Трудно было не восхищаться Гурджиевым, но я начал сомневаться в его мотивах. Кроме того, я испытывал двойственное отношение к «Рассказам Вельзевула», библии работы. Хотя я ее осилил и нашел много ценного, но также обнаружил, что ее практически невозможно читать, и не мог понять, зачем он нарочно делал свои идеи трудными для понимания. Другие книги, которые я читал, тоже вызвали вопросы. Хотя сначала я кривился от любой критики работы, но теперь видел, почему многих людей, которых я считал умными и проницательными, она отталкивает. Более того, хотя я получил некоторые результаты, но чувствовал, что после четырех лет остаюсь примерно там же, откуда начинал. Так происходило и с другими моими знакомыми, хотя я заметил, что для многих работа стала скорее стилем жизни, чем средством достижения цели, которым поначалу была для меня. И наконец, самому

учению, несмотря на строгость и дисциплину, странным образом не хватало *положительного* содержания. Мотивом «работы» была отрицательная мотивация — избавиться от сна. В работах других авторов — например, Колина Уилсона — я нашел более оптимистичные цели, но когда поднял этот вопрос во время собрания, мне сказали, что и отсутствие положительных целей, и те цели, которые предложил Уилсон, — это всего лишь идеи, еще одна форма сна.

Однако эти идеи давали мне намного больше мотивации, чем ставший рутинным репертуар работы. Они становились пряником, дополнявшим кнут Гурджиева, и я не собирался от них отказываться. Некоторое время я придерживался этого и занимался глубокими духовными исканиями, но в итоге решил, что нечестно продолжать, когда у меня столько сомнений. После нескольких недель нерешительности я объявил учителю, что ухожу. Сначала я чувствовал себя немного потерянным, но вскоре появилось ощущение свежести и свободы, и я по-прежнему считаю, что это было правильное решение. Я многому научился в ходе работы и очень уважаю ее практиков. Но в конце концов она мне не подошла. Не подходила она и Успенскому, по крайней мере в той форме, в которой ее подавал его учитель; и в этой книге, «В поисках Успенского. Гений в тени Гурджиева», я попытался разобраться, почему.

*Примечание редактора: описание участия Гэри Лахмана в эзотерической системе Гурджиева впервые опубликовано в журнале Quest Magazine, выпуск ноябрь/декабрь 2004 года, под названием «За работой».*



# Примечания

---

## Введение. Искатель и хитрец

- [1] В этой книге слово «работа» используется как в конкретном значении — как учение Гурджиева и Успенского — так и в общем смысле «дела, задачи». Здесь Работа Гурджиева пишется с прописной буквы, чтобы подчеркнуть различие, но в оставшейся части книги оба варианта пишутся со строчной буквы, в надежде, что различие будет очевидно из контекста.
- [2] Денис Саурат, цит. по: Nott C.S. *Journey Through This World*. L.: Routledge & Kegan Paul, 1969. С. 47.
- [3] Фрэнк Пиндер, цит. там же. С. 91.
- [4] Г. И. Гурджиев, цит. там же. С. 107.

## Глава 1. Детство мага

- [1] Ouspensky P. D. *A Further Record*. London: Arkana, 1986. С. 1.
- [2] Landau R. *God Is My Adventure*. L.: Faber and Faber, 1939. С. 175.
- [3] Описание моего собственного опыта пророческих снов см. в моей статье *Dreaming Ahead* в выпуске *The Quest*, зима 1997.
- [4] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. L.: Routledge & Kegan Paul, 1983. С. 3.
- [5] Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. N. Y.: Alfred Knopf, 1969. С. 3.
- [6] Там же.
- [7] Ouspensky P. D. *A Further Record*. С. 300.
- [8] Mouravieff B. *Ouspensky, Gurdjieff and the Work: Fragments of the Unknown Teaching*. Chicago: Prazis Research Institute, 1997. С. 11.
- [9] Wilson C. *The Strange Life of P. D. Ouspensky*. L.: Aquarian Press, 1993. С. 15.
- [10] Позднее, в 1913 году, Успенский будет читать лекцию по роману Михаила Арцыбашева «У последней черты», где рассматривается вопрос самоубийства. Печальная судьба Ивана Осокина позволяет предположить, что Успенский питал к этой теме не только теоретический интерес.
- [11] Ouspensky P. D. *Strange Life of Ivan Osokin*. L.: Arkana, 1987. С. 10–11.
- [12] Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. С. 433.
- [13] Ouspensky P. D. *Strange Life of Ivan Osokin*. С. 13.
- [14] Bland R. *Extracts from Nine Letters at the Beginning of P. D. Ouspensky's Work in 1921*. Cape Town: Stourton Press, 1952; Селтон М. Случай П. Д. Успенского // *Quest* № 34, Бомбей, Индия, 1962.
- [15] Ouspensky P. D. *Strange Life of Ivan Osokin*. С. 123–124.
- [16] Там же. С. 125. Примечание: курсив в цитатах по оригиналу, если не указано иного.

- [17] Там же.
- [18] Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. С. 474–475.
- [19] Ouspensky P. D. *Strange Life of Ivan Osokin*. С. 82.
- [20] Там же.
- [21] Там же. С. 84.
- [22] Там же. С. 87.
- [23] Там же. С. 88.
- [24] Там же. С. 100–101.
- [25] Там же. С. 106–112.
- [26] Там же. С. 99.

## Глава 2. Мечты о тайном знании

- [1] Беххофер-Робертс К., цит. по: Ouspensky P. D. *Letters from Russia 1919*. L.: Arkana, 1991. С. 56–58, взято из: Bechhofer-Roberts C. *In Denikin's Russia*. L.: Collins, 1921.
- [2] Как и все остальные материалы в «Новой модели Вселенной», глава о сновидениях была начата намного раньше, в данном случае — в 1905 году, а завершена много позднее. Поскольку у меня нет доступа к исходной рукописи, и, что еще важнее, я не знаю русского, то не представляю, насколько Успенский изменил свои исходные записи с точки зрения работы с Гурджиевым. Внимательное прочтение книги выдает несколько очевидных идей работы. Возможно, что в моем случае то, что я считаю «предвидением» каких-то идей Гурджиева со стороны Успенского, на самом деле является материалами, добавленным в текст позднее.
- [3] Для краткого обзора истории гипноггии см. мою статью *Waking Dreams* в *Fortean Times*, № 163, октябрь 2002; также глава «Гипнагогия» в моей книге *A Secret History of Consciousness*. Great Barrington, Mass.: Lindisfarne Press, 2003.
- [4] Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. С. 243.
- [5] Описание экспериментов Домалья (Daumal) с сознательным сновидением и другими измененными состояниями сознания см. его эссе «*A Fundamental Experience*» в *The Power of Words* (San Francisco: City Lights, 1993). Описание отношений Домалья с Гурджиевым см. мою статью «*Climbing Mount Analogue*» в журнале «*The Quest*», т. 89, № 5, сентябрь/октябрь 2001. Два хороших простых описания сознательного сновидения и состояния сновидения в целом — Stephen LaBerge «*Lucid Dreaming*» (N. Y.: Ballantine Books, 1985) и Patricia Garfield «*Creative Dreaming*» (N. Y.: Ballantine Books, 1974). Короткое, но крайне информативное академическое исследование — Celia Green, Charles McCreery «*Lucid Dreaming: The Paradox of Consciousness during Sleep*» (L.: Routledge). Раннее эссе Фредерика Ван Идена (Fredrick Van Eeden) «*A Study of Dreams*» можно найти в *Altered States of Consciousness*, ed. Charles Tart (N. Y.: Anchor Books, 1969).
- [6] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. С. 245.
- [7] Там же. С. 252.
- [8] Там же. С. 6.
- [9] Там же. С. 252. Интересно, что Успенский говорит о «золотых точках, искрах и крохотных звездах», которые появились у него перед глазами. Это

так называемые «энтропические огни», или *eigenlicht*, они предшествуют гипнотическому состоянию. В малоизвестной работе «Эссе о происхождении мысли» (1973) датский философ Юрий Москвитин описывает свое изучение корней человеческого восприятия, которое рассматривает как тесно связанное с этой поразительной формой оптического фейерверка. Краткое изложение идей Москвитина см. в главе «Мыслить о мышлении: Юрий Москвитин и антропосфера» в моей книге «Тайная история сознания».

- [10] Успенский упустил важный аспект гипногического состояния и сновидений: то, что они богаты собственной символикой. Примерно в то же время, когда Успенский занимался своими наблюдениями, другой исследователь снов, психолог Герберт Сильберер, наткнулся на любопытное открытие. Сильберер обнаружил, что эти гипногические видения соответствуют его мыслям, возникавшим прямо перед погружением в сон, а также его эмоциональному состоянию, или, как также наблюдал Успенский, его физическому состоянию. Успенский сознает, как сновидения и гипногические феномены «символизируют» его физическое состояние — запутавшиеся в простынях ноги — но, очевидно, упускает две другие категории Сильберера. Другой исследователь снов, который понимал это свойство символичности, — шведский религиозный философ Эммануил Сведенборг. Краткое описание работы Сильберера см. в моей статье для «Fortean Times» «*Waking Dreams*» (см. примечание 3 к этой главе), где также затрагиваются идеи Сведенборга. Самое тщательное исследование сновидческого состояния на текущий момент — Andreas Mavromatis «*Hypnagogia: The Unique State of Consciousness between Wakefulness and Sleep*». (L.: Routledge, 1987).
- [11] Ouspensky P. D. *Talks with the Devil*. Wellingborough, England: Turnstone Press, 1972. С. 93.
- [12] Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. С. 248–249.
- [13] Там же. С. 263–264. Интересно, что хотя Успенский не дожил до этого, но его догадка в последние годы получила надежную научную поддержку. Выяснив, что мозговые «колебания в сорок герц», соответствующие бодрствованию, также возникают во время быстрой фазы сна — обычно связываемой с периодом сновидений, — нейрологи Денис Пейр и Рудольфо Ллинас пришли к выводу, что единственное различие между состоянием сновидения и бодрствования в том, что в состоянии бодрствования «замкнутая система, которая порождает состояние колебаний», управляется стимулами из внешнего мира. Внешний мир, который мы воспринимаем своими чувствами при пробуждении, может на самом деле быть своего рода сном наяву, или по крайней мере продолжительным состоянием сновидения, к которому добавляется эффект бодрствования. Именно об этом и говорит Успенский.
- [14] Там же. С. 255.
- [15] Там же.
- [16] Там же. С. 261.
- [17] Международные конференции в Гааге (они же просто Гаагские конференции) проводились в 1899 и 1907 годах и стали предвестниками появления Лиги Наций и ООН. Они продолжались несколько месяцев и были направлены в основном на установление правил ведения боевых действий и ограничение развития оружия.

- [18] Washington P. *Madame Blavatsky's Baboon*. L.: Seeker & Warburg, 1993. С. 160.
- [19] Подробное описание сатанинского мира русского полусвета см. в эссе Кристи А. Гроберг (Kristi A. Groberg) «*The Shade of Lucifer's Dark Wing: Satanism in Silver Age Russia*» // *The Occult in Russian and Soviet Culture*, ed. Bernice Glatzer Rosenthal (Ithaca and London: Cornell University Press, 1997). С. 99–133.
- [20] Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. С. 114.
- [21] Там же. С. 6.
- [22] Дж. Г. Беннет, введение к «Разговорам с дьяволом». С. 12. Даже здесь оказывается принципиально важной связь Успенского с теософией. Два рассказа, которые составляют «Разговоры с дьяволом», были написаны во время визита Успенского в Индию и на Цейлон в 1914 году. Изначально опубликованные в петербургской газете, они были собраны в одну книгу в 1916 году. В 20-х годах Успенский, живя в Лондоне, начал собирать материалы, которые со временем опубликует в «Новой модели Вселенной». Сначала он собирался включить в нее один из рассказов, «Добрый черт», но передумал. Однако идея перевести историю оставалась. Дж. Г. Беннет замечает, что они с Успенским обсуждали публикацию нового издания в 30-х. Все экземпляры издания 1916 года, которые хранились у Успенского, были потеряны вместе с остальной его библиотекой в ходе большевицкой революции, но Успенский предположил, что Беннет может найти копию с помощью Теософического общества. По словам Беннета, Мод Хоффман, подруга Анни Безант и Ч. В. Лидбитера, нашла экземпляр в читальном зале Британской библиотеки. Именно по нему делался перевод на английский.
- [23] Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. С. 338.
- [24] Гурджиев тоже выражал убеждение, что Сфинкс намного старше, чем признает официальная египтология, о чем говорят его упоминания «Египта до песка» во «Встречах с замечательным человеком».
- [25] У тренировки памяти Хинтона долгая оккультная предыстория, восходящая к легендарному «искусству памяти», которое практиковали древние, а затем возродили маги эпохи Ренессанса, такие как Джордано Бруно. См. Frances Yates «*The Art of Memory*» (L.: Routledge & Kegan Paul, 1966). Запоминание символов «татва» и «богоформ» было стандартной практикой у членов Герметического Ордена Золотой Зари.

### Глава 3. Мыслить другими категориями

- [1] Melechi A. *Mindscales*. West Yorkshire, England: Mono Books, 1998. С. 21–22.
- [2] Там же. С. 20.
- [3] James W. *Varieties of Religious Experience*. N. Y.: Collier, 1977. С. 305.
- [4] Ouspensky P. D. *Tertium Organum*. N. Y.: Alfred Knopf, 1981. С. 258.
- [5] Работая журналистом во времена экспериментов и радикального поведения, Успенский наверняка знал — или, как минимум, слышал — о людях, которые использовали наркотики для иных целей, кроме метафизических. В «Странной жизни Ивана Осокина», например, он описывает, как один персонаж готовит себе бокал абсента. Кокаин, морфий и дру-

гие вещества были популярны в «демонической» среде тех дней. Валерий Брюсов, вождь русского оккультного декаданса, несколько раз попадал в больницу из-за зависимости от морфия. Насколько нам известно, любимым наркотиком Успенского был алкоголь (водка, желательно с соленым огурчиком), и он не развил иных зависимостей до поздних лет жизни. Эксперименты с наркотиками, как и исследование снов, проводились в научном духе.

- [6] Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. С. 277.
- [7] Там же. С. 280.
- [8] Судя по описанию других опытов с наркотиками, использование Успенским понятия «иероглиф» указывает на то, что помимо веселящего газа он с большой вероятностью использовал гашиш. В своем эссе «Психология гашиша», написанном примерно тогда же, когда Успенский проводил свои эксперименты, маг Алистер Кроули использует слово «иероглиф» в подозрительно похожем контексте. Вдыхание веселящего газа вызывало своего рода метафизические прозрения и поток ассоциаций, которые Успенский мучительно пытается описать, а гашиш — который Успенский, скорее всего, ел — вызывает поток фантазий, напоминающий сновидения, полные выразительных и крайне символических образов.
- [9] Успенский говорит, что «был тогда очень молод» и «очень подавлен» смертью. Сначала я подумал, что он говорит о смерти своего отца или деда, но описание его мыслей в то время заставляет полагать, что он был несколько старше, чем когда они умирали. Мы знаем, что Успенский был очень развитым ребенком, но мысли, которые он описывает, все равно кажутся мне несвойственными четырехлетнему ребенку. См. «Новая модель Вселенной». С. 299–300.
- [10] При чтении рассказа Успенского мне сначала показалось, что он говорит о своем друге Щербакове, но даты не сходились. Теперь я считаю, что он мог говорить о своей сестре — особенно исходя из того, что несколько раз повторяется важность «последних лет» человека, а как мы знаем, сестра Успенского провела последние годы жизни в тюрьме. Также понятно, что хотя Успенский явно мало что мог поделать, но все равно испытывал огромное чувство вины и ответственности по поводу нее. Ощущение, что мы недостаточно делали для умершего близкого человека, — распространенная человеческая черта. Для человека с таким сильным чувством важности и необратимости прошлого, как у Успенского, и таким же сильным желанием его изменить знание, что его сестра умерла в руках пленителей, должно было быть глубоко печальным. Циник может сказать, что «откровение» Успенского, будто мы «не более ответственны за события жизней других, чем за черты их лиц», было всего лишь способом приглушить вину. Может, и так. Я предпочитаю думать, что охваченный скорбью и опечаленный человек нашел немного облегчения в том, что признал один из основных законов жизни. В описании Успенского нет ничего, что предполагало бы, что он легко принял это откровение. Напротив, создается впечатление, что понадобилась определенная сила, чтобы его принять. См. «Новая модель Вселенной». С. 299–300.
- [11] Ouspensky P. D. *Talks with the Devil*. С. 110–111.

**Глава 4. «Tertium Organum»**

- [1] Ouspensky P. D. *Tertium Organum*. С. 137.
- [2] Ouspensky P. D. *Strange Life of Ivan Osokin*. С. 138.
- [3] Краткое описание влияния Сведенборга на Бодлера, а также многих других поэтов и писателей см. мои главы о нем: «*The Dedalus Book of the Occult: A Dark Muse*» (L.: Dedalus, 2003).
- [4] В своем magnum opus «Вездесущее происхождение» немецкий философ Жан Гебсер (1905–1973) утверждает, что человечество пережило четыре «структуры сознания» и, с начала XX века, вступило в процесс вхождения в пятую структуру, которая охватит четыре предыдущие. В центре этой новой структуры сознания лежит превосходение «перспективных» характеристик восприятия текущей, рассеивающейся «ментально-рациональной» структуры. Гебсер находит доказательства этой перемены во многих культурных феноменах, особенно в кубистской живописи начала XX века. Однако представления Хинтона о гиперпространстве предшествуют кубизму более чем на двадцать лет. Подробнее о «аперспективном сознании» см. мои главы о Гебсере в «Тайной истории сознания».
- [5] Некоторые утверждают, что физика частиц, которая изучает невообразимо маленькие объекты, такие как кварки, лептоны и прочие, наверняка занимается исследованием «невидимого». Однако эти и другие элементарные частицы можно наблюдать с помощью научных приборов, которые используют физики, поэтому они видимы (измеримы).
- [6] Kaku M. *Hyperspace*. Oxford: Oxford University Press, 1995. С. 65–67.
- [7] Ouspensky P. D. *Tertium Organum*. С. 166.
- [8] Там же. С. 257.
- [9] Там же. С. 138.
- [10] Там же. С. 142.
- [11] Там же. С. 132.
- [12] Там же. С. 133.
- [13] Там же.

**Глава 5. «Бродячая собака»**

- [1] Ouspensky P. D. *Tertium Organum*. С. 193.
- [2] Там же. С. 286.
- [3] Беспокойство Успенского из-за неадекватности языка ставит его в один ряд с несколькими писателями, поэтами и философами, столкнувшимися в начале XX века с явлением, в котором увидели «кризис языка». Возможно, наиболее известный из них — австрийский философ Людвиг Витгенштейн, выдвинувший знаменитое утверждение «о том, о чем мы не можем сказать, следует молчать», выражавшее для Витгенштейна все важное. Другие мыслители, которых занимала растущая неспособность языка передавать сложность опыта: Карл Краус, Роберт Музиль, Герман Брох, Морис Метерлинка и Гуго фон Гофмансталь, — все они в той или иной мере изучали разные аспекты мистицизма. Для того чтобы хорошо познакомиться с этим важным периодом западной мысли, см. «Язык и молчание» (1970) и «Экстратерриториальное» (1976) Джорджа Стайнара.

- [4] Разумеется, русский авангард состоял не только из модернистов, подверженных влиянию оккультных идей. Василий Кандинский, который считается первым живописцем-абстракционистом, был последователем Рудольфа Штейнера. Пит Мондриан, известный своими геометрическими холстами, был теософом. Музыканты тоже настраивались на мистические вибрации. Композитор-теософ Александр Скрябин мечтал об огромном «абсолютном произведении искусства», которое исполнялось бы в индийском храме. Помимо музыки, оно включало бы благовония и странный инструмент, который он называл «цветовым органом», клавиатуру, которая включала цветные огни, связанные с разными нотами, — пример феномена синестезии. Арнольд Шёнберг, отец атональной музыки, был последователем Эммануила Сведенборга. Я уже упоминал влияние Рудольфа Штейнера на писателя Андрея Белого. Подробнее о связи между оккультным, мистическим и современной культурой см. мою «Дедалову книгу оккультизма».
- [5] Возникает один вопрос: как много читателей «*Tertium Organum*» знали, что центральным источником вдохновения для работы стали эксперименты Успенского с наркотиками? В первом английском переводе, основанном на втором русском издании 1916 года, Успенский замечает, что описания мистических опытов, стимулируемых наркотиками, будут включены в его будущую книгу «Мудрость богов» (оригинальное название «Новой модели Вселенной»). Однако его ссылки в «*Tertium Organum*» на собственное участие в подобных экспериментах неочевидны. Так же, как знает любой читатель, обладающий хотя бы поверхностными познаниями в вопросе психоактивных веществ, ни веселящий газ, ни гашиш не являются наркотиками. «*Tertium Organum*» — книга с интересной историей издания, и подобно другим работам Успенского, подвергалась нескольким переработкам. В последующих английских изданиях убраны отсылки и к «Мудрости богов», и к описаниям опыта с наркотиками. Возможно, Успенский убрал эти отсылки, потому что отказался от идеи издавать «Мудрость богов», или потому, что сменил ее название, или потому, что решил не акцентировать внимание на своих экспериментах с наркотиками. Успенский редактировал второе американское издание «*Tertium Organum*» в начале 20-х годов; к тому времени распространялось антинаркотическое мышление, которое приведет к драконовским законам Эслингера, запрещающим даже такие естественные вещества, как марихуана. Успенский всегда проявлял чувствительность к властям — последствия жизни при царе и большевиках — так что, возможно, он хотел предотвратить возможность нарушения.
- [6] Книга Анны Бутковской-Хьюит (Anna Butkovsky-Hewitt) «*With Gurdjieff in St. Petersburg and Paris*» (L.: Routledge & Kegan Paul, 1978) была написана, когда ей было за девяносто, что может объяснять ошибки в датах. Она указывает, что первая встреча с Успенским произошла в 1916 году, но контекст разговора предполагает более раннюю дату, скорее всего, 1912 год. Следуя за Джеймсом Муром (James Moor) в «*Gurdjieff: The Anatomy of a Myth*» (Shaftesbury: Element, 1991) и Уильямом Патриком Паттерсоном, я принимаю год ее встречи с Успенским как 1912-й.
- [7] Butkovsky-Hewitt A. *With Gurdjieff in St. Petersburg and Paris*. С. 18.
- [8] Там же. С. 18–19.

- [9] Несомненно, Успенский был не единственным, кто питал романтические представления об Индии и Востоке. Идея, что на Востоке хранится обещание мудрости, неведомой на Западе, имеет давнюю традицию, и во времена Успенского такие фигуры, как мадам Блаватская и Эдвард Карпентер, отправлялись путешествовать на Восток в качестве практически необходимого элемента для личного духовного развития. В числе других, отваживавшихся выбраться на Восток, были граф Герман Кейзерлинг, чьи «Дорожные дневники философа» (1916) стали бестселлером, и писатель Герман Гессе, у которого заимствует фразу для названия романа «Путешествие на Восток». Как ни странно, хотя он путешествовал на Цейлон и Суматру в 1911 году — за два года до Успенского — Гессе так и не добрался до Индии, и его описание путешествий позволяет предположить, что опыт был для него неприятным. Описание неудачного путешествия Гессе на Восток см.: Ральф Фридман, «Герман Гессе: пилигрим кризиса» (1979). Гессе, как и Успенский, обнаружил, что Индия его *воображения* вдохновляет его намного больше, чем реальное путешествие на Восток. Любопытно, что оба писателя следовали похожими маршрутами: оба говорят о визите в священный Храм Зуба в Канди. В отличие от легкости воздушных перелетов наших дней и практически мгновенного общения через Интернет, путешествия в начале XX века были своего рода инициациями, часто сочетавшими неудобства с определенной опасностью. Они полностью отрывали человека от привычной рутины. Попасть из Санкт-Петербурга в Индию было непросто, и одно это, не говоря уже о ярких наблюдениях Успенского, сделало бы его популярным авторитетом по мистическим путям Востока.
- [10] Размышляя, что делать дальше по результатам экспериментов с веселящим газом, Успенский говорил об использовании некоторых методов работы с дыханием, постами, упражнений на внимание и воображение, «а главное — преодоление себя в моменты пассивности или праздности» (Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. С. 9).
- [11] Ouspensky P. D. *Talks with the Devil*. С. 131.

## Глава 6. Несравненный господин Г.

- [1] Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. С. 11.
- [2] Butkovsky-Hewitt A. *With Gurjieff in St. Petersburg and Paris*. С. 31.
- [3] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. С. 3.
- [4] Там же. С. 5.
- [5] Там же. С. 4.
- [6] Цит. по: Carlson M. *No Religion Higher than Truth: A History of the Theosophical Movement in Russia*. Princeton: Princeton University Press, 1993. С. 75.
- [7] Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. С. 9.
- [8] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. С. 7.
- [9] Webb J. *The Harmonious Circle*. N. Y.: G. P. Putnam's Sons, 1980. С. 25.
- [10] О Гурджиеве и Большой игре см. там же. С. 48–73.
- [11] Как ни странно, но Гурджиев в образе принца Озая воплощает тип «романтического» гуру, которого поначалу хотел встретить Успенский, но по-



сле провала «исканий» Успенский говорил о нем только иронично. Как мы увидим, при первой встрече Успенскому явилось «видение» Гурджиева, каким он мог бы появляться в маске принца.

- [12] Хотя, как очевидно из его карьеры, Гурджиеву было несложно обращаться к людям, лучше всего он работал в маленьких группах, где можно было ощутить силу его личности и увидеть ее воздействие непосредственно. Например, когда его Приер в Фонтенбло превратилась в успешную школу и стала привлекать большое количество учеников, Гурджиев начал испытывать сомнения. Вскоре после этого он пережил почти смертельную автострафу. Хотя его последователи считают иначе, но ни одна из его книг — за исключением, возможно, «Встреч с замечательным человеком» — не достигла широкой аудитории и не добилась значительного успеха в донесении его идей до публики. Последние годы он провел с учениками в интимной обстановке маленькой столовой своей парижской квартиры.

[13] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. С. 15.

[14] Butkovsky-Hewitt A. *With Gurdjieff in St. Petersburg and Paris*. С. 31.

## Глава 7. Встреча с замечательным человеком

[1] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. С. 7.

[2] Анонимно, в собрании *Views from the Real World: Early Talks of Gurdjieff*. N. Y.: E. P. Dutton, 1975. С. 3–4.

[3] Там же. С. 10.

[4] Что произошло с ранней московской группой Гурджиева — неизвестно. Сергей Меркуров стал очень успешным скульптором, прославившимся посмертными масками Толстого и Ленина. Собрать больше информации о Владимире Поуле мне не удалось.

[5] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. С. 14.

[6] Там же. С. 15.

[7] Там же. С. 18.

[8] Там же.

[9] Там же. С. 18–19.

[10] Там же. С. 20.

## Глава 8. Найденное чудо

[1] Butkovsky-Hewitt A. *With Gurdjieff in St. Petersburg and Paris*. С. 35.

[2] Там же. С. 35–36.

[3] Интересно, что Анна так говорит о глазах Гурджиева. Эти глаза были первым, что люди в нем замечали. Например, когда Дж. Г. Беннет познакомился с Гурджиевым в Константинополе в 1920 году, то отметил, что его глаза «были настолько необычными, что я подумал, будто свет играет со мной шутки». А когда композитор Томас де Гартман впервые встретился с Гурджиевым, в обществе доктора Стернвала, то говорил о Гурджиеве как о человеке «с такими глазами». Это интересно, потому что до встречи с Гурджиевым Успенский саркастично отзывался о «людях, которые в присутствии восточного человека внезапно чувствуют, что он смотрит сквозь них, видит все их чувства, мысли и желания» (Ouspensky P. D. *In Search of*

*Miraculous*. С. 7). Дальше он говорит о людях, которые, пойманные взглядом «восточного», «испытывают странные ощущения в ногах и не могут двинуться». Именно это испытал журналист Ром Ландау, когда встретился с Гурджиевым в номере нью-йоркского отеля в 1935 году. То, что Успенский поначалу считал признаком шарлатанства, для большинства людей было свидетельством силы Гурджиева.

- [4] Butkovsky-Hewitt A. *With Gurjieff in St. Petersburg and Paris*. С. 35–36.  
[5] Там же.  
[6] Там же.  
[7] Много лет спустя, в конце поездки в США, возвращая ценную гармонику, которую позаимствовал на время своего визита, Гурджиев рассмеялся в ответ на то, что А. Р. Ораж сказал, что теперь она станет еще ценнее, как «священная реликвия». Ораж считал Гурджиева «солнечным богом», а сам Гурджиев однажды заметил, что после его смерти откроют церкви для обучения его идеям.  
[8] Mouravieff B. *Ouspensky, Gurjieff and the Work*. С. 11–12.  
[9] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. С. 154.

## Глава 9. Ты себя не помнишь

- [1] Хотя последователи утверждают, что идеи и система Гурджиева уникальны, знакомство с похожими концепциями у других мыслителей демонстрирует, что на самом деле это не так — по крайней мере, не в степени, которую заявляют ученики Четвертого пути. В данном случае «личность» и «сущность» кажутся мне очень похожими на «персону» и «Я» у К. Г. Юнга — хотя Юнг не так резко относится к недостаткам личности и считает, что для того, чтобы быть эффективным, человеку нужна сильная персона, своего рода маска, которая защищает истинное «Я» от опасного окружения. «Ложную личность», еще один термин Гурджиева, можно, по-моему, связать с юнговскими концепциями тени — всеми теми неприятными аспектами себя, которые люди предпочитают игнорировать. Также Юнг разделял с Гурджиевым основополагающее убеждение, что неуравновешенное развитие — самая распространенная проблема современного человечества. Оба они утверждали, что для того, чтобы человек достиг целостности, нужно задействовать все стороны души, а не только логичное и рациональное это, как чаще всего делают современные люди. Это убеждение разделял и Рудольф Штейнер, который другим языком и с другими акцентами также говорил о человеке, который «спит» на разных этапах своего бытия. Полный анализ совпадений между Гурджиевым и другими мыслителями выходит за пределы задачи этой книги и, возможно, окажется скучным чтением. Однако некоторые из главных тем Четвертого пути можно найти не только в других эзотерических доктринах, как можно было бы ожидать, а и в широко доступных источниках. Например, при написании этой книги я воспользовался возможностью перечитать классическую атаку на бихевиоризм Артура Кёстлера, «Дух в машине». Кёстлер не только подробно разбирает разные уровни градации сознания, человеческого и другого, но его центральная тема — необходимость распознавать то, что он называет

иерархией приобретенных привычек: серию рефлексов, от сознательного решения до автоматической реакции. Возьму для примера себя: мое сознательное намерение написать это примечание проходит путь от интуитивного понимания, которое я пытаюсь преобразовать в слова, до ударов пальцев по клавиатуре. Между неясной ускользающей интуицией и конечным продуктом находится целая серия поведенческих моделей, которые приходят в действие, и многие из них срабатывают автоматически. Я не направляю свои пальцы сознательно, когда они ударяют по клавишам, хотя в свое время, когда только учился печатать на клавиатуре, мне приходилось это делать. Теперь эту функцию взял на себя своего рода автопилот, что позволяет мне сконцентрироваться на идеях, которые я пытаюсь выразить. Однако часто в результате привычки и отсутствия препятствий мы отказываемся от значительной части сознательного контроля и полагаемся практически исключительно на автопилот, и вот тут кстати оказываются идеи Гурджиева. Когда такое происходит, мы можем прийти в состояние, в котором действительно «спим», хотя с виду выглядим «бодрствующими». Нарушение рутины, незнакомая обстановка или новое, необычное препятствие вызывают у нас новую реакцию и отключают автопилот, заставляя нас «присутствовать» и разбираться с ситуацией. В некотором смысле все радикальное поведение Гурджиева и требовательные, временами опасные обстоятельства, которые он создавал, можно рассматривать как попытки разорвать цепи привычки и вызывать у его учеников новые творческие поведенческие схемы.

Я не думаю, что Кёстлер был знаком с Гурджиевым более чем поверхностно, и, судя по его замечаниям о других «гуру», я бы очень удивился, если бы он считал их заслуживающими изучения. Однако кеслеровская идея «холона», в котором отдельная частица — будь то человек, атом или галактика — является одновременно независимой и частью большего целого (также приводится в «Призраке в машине») — поразительно напоминает идеи масштаба у Гурджиева. При этом я не говорю, что идеи Гурджиева не оригинальны — а только то, что некоторые из них полезно изучать без необходимости принимать более сомнительный контекст.

- [2] Butkovsky-Hewitt A. *With Gurjiev in St. Petersburg and Paris*. С. 69.
- [3] Pogson B. *Maurice Nicoll: a Portrait*. N. Y.: Fourth Way Books, 1987. С. 102.
- [4] Harman T. de. *Our Life with Mr. Gurdjieff*. Mifflinsex, England: Penguin Books, 1972. С. 6.
- [5] Там же. С. 46.
- [6] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. С. 118.
- [7] Там же. С. 117.
- [8] Там же. С. 119.
- [9] Там же. С. 120.

## Глава 10. «Я» и Успенский

- [1] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. С. 255.
- [2] Там же. С. 149.
- [3] Там же. С. 218.
- [4] Там же. С. 144.

- [5] Там же. С. 209.
- [6] Там же. С. 227.
- [7] Там же. С. 203.
- [8] Там же. С. 222.
- [9] Там же. С. 99.
- [10] Там же. С. 204.
- [11] Там же. С. 277.
- [12] Там же. С. 228.
- [13] Там же.

## Глава 11. Чудо

- [1] Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. С. 285.
- [2] Хотя Успенский этого не упоминает, но возможно, что это случай «паралича во сне», сновидение, которое, по его утверждению, вызывается психологическим состоянием человека. Успенский хочет заговорить во сне, но не может — распространенное ощущение в сновидениях. По описанию неясно, пытался ли он ответить Гурджиеву мысленно или вслух. В первом варианте непонятно, как его паралич мог помешать ему продумать ответ.
- [3] Необходимость такого особенного эмоционального состояния — причина того, почему в поздние годы Успенский был категорически против изучения психических феноменов научными методами, даже когда исследователи верили в реальность паранормального. Именно поэтому, например, он подверг жесткой критике работу Дж. Б. Райна. Однако если бы Успенский взял на себя труд изучить работу Райна вместо того, чтобы отрицать ее по краткому изложению, он бы увидел, что исследования Райна подтвердили его правоту. Райн обнаружил, что, хотя изначально объекты, проверявшиеся, скажем, на провидение, показывали уровень правильных ответов выше среднего, спустя некоторое время точность падала, пока не достигала средней или даже ниже. Райн выяснил, что для проявления феномена нужен определенный интерес и энтузиазм. После часов исследований в лабораторных условиях объекты Райна, естественно, начинали скучать, и результаты ухудшались. Успенский был не прав, настаивая, что *все* психические феномены требуют условий, которые были знакомы ему, но был прав в том, что яркое эмоциональное состояние необходимо для их проявления. Он также был прав и в том, что стандартная научная обстановка — самая неподходящая для чудесного.
- [4] Годы спустя Гурджиев подвергнет своего «второго заместителя», А. Р. Оража, похожему обращению, потребовав, чтобы все члены нью-йоркской группы Оража подписали клятву, что не будут иметь с ним ничего общего. В жесте полного самоуничтожения — или абсурдного чувства юмора — Ораж жизне-радостно подписал ее сам, сказав, что он был бы рад не иметь ничего общего с Оражем. Вскоре после этого он, как и Успенский, покинул Гурджиева.

## Глава 12. Ноев ковчег

- [1] Harmann T. de. *Our Life with Mr. Gurdjieff*. С. 9.
- [2] Там же. С. 11.

- [3] Там же. С. 12.
- [4] Казимир Малевич, Владимир Маяковский, Анна Ахматова и другие посетители «Бродячей собаки» станут жертвами нового режима. Маяковский покончит с собой; Велимир Хлебников — разделявший с Успенским острое чувство времени — умрет от голода; Малевич погрузится в безвестность; а Ахматову будут травить на протяжении всей ее карьеры. Многих постигли подобные судьбы, в то время как другие, например, Николай Бердяев, отправились в изгнание на Запад.
- [5] Ouspensky P. D. *Letters from Russia 1919*. С. 23.

### Глава 13. Сверхусилия

- [1] Что касается Гурджиева и Джулии, как и в случае с Успенским и Софией, неясно, были ли они действительно женаты, хотя ее, как и Успенскую, всегда считали его женой. Также неясно ее происхождение: ее называли и фрейлиной при дворе Николая II, и проституткой. Хотя она была предана Гурджиеву, а он — ей, известно, что у него было несколько любовниц. Что же касается отношений Успенского с грозной Софьей Григорьевной, Гурджиев якобы отговаривал Успенского от этого союза. Возможно, это был единственный случай, когда Успенскому стоило бы последовать совету учителя.
- [2] Как раз на этом этапе Гурджиев развил идеи эффективности физической работы как средства самоизучения. Мне кажется, что метод принуждения учеников убирать дом, готовить, заниматься садом и выполнять другие работы по дому оказывался эффективен только потому, что они никогда раньше этого не делали. Более чем вероятно, что Успенскому никогда не приходилось себе готовить — он либо ел в ресторанах, либо нанимал повара. То же относится и к де Гартманам. Наверняка они никогда не занимались уборкой, а Успенский, методичный и аккуратный в писательской работе, славился тем, что жил в беспорядке.
- [3] Этому упражнению, или его вариации, учили в мои времена занятия работой. Оно посвящалось «ощущению» себя и вместе с самовоспоминанием образовывало фундамент для всего остального.
- [4] Harmann T. de. *Our Life with Mr. Gurdjieff*. С. 19.
- [5] Там же. С. 65.
- [6] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. С. 369.
- [7] Ouspensky P. D. *Letters from Russia 1919*. С. 3.
- [8] Описания этой и второй экспедиции можно найти в рассказах Томаса и Ольги де Гартман в *Our Life with Mr. Gurdjieff*. У меня нет места, чтобы подробно изложить оба эти приключения, но они необходимы для полного понимания «метода» Гурджиева.
- [9] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. С. 373.
- [10] В учении Гурджиева все процессы образуют последовательность, которую он, пользуясь музыкальным языком, называл «октавой». Закон Семи утверждает, что процесс — в природе, человеческой деятельности или человеческой жизни — начинается с «делать», продолжается некоторое время, но потом достигает «интервала», когда нужен «шок», чтобы подтолкнуть его к концу. Если необходимого шока нет, траектория может отклониться,

и процесс начнет двигаться в обратном направлении. Система Гурджиева была направлена на создание самых разных шоков, чтобы помочь ученикам завершить их «октавы».

#### Глава 14. Ссора

- [1] Ouspensky P. D. *Letters from Russia 1919*. С. 1.
- [2] Там же. С. 2–3.
- [3] Там же. С. 3.
- [4] Там же. С. 6.
- [5] Миссис Бомонт позднее стала второй женой Беннета; он бросил первую жену и ребенка, чтобы отдаться своей любви к Востоку. Миссис Бомонт была намного старше Беннета и годилась ему в матери. Однако не только Беннет предпочитал в качестве спутниц жизни женщин постарше. Мадам Успенская была на четыре года старше мужа, и у Родни Коллина, самого преданного ученика Успенского, жена тоже была намного старше его самого.
- [6] Bennet J. G. *Witness*. Tucson: Omen Press, 1974. С. 53.
- [7] Там же. С. 55.
- [8] Там же.
- [9] Там же.
- [10] Bragdon C. *Merely Players*. N. Y.: Alfred Knopf, 1929. С. 197. В своем описании этого периода в книге «В поисках чудесного» Успенский не упоминает ни успех «*Tertium Organum*», ни то, как ему повезло, что он получил гонорар и другие блага в результате успеха книги в США и Британии. Напротив, он до определенной степени отрешивается от них — признак того, что хотя он вышел из-под непосредственного влияния Гурджиева, но годы повторяющегося утверждения его «ничтожности» и унижения романтической стороны, «Петра», оказали огромный эффект.

#### Глава 15. Лондон зовет

- [1] Garnett D. *The Flowers of the Forest*. L.: Chatto & Windus, 1955. С. 225.
- [2] Ницшеанские и теософические идеи Оража собраны в короткой, но впечатляющей книге «*Consciousness: Animal, Human, Superhuman*» (L.: Theosophical Publishing House, 1907), сборнике лекций, которые читались в Теософическом обществе в Лидсе. Подробнее см. мою главу об Ораже в книге «*A Secret History of Consciousness*».
- [3] Butkovsky-Hewitt A. *With Gurjieff in St. Petersburg and Paris*. С. 22–23. Странно, что, пройдя ту же школу, что и Успенский — группы Гурджиева — Анна удивляется переменам в бывшем возлюбленном. Новая жесткая и авторитарная манера Успенского, несомненно, стала результатом воспитания учителя.
- [4] Wilson C. *The Strange Life of P. D. Ouspensky*. L.: Aquarian Press, 1993. С. 74–75.
- [5] Landau R. *God Is My Adventure*. С. 172.
- [6] Garnett D. *The Flowers of the Forest*. С. 226.
- [7] Selver P. *Orage and the New Age Circle*. L.: George Allen & Unwin, 1959. С. 72.
- [8] Graham S. *Part of the Wonderful Scene*. L.: Collins, 1964. С. 252–253.
- [9] Blackwood A. *Passport in the Next Dimension // Prediction*. 1948. Mapr.

- [10] Graham S. *Part of the Wonderful Scene*. С. 253.
- [11] Подробнее о Блэквуде см. в посвященной ему главе в «Дедаловой книге оккультизма». Блэквуда, как и Успенского, глубоко интересовали тайны времени. Одним из друзей, с которыми он обсуждал эти вопросы, был инженер-аэронавт Дж. У. Данн, автор очень влиятельной книги «Эксперимент со временем» (1927), в которой он описывает свои пророческие сны. Другой популярный автор, на которого повлиял Успенский, хотя они никогда не встречались, — Джон Бьюкен, наиболее известный книгой «Тридцать девять ступеней» (1915). В романе Бьюкена «Между штормом» (1939) впервые появляется изображение Успенского в художественной литературе, в форме профессора Августа Мо, скандинавского ученого, который разработал способ заглянуть в будущее. Большую часть 20-х и 30-х годов в Лондоне Успенский был «человеком-загадкой», который маячил на заднем плане, и его присутствие ощущалось самыми разными тонкими способами.
- [12] Bragdon C. *The Secret Springs*. L.: Andrew Dakers, 1938. С. 320.
- [13] Bland R. *Extracts from Nine Letters*. С. 1.
- [14] Там же. С. 5.
- [15] Там же. С. 45.
- [16] Там же. С. 24.
- [17] Nott C. S. *Journey Through This World*. L.: Routledge & Kegan Paul, 1966. С. 38; Bragdon C. *The Secret Springs*. С. 327.
- [18] Bland R. *Extracts from Nine Letters*. С. 54.
- [19] Bennet J. G. *Witness*. С. 87.

#### Глава 16. Возвращение господина Г.

- [1] Подробнее об этом странном деле см. Джеймс Уэбб, «Гармонический круг». С. 189.
- [2] Gurdjieff G. I. *Life is Real Only Then, When I Am*. N. Y.: Trinagle Editions, 1975. С. 25.
- [3] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. С. 384.
- [4] Успенский отказался от оригинального названия, «Фрагменты неизвестного учения», когда узнал, что его друг Дж. Р. С. Мид уже опубликовал «Фрагменты забытой веры». В «Новой модели Вселенной» он ссылается на книгу под названием «Человек и мир, в котором он живет, — фрагменты неизвестного учения» (С. 270), не особенно привлекательное название. Многие пуристы работы ссылаются на книгу, называя ее «Фрагменты», но очевидно, что издатель Успенского сделал своей организации и книге услугу, вызвав более запоминающееся, хотя и сенсационное название — по крайней мере, Успенский сам использовал его в серии статей во время своих годов скитаний.
- [5] Ouspensky P. D. *In Search of Miraculous*. С. 385.
- [6] Bennet J. G. *Witness*. С. 122.
- [7] Webb J. *The Harmonious Circle*. С. 363.

#### Глава 17. «Он может сойти с ума»

- [1] Pogson B. *Maurice Nicoll: a Portrait*. С. 95.
- [2] Walker K. *Venture with Ideas*. L.: Jonathan Cape, 1951. С. 24–26.

- [3] Там же. С. 40.
- [4] Там же. С. 43–44.
- [5] Bennet J. G. *Witness*. С. 126. Другая вероятная причина, которую деликатный Успенский не стал бы упоминать, — то, что он обнаружил правду о слухах, касающихся Гурджиева и его учениц.
- [6] Там же.
- [7] Anderson M. *The Unknowable Gurdjieff*. N. Y.: Weiser, 1970. С. 83–84.
- [8] Mouravieff B. *Ouspensky, Gurdjieff and the Work*. С. 11–12.
- [9] Там же. С. 16.
- [10] Bennet J. G. *Witness*. С. 111.
- [11] Томас де Гартман рассказывает другую историю. Как-то он спросил Гурджиева, должен ли полностью доверять ему и без вопросов выполнять все, что Гурджиев ему велит делать. Гурджиев ответил: «Конечно, в целом это так. Но если я начну учить тебя мастурбации, ты меня послушаешься?» («Наша жизнь с Гурджиевым». С. 66.) Это поднимает вопрос, перед которым оказывались ученики из-за правил, установленных учителем. Учитель по определению находится на уровне выше, чем ученики, и поэтому ученик не может судить о действиях учителя. Однако если он не хочет быть «круглым идиотом», то должен пользоваться здравым смыслом и думать за себя — но Гурджиев предупреждал, что это верный путь к катастрофе. Если ты этого не делаешь, то ты идиот; если делаешь, то проявляешь самоволие. Ситуация, в которой невозможно выиграть. А если ответ заключается в том, что ученик должен перерасти потребность в учителе, то почему в нескольких ситуациях учитель заставляет учеников зависеть от него? Создается впечатление, что лучший способ послушаться учителя — это не слушаться его, а значит, те, кто отринул Гурджиева, находят на несколько шагов впереди в игре.
- [12] Mouravieff B. *Ouspensky, Gurdjieff and the Work*. С. 20–21.
- [13] За исключением «Встреч с замечательным человеком», все произведения Гурджиева ставят перед читателем серьезные препятствия. Поразительные заявления, неологизмы, от которых ломается язык, и извилистый синтаксис — уже этого достаточно, чтобы оттолкнуть среднего человека, и даже самым преданным искателям приходилось прикладывать много усилий, чтобы понять, что Гурджиев пытается сказать, не говоря уж о том, чтобы понять это. Ни одна работа не ставит эти препятствия так активно, как «Рассказы Вельзевула внуку», эпическое произведение в жанре научной фантастики на тысячу двести страниц, состоящее из разговора между Вельзевулом (как мы помним, это одно из имен дьявола) и его внуком, которые летят по космосу в космическом корабле «Карнак». Гурджиев высказывает в ней свободно и развернуто свое мнение по всем вопросам, от сотворения Вселенной до феминизма. Реакции на эту книгу сильно расходятся. Ораж замечает, что работы Гурджиева требуется читать «истинным сердцем», и что в них он находит «параллель с Библией». Клод Брэгдон прокомментировал, что читать прозу Гурджиева — все равно что «подскакивать на колдобинах», а Ром Ландау заметил, что «во многих случаях создавалось впечатление работы человека, который уже лишился разума».



Последователи утверждают, что трудности создавались намеренно, что это еще один пример того, как Гурджиев старается не облегчать ученикам задачу. Другие утверждают, что он был просто ужасным писателем, а третьи, например, психолог Энтони Сторр, предполагают, что стиль прозы Гурджиева указывает на склонность к «шизотипии». Шизотипики, не являясь шизофрениками, демонстрируют определенное поведение и характеристики, которые ассоциируются с умственным расстройством. Одна из них — это склонность к неологизмам, изобретению новых слов, что Гурджиев делать очень любил. Другая — помпезный, сенсационный стиль, тоже качество, знакомое читателям Гурджиева. Третье — отстраненное, безэмоциональное поведение и склонность к мегаломании. Реплика, брошенная Гурджиевым Нотту о том, что он работает на достижение состояния, в котором «ничто из внешнего мира не сможет коснуться [его] внутри», предполагает первое, а фантастические заявления Гурджиева о будущих проектах, приведенные в «Вестнике грядущего добра» (и это только один пример), указывают на второе. Конечно, не один Гурджиев демонстрировал такие черты; любой склонный к артистизму, поэзии или интроверсии проявляет в той или иной степени признаки шизотипии; но в сочетании с некоторыми из самых вызывающих поступков трудно не сомневаться в здравости его рассудка, за неимением лучшего слова. Для того, чтобы перечислить все «безумные» выходки Гурджиева, понадобится целая книга, но несколько примеров демонстрируют явную склонность как минимум к чудачествам. После смерти матери в 1925 году Гурджиев поставил ей надгробие, на котором говорилось: «Здесь лежит мать того, кто считает, что ее смерть заставляет его написать книгу „Оптимисты“». Ей было сильно за шестьдесят, и ее смерть не стала неожиданностью, а книга так и не была написана. Две телеграммы, отправленные Оражу в 1930 году, были подписаны «Внук и уникальная феноменальная бабушка» и «Посол ада». В Париже в 1944 году, у смертного одра писателя Люка Дитриха, Гурджиев достал два апельсина и сообщил ему, что это самый важный день его жизни. В рекламном объявлении «Вестника грядущего добра» говорилось: «Первое обращение к современному человечеству», и стояла цена: «от 8 до 108 франков». Книгу приняли плохо, и вскоре ее отозвали и забыли.

Все это, конечно, можно рассматривать как часть уникального метода Гурджиева, его стиля «сумасшедший гуру». Но, возможно, жизнь во Франции — много лет, проведенных в Париже, — сказалась на нем: Гурджиев осознавал сюрреалистический климат и пользовался им. Однако автору данной книги многие из объяснений кажутся такими же натянутыми, как то, что они должны объяснить. Например, я никогда не мог понять некоторые замечания Гурджиева, которые кажутся мне шутками для своих, изложенными исключительно частным языком, — еще одна привычка шизотипиков. Но с другой стороны, меня, как и Успенского, наверняка раздражало бы «актерство» Гурджиева. В сочетании с его часто непонятным поведением, внезапными переменами настроения от яростного гнева до искренней заботы и кажущейся потребности властвовать над другими, неготовности принимать их на их условиях, его произведения указывают — по крайней мере, с моей точки зрения — на личность, радикально *непохожую* на обычных людей. Конечно, это и притягивало к нему многих.

**Глава 18. «Система ждет работников»**

- [1] Bennet J. G. *Witness*. С. 129.
- [2] Walker K. *Venture with Ideas*. С. 90.
- [3] Taylor M. *Remembering Peter Demianovich Ouspensky*. New Haven, Conn.: Yale University Library, 1978.
- [4] Bennet J. G. *Witness*. С. 154.
- [5] Walker K. *Venture with Ideas*. С. 106.
- [6] Popoff I. B. *Gurdjieff: His Work on Myself with Others for the Work*. Wellingborough, England: Aquarian Press, 1978. С. 110, 108.
- [7] Walker K. *Venture with Ideas*. С. 106.
- [8] Taylor M. *Remembering Peter Demianovich Ouspensky*. С. 38.
- [9] Bennet J. G. *Witness*. С. 159.
- [10] Там же. С. 163.
- [11] Landau R. *God Os My Adventure*. С. 166.
- [12] Там же. С. 174.
- [13] Там же. С. 198.
- [14] Nott C. S. *Journey Through This World*. С. 96.

**Глава 19. Нирвана и клубничный джем**

- [1] Nott C. S. *Journey Through This World*. С. 97.
- [2] Там же. С. 98.
- [3] Там же. С. 106.
- [4] Там же. С. 107.
- [5] Bennet J. G. *Witness*. С. 176.
- [6] Ropp R. S. de. *Warrior's Way*. L.: George Allen and Unwin, 1980. С. 99.
- [7] Taylor M. *Remembering Peter Demianovich Ouspensky*. С. 37.
- [8] Ropp R. S. de. *Warrior's Way*. С. 101.
- [9] Там же. С. 104.
- [10] Там же. С. 109.
- [11] Там же. С. 168.

**Глава 20. Путешествие на Запад**

- [1] Ropp R. S. de. *Warrior's Way*. С. 139.
- [2] Там же. С. 151.
- [3] Там же. С. 152.
- [4] Bennet J. G. *Witness*. С. 178–179.
- [5] Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. С. 160.
- [6] Nott C. S. *Journey Through This World*. С. 160.
- [7] Там же.
- [8] Там же.
- [9] Popoff I. B. *Gurdjieff: His Work on Myself with Others for the Work*. С. 29.
- [10] Walker K. *Venture with Ideas*. С. 115.
- [11] Popoff I. B. *Gurdjieff: His Work on Myself with Others for the Work*. С. 35.
- [12] Там же.
- [13] Bennet J. G. *Witness*. С. 258.
- [14] Seton M. *The Case of Ouspensky P. D.* // Quest № 34, 1962, Бомбей, Индия.

- [15] Nott C. S. *Journey Through This World*. С. 110.
- [16] Ropp R. S. de. *Warrior's Way*. С. 170.
- [17] Там же. С. 171.
- [18] Там же.
- [19] Там же. С. 173.

## Глава 21. Конец системы

- [1] Popoff I. B. *Gurdjieff: His Work on Myself with Others for the Work*. С. 107.
- [2] Там же.
- [3] Там же. С. 62.
- [4] Там же. С. 111.
- [5] Там же. С. 116.
- [6] Ouspensky P. D. *A New Model of the Universe*. С. 341.
- [7] Walker K. *Venture with Ideas*. С. 128.
- [8] Полный транскрипт этой последней, экстраординарной встречи см. Ouspensky P. D. «*A Record of Meeting*» (L.: Arkana, 1922). С. 585–642.
- [9] Collins R. *Theory of Conscious Harmony*. L.: Watkins, 1958. С. 53.
- [10] Там же. С. 179.
- [11] Там же. С. 39.
- [12] Там же. С. 6.
- [13] Там же. С. 28.
- [14] Там же. С. 53.
- [15] Там же. С. 157.
- [16] Там же. С. 47.
- [17] Там же. С. 152.
- [18] Там же. С. 64.
- [19] См. письмо Джойс Коллин-Смит о моей статье по биографу Успенского Джеймсу Уэббу в журнале *Forean Times*, № 152, сентябрь 2001.
- [20] Collins R. *Theory of Conscious Harmony*. С. 152.
- [21] Значительной частью материалов этого раздела я обязан главе о последних днях Успенского в превосходной работе Джеймса Уэбба «Гармонический круг». С. 439–460.
- [22] Taylor M. *Remembering Peter Demianovich Ouspensky*. С. 32.
- [23] Collins R. *Theory of Eternal Life*. Boulder: Shambhala, 1984. С. 116.
- [24] Collins R. *Theory of Conscious Harmony*. С. 91.
- [25] Там же. С. 176.

## Эпилог

- [1] Walker K. *Venture with Ideas*. С. 132.
- [2] Bennet J. G. *Witness*. С. 219.
- [3] Там же. С. 252.
- [4] Webb J. *The Harmonious Circle*. С. 435.